

**А  
Ф  
И**

**Академия Фундаментальных Исследований**

**ИСТОРИЯ**

**М. Н. Покровский**

**ОЧЕРК  
ИСТОРИИ  
РУССКОЙ  
КУЛЬТУРЫ**

**Экономический строй:  
от первобытного хозяйства  
до промышленного капитализма**

**Государственный строй:  
обзор развития права и учреждений**



**URSS**





# Михаил Николаевич ПОКРОВСКИЙ

(1868–1932)

Выдающийся советский историк, видный деятель революционного движения и коммунистической партии. В 1891 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. В апреле 1905 г. вступил в РСДРП, активно печатался в большевистской прессе. В дни декабрьского восстания в Москве участвовал в вооруженной борьбе. Эмигрировал во Францию, где создал два крупнейших своих произведения — 5-томную «Русскую историю с древнейших времен» и «Очеркы». В августе 1917 г. вернулся в Россию, принимал участие в вооруженной борьбе. С 1918 г. — член правительства, заместитель наркома просвещения, в последующие годы руководил Коммунистической академией, Институтом истории красной профессуры. С 1929 г. — академик АН СССР.

"СПб Дом Книги"

A-037



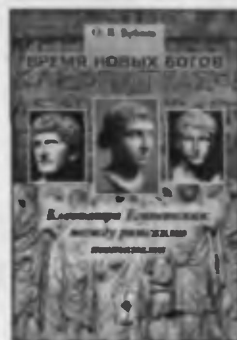
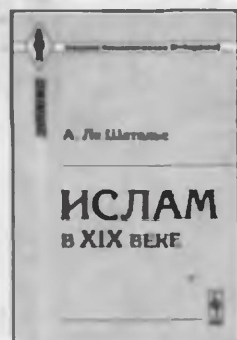
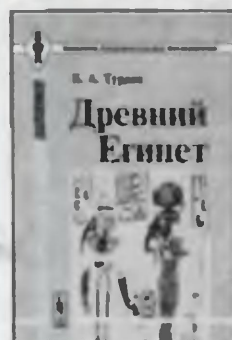
322.00

000185 710518

Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры. Экономический

...ского связаны крупнейшие мероприятия по реорганизации высшей школы на коммунистических началах. При его активном участии были проведены национализация и централизация архивных, библиотечных и музейных фондов, подготовлены и реализованы декреты о введении новой орфографии, охране памятников искусства, ликвидации безграмотности и т. д. В трудах последних лет жизни — в основном популярных учебных курсах и критических обзорах литературы — им было высказано немало как интересных и глубоких, так и противоречивых и спорных суждений о прошлом. Известное высказывание М. Н. Покровского — «история есть политика, опрокинутая в прошлое» — стало руководством к действию для целого поколения историков-марксистов.

## Представляем другие книги нашего издательства:



6606 ID 84727

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА



9 785397 008273 >

Тел./факс: 7 (499) 135-42-16  
Тел./факс: 7 (499) 135-42-46



URSS

E-mail: [URSS@URSS.ru](mailto:URSS@URSS.ru)  
Каталог изданий в Интернете:  
<http://URSS.ru>

Любые отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу [URSS@URSS.ru](mailto:URSS@URSS.ru). Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги в нашем интернет-магазине <http://URSS.ru>

**М. Н. Покровский**

# **ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**Экономический строй:  
от первобытного хозяйства  
до промышленного капитализма**

**Государственный строй:  
обзор развития права и учреждений**

Издание пятое,  
исправленное



**URSS**  
**МОСКВА**

**Покровский Михаил Николаевич**

**Очерк истории русской культуры. Экономический строй:  
от первобытного хозяйства до промышленного капитализма.  
Государственный строй: обзор развития права и учреждений.**  
Изд. 5-е, испр. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 256 с.  
(Академия фундаментальных исследований: история.)

Вниманию читателя предлагается работа выдающегося советского историка М. Н. Покровского, в которой он стремился дать краткое, но, насколько возможно, цельное изображение экономического и политического развития России на всем протяжении ее истории. Автор определяет культуру в самом широком смысле, то есть как все, что создано усилиями человека, в том числе народное хозяйство и государственный строй. М. Н. Покровский стал одним из первых исследователей, рассматривавших историю России с точки зрения марксистской концепции общественно-экономических формаций. В книге дается представление о постепенных изменениях общественных форм и показывается, что в основе исторического развития России лежат социально-экономические процессы.

Книга, отличающаяся ярким, доступным языком, была адресована самому широкому кругу читателей. Но немало интересного в ней найдут и профессиональные историки, в том числе специализирующиеся в области истории экономики, государства и права.

*4-е издание выходило под заглавием «Очерк истории русской культуры. Часть первая»*

Издательство «Книжный дом «ЛИБРОКОМ»».  
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 9.  
Формат 60×90/16. Печ. л. 16. Зак. № 2785.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».  
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.

ISBN 978-5-397-00827-3

© Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,  
оригинал-макет, оформление, 2009

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА	
	E-mail: URSS@URSS.ru
	Каталог изданий в Интернете: <a href="http://URSS.ru">http://URSS.ru</a>
	Тел./факс: 7 (499) 135-42-16
	Тел./факс: 7 (499) 135-42-46
URSS	

6606 ID 84727





## Оглавление

Предисловие к четвертому изданию	4
Предисловие к первому изданию	6
Предварительные замечания	9
<b>Часть I</b>	
<b>Экономический строй</b>	<b>27</b>
Глава 1. Первобытное хозяйство	27
<i>Библиография</i>	55
Глава 2. «Городское» хозяйство	57
<i>Библиография</i>	80
Глава 3. Торговый капитализм	82
<i>Библиография</i>	101
Глава 4. Крепостное хозяйство	103
<i>Библиография</i>	124
Глава 5. Промышленный капитализм	126
<i>Библиография</i>	162
<b>Часть II</b>	
<b>Государственный строй</b>	<b>165</b>
Глава 6. Военно-финансовая организация	165
<i>Библиография</i>	197
Глава 7. Суд .	198
<i>Библиография</i>	219
Глава 8. Центральная власть .	221
Добавление к четвертому изданию	250
<i>Библиография</i> . . . . .	253

## Предисловие к четвертому изданию

Первоначальной задачей книжки было — дать не только представление о постепенных изменениях общественных форм, поскольку дело касалось России, но и подвести читателя к пониманию русской современности 1914 г., так как марксистская книжка об этой современности в условиях 1914 г. представлялась явлением, а priori невыносимым.

Теперь дело обстоит как раз наоборот. Марксистская книжка об СССР наших дней не только мыслима — она до такой степени необходима, что только случайные причины могут задержать ее появление, и то лишь не надолго. По существу дела, первым таким опытом были последние главы «Азбуки коммунизма». Они устарели теперь, и очень, но их переработка — дело совсем несложное и, повторяю, абсолютно необходимое. Предвосхищать это переработанное издание конкретных глав «Азбуки» заключительными страницами своего «Очерка» автор считает совершенно лишним.

При переработке «Очерка» автор поэтому оставил в стороне преследовавшуюся им в 1914 г. (весьма, нужно сказать, несистематически) задачу — объяснить современность. «Очерк» теперь гораздо более историческая книжка, чем раньше. Но история русской буржуазной культуры в нем доведена до ее логического конца — ликвидации российского империализма. Эта последняя отнюдь не была однократным событием, которое можно было бы приурочить к одной определенной дате. В области финансовой, например, ликвидация старой бумажно-денежной системы совершилась только на наших глазах, в 1924 г. В области внешних отношений последние узлы только еще развязываются.

Считаясь только с откристаллизовавшимися *результатами* общественного процесса, я намеренно опускаю здесь его *динамическую* сторону: читатели найдут ее в других моих книжках: «Русской истории в самом сжатом очерке» (ч. I–III) и «Очерках революционного движения в России» (лекции 6–10).

Главы и страницы, посвященные древнейшему периоду, оставлены без крупных перемен. Автор не нашел в литературе, вышед-

шей после 1914 г., ничего, что заставляло бы его подвергнуть свои тогдашние утверждения по относящимся сюда вопросам принципиальному пересмотру. Поскольку же речь идет не об основном, а о частностях, их освещает новейшая литература, приведенная в освеженных с этою целью «библиографических примечаниях». Эта последняя работа в том, что касается *журнальных* статей, была бы для меня невыполнима без любезного содействия М. В. Нечкиной, — которой я и приношу здесь свою благодарность.

*М. П.*

Ноябрь 1924



## Предисловие к первому изданию

Долгие десятилетия в русской исторической литературе господствовала гегелевская схема исторического развития. Как известно, согласно этой схеме, венцом исторического творения, зрелым плодом истории являлось *государство*. А так как растением интересуются ради плода, то вся история превращалась в историю государства. Все, что было на Руси до образования централизованной монархии Романовых, рассматривалось, как подготовительная ступень — как завязь и цвет древа государственности. Все, что происходило после этого, шло от государства и случалось благодаря ему. Все русское общество, со всеми его классами, было создано государством. Государство «закрепостило» это общество, когда ему, государству, было это нужно — оно «раскрепостило» его, когда с государственной точки зрения это стало необходимостью. Схема принесла огромную пользу — этого нельзя отрицать. Если русские историки конца XIX в. могли разобраться в русском историческом процессе и сделать его понятным широкой публике — то благодаря ей, гегелевской схеме. Так важны в истории даже односторонние обобщения! Но все на свете имеет свой конец. Мало-помалу в круг интересов публики — а за нею и науки — стало входить все больше и больше фактов, не охватывающихся понятием «государственности», — а затем и само это понятие попало в кавычки... Вспомнили, что кроме «государственности» у нас есть и была «общественность». Но попытки написать ее историю, сохраняя в общем верность гегелевской точке зрения, естественно, не могли удалиться. Новые интересы вытащили на свет божий новые факты — новые факты потребовали новых точек зрения. Гегелевской схеме, уже успевшей отождествить себя с наукой, не могли понравиться молодые конкуренты. На них обрушились всею тяжестью академического презрения. Но прошел десяток лет, и с их существованием пришлось смириться.

Настоящий «Очерк» представляет собою попытку провести одну из этих схем, явившихся на смену гегелевской. Предыдущие попытки этого рода, по разным обстоятельствам, не доводились

до конца. Будет ли доведен до конца наш «Очерк», это, разумеется, зависит от очень многих условий — современная русская действительность так сложна. Но уже и выпускаемая теперь первая часть книги стремится дать, насколько возможно, *цельное* изображение *экономического и политического* развития России на всем протяжении ее истории. Сделать это в одной книге, и притом небольшой, можно было, конечно, только при бережливом, до скупости, отношении к фактическим иллюстрациям. Некоторые страницы могут показаться, благодаря этому, сухими: автору приходилось выбирать между доступностью книги со стороны ее объема и доступностью в смысле легкости и занимательности чтения. Он выбрал первое.

Для тех, кто желал бы иметь больше фактических подробностей, в конце каждой главы даны краткие библиографические указания. Единственная цель, какую преследуют эти указания, — назвать читателю книги, где подробно говорится о фактах, лишь затронутых на страницах «Очерка». «Библиография» вовсе не заменяет собою подстрочных ссылок: эти последние устранены по совершенной их ненужности в книге, предназначенной для неспециалистов; использованная автором литература далеко не ограничивается сочинениями, названными в библиографических примечаниях. Автор не пытался дать также исчерпывающего перечня литературы предмета: без *оценки* называемых книг такой перечень не имел бы никакого значения для читателя-неспециалиста; с этою оценкой библиографический отдел разросся бы до размеров самостоятельной небольшой книжки. Кое-какие критические замечания пришлось все же дать и теперь: нельзя без оговорок называть книги, о содержании которых невозможно судить по одному заглавию. Автор предвидит, что эти замечания навлекут на него укоры в «субъективности», — пожалуй, и в «пристрастии». Что касается первого, то человеческая мысль вообще относится к области субъективного, и всякий, кто решается высказывать свои мысли, неизбежно впадает в грех «субъективности». Что же касается «пристрастия», то, думается, достаточно бегло просмотреть имена называемых в «библиографии» авторов, чтобы устранить этот упрек: названо то, что *нужно*, в интересах читателей. Если есть пробелы, то их приходится отнести на счет тех условий, в которых писалась книга, — вдали от больших русских библиотек.

Остается сказать несколько слов об отношении выпускаемой теперь в свет маленькой книжки к большому изданию, составленному, в значительной части, тем же лицом, — к «Русской истории с древнейших времен». Сопоставление их размеров может навести

на мысль, что «Очерк» — нечто в роде конспекта «Истории». Такое представление было бы совершенно ошибочно. «Очерк истории русской культуры» — вполне самостоятельная работа, написанная по совсем иному плану, чем «Русская история», затрагивающая серии фактов, в последней отсутствующие, и наоборот — не говорящая о многом, что там имеется. Две книги объединяет только одинаковое понимание русского исторического процесса.

*М. Покровский*

Март 1914



## Предварительные замечания\*

Латинское слово «культура» в буквальном смысле значит «обработка». Во французском и английском языках это значение и до сих пор остается господствующим. И у нас говорят о «физической культуре» или о «культуре хлебных растений», в смысле ухода за человеческим телом, так сказать «обработки» его, или в смысле обработки земли для посева на ней хлеба. *Все, что является результатом человеческой работы*, в широком смысле может быть причислено к культуре: эту последнюю можно, стало быть, определить как совокупность всего, созданного усилиями человека, в противоположность тому, что даром, без усилий с нашей стороны, дает нам природа. И в истории культуры приходится говорить о «явлениях природы» — таких как климат, почва, устройство поверхности и т. д., — но не как о фактах культуры, а как о ее необходимых условиях. Потребность в пище или половой инстинкт, как явления природы, к истории культуры не относятся; но те способы, какими люди стремятся удовлетворить эту потребность и урегулировать этот инстинкт, история хозяйства, история семьи и связанной с семьей половой нравственности могут быть предметом культурной истории; причем наличность самой потребности историком будет приниматься как данное, на таких же точно основаниях, как такими данными являются определенный климат, известное отношение воды и суши и т. п.

Собирание фактического материала для культурной истории началось чрезвычайно давно: собственно, уже «отец истории», Геродот, поскольку он в своих «Музах» описывал нравы, обычаи,

---

\* Эти беглые «замечания» я решил оставить, после некоторого колебания, главным образом потому, что читателю важно знать теоретические предпосылки *данного* автора — хотя бы для того, чтобы быть готовым к его возможным «ересям» и теоретическим ошибкам. Самостоятельное педагогическое значение «замечания» утратили уже с появлением «Азбуки коммунизма» Бухарина и Преображенского, где во вступительных главах то же самое изложено теоретически несравненно более удовлетворительно. С появлением же «Исторического материализма» тов. Бухарина всякие беглые заметки и «популярные изложения» сюжета могут считаться упрямленными. А так как там даны и все необходимые библиографические указания, то «библиографию» к этой главе, за исключением указаний на Бельтова и Риккерта совершенно устаревшую, я выкидываю.

учреждения различных народов, стоял на культурно-исторической точке зрения. Но как «Музам» Геродота задолго предшествовали, в качестве образчика истории, надписи египетских фараонов и вавилонских царей, восхвалявшие их подвиги, так и до сего дня многим кажется, что именно описание подвигов всякого рода и должно составлять настоящий предмет истории. Под «историей» многие и до сих пор понимают «политическую» или «прагматическую» историю — как еще ее иначе называют, «историю событий» (название совершенно неправильное, ибо изобретение паровой машины, например, или открытие бактерий, или появление «Фауста» суть события не хуже всяких других — но в «прагматической» истории о них не говорится). Историю же «быта» (название опять совершенно неправильное, ибо под «бытом» в обыкновенном словоупотреблении мы понимаем нечто постоянное, неподвижное, предметом же истории *является* именно движение, развитие) многие склонны отодвигать на второй план и рассматривать ее как какой-то придаток к «настоящей» истории. В старых учебниках вы и до сих пор найдете главы, посвященные этому «быту», сзади глав, посвященных изложению «событий», — причем дороживший временем преподаватель без сожаления вычеркивал «бытовые» главы, ибо казенные программы на них не настаивали: лишь бы знали ученики все имена да всю хронологию. Не приходится скрывать, что к точке зрения старых казенных программ до сих пор весьма склонно присоединяться и «общество». Сплошь и рядом вы можете встретить интеллигентного родителя, который жалуется, что его сына «плохо учат истории». — «Почему же плохо?» — «Да вот, он не знает, в каком году умерла Екатерина II...» Объяснять дело одними устаревшими программами, стало быть, нельзя: приходится припомнить один из исторических законов, раньше всего подмеченный историками, «закон косности». Люди чрезвычайно упорно держатся раз пробитой колеи и весьма неохотно покидают ее для новых путей.

Но соби́рание культурно-исторического материала, дело само по себе весьма простое, в свою очередь, далеко опередило обработку этого материала. Для того чтобы написать историю культуры, мало *знать факты* — *нужно еще знать зависимость фактов одних от других, знать, какие факты главные, какие второстепенные*. И вот, если в деле *выбора* фактов мы видели сейчас влияние исторической косности, в виде «образованной публики», то в деле *толкования* фактов та же косность принимает гораздо более опасную форму, действуя в образе самого историка. Не нужно представлять себе этого по-

следнего каким-то бесплотным существом, воодушевляемым неким отвлеченным «научным интересом». Историк — живой человек, т. е. человек определенной эпохи, определенной страны, определенного общественного класса: класса *господствующего*. Классам угнетенным некогда было заниматься историей, даже если бы тот или другой представитель угнетенного класса и смог приобрести соответствующую подготовку. А затем, допустив даже, что рабочий или крестьянин написал бы историю своей страны со *своей* точки зрения, кто бы стал ее печатать? Только с появлением рабочих организаций стало возможно систематическое распространение пролетарской точки зрения на историю. Но и тут эта точка зрения натолкнулась на два огромных препятствия, преодолеваемых лишь с трудом и постепенно. Первым было систематическое дискредитирование пролетарской, материалистической историографии со стороны старых, так называемых буржуазных историков (см. об этом ниже). Вторым — более важным — заражение самих пролетарских историков старыми буржуазными точками зрения, наивно принимаемыми за «науку» такой же, примерно, объективности, как математика.

Господствующим классам в высшей степени свойственно *идеалистическое* объяснение истории. Идея ведь никогда не появляется перед нами в совершенно «бесплотной» форме: она всегда облекается в *слово*, устное или написанное. И эта воплотившаяся идея, в устах или под пером представителя господствующего класса, становится *силой*: хозяин приказывает работнику, работник исполняет, правительство издает закон — его слушаются. Как же не «идея правит миром»?

Что могло быть естественнее для буржуазного историка, как принять умственный труд за главное в истории, а произведения письменности, от стихов и романов до философских трактатов и научных исследований, — за основные культурные факты? Совершенно естественно, что история литературы оказалась самым разработанным отделом культурной истории. В литературе усмотрели не более и не менее, как отражение самого «народного духа», нимало не стесняясь тем обстоятельством, что 90 % народа не умели ни читать, ни писать, а 90 % грамотных читали не Пушкина или Белинского, но «Аглицкого милорда Георга». Но этого мало: людьми умственного труда — и это тоже было довольно естественно — овладела та же гордыня, которая диктовала фараонам их хвалебные надписи. Им стало казаться, что это они делают историю. Что она движется исключительно работой человеческого ума в «высших» — т. е. наиболее далеких от житейской прозы — формах его



деятельности. Что какой-нибудь поэт или философ «делают эпоху в истории». Словом, история культуры стала историей «просвещения». При этом «просветители» наивно не замечали, как много места занимают «низменные», материальные интересы даже в их собственной жизни, — как часто творчество поэта подстрекалось просто нуждой в деньгах, а та или иная философская доктрина того или другою мыслителя объяснялась необходимостью добыть кафедру или удержать за собой уже добытую<sup>1)</sup>.

Мы так срослись с этой, «идеалистической», точкой зрения, что нам не без труда удастся представить себе поэзию и философию как отдаленное отражение будничных, материальных интересов и столкновений. И когда впервые было провозглашено учение «исторического материализма» — «закон косности» обрушился на него с еще большею силой, чем на историю культуры вообще. Кто начал свою сознательную жизнь в 90-х гг. XIX столетия, может, впрочем, легко представить себе это по личным воспоминаниям.

Теперь эта борьба отбушевала давно. Современным противникам исторического материализма приходится штурмовать прочно занятые позиции — и более искренние из них не стесняются в этом признаваться. «Одной из отличительных черт исторического самочувствия нашей эпохи является, бесспорно, „экономизм“, — пишет один из таких противников. — Без преувеличения можно утверждать, что ни одна еще историческая эпоха не сознавала с большей ясностью хозяйственной природы жизни и не склонна была в большей степени ощущать мир, как хозяйство... Экономический материализм поэтому не может быть просто отвергнут, он должен быть положительно превзойден, он не позволяет себя отбросить, но повелевает преодолеть. Он запечатлен особой исторической подлинностью и искренностью. Число фактических последователей экономического материализма гораздо больше, чем открытых и сознательных его приверженцев...»<sup>2)</sup>

Кому приходилось следить за специальной литературой, тот особенно оценит меткость последнего замечания. Куда только ни за-

<sup>1)</sup> Классическим образчиком является известный германский философ Ибервег, история философии которого переведена и на русский язык. По словам одного очень близкого к нему лица, «он был во всех направлениях решительным атеистом и материалистом, хотя, как официальный профессор, он (преимущественно) считал своей задачей сообщать студентам только познания в истории философии и ловкость в логике». Он не решился открыто объявить себя «свободным мыслителем» потому, что не считал себя «способным к другому призванию, кроме профессуры».

<sup>2)</sup> Булгаков С. Философия хозяйства // Русская мысль. Март 1913.

бирается материалистическая ересь! Вы раскрываете книгу ученого-лингвиста, проф. Гирта, об индогерманцах: филологи, казалось бы, так должны быть далеки от экономического объяснения истории. И вы читаете: «Развитие человеческого общества в первой линии зависит от его хозяйственной формы. Настойчивые исследования последних лет показали, что ее влияние отражается не только на плотности населения какой-нибудь страны, но и на таких, казалось бы, столь далеко от нее стоящих вещах, как искусство, религия, формы семьи». Вы берете работу не менее компетентного в своей области французского ученого Дешелетта — автора лучшего в европейской литературе руководства по доисторической археологии — и находите чисто материалистическое объяснение происхождения культа солнца у первобытных европейцев: культ солнца явился в Европе, по мнению Дешелетта, вместе с земледелием; перемена в религиозном сознании точно соответствовала известной перемене в хозяйстве. И Гирт, и Дешелетт, вероятно, очень удивились бы, если бы им сказали, что подобного рода утверждениями они проповедуют исторический материализм. Большинству «бессознательных» исторических материалистов их точка зрения подсказана не какими-либо теоретическими рассуждениями, а просто знанием фактов и научной добросовестностью.

Ибо исторический материализм является не чем другим, как попыткой приложить общенаучные методы к изучению исторических явлений. Все науки начинали с того, что для объяснения соответствующих явлений подставляли известные психические факторы. Так, физики учили, что «природа не терпит пустоты»: природа рисовалась известным живым существом, с теми или другими вкусами и привычками; физиологи объясняли явления органической жизни особого рода «жизненной силой» и т. д. Мало-помалу, по мере созревания науки, все эти объяснения сменились *механическим*: признанием того, что все явления природы связаны железной цепью необходимости и ни от чьей сознательной воли не зависят. Объяснение истории культурного развития работой человеческого сознания было последним отзвуком старонаучной теории, последним ее прибежищем: всюду необходимость — а вот в истории-то свободная воля и дает себя чувствовать! Но уже восемнадцатый век признал, что человек есть часть природы. Физиология и психология на каждом шагу нас учат, что жизнь нашего организма и работа нашего сознания подчинены таким же железным законам, как и вся природа. *Откуда возьмется свобода в истории*, раз в человеке ее нет? А как скоро вы признаете, что человеческие действия, все

те культурные факты, которые являются результатом человеческой работы, с механической необходимостью вытекают одни из других, что человек со всеми своими «идеями» ничего в процессе культурного развития изменить не может, — а может повлиять на этот процесс, как и на всякий другой природный процесс, лишь изучив его законы; как скоро вы это признаете, всякий смысл бороться против материалистического понимания истории для вас исчезнет. Не все ли равно, что от чего зависит, литература от хозяйства или хозяйство от литературы, раз и литература и хозяйство не зависят от нашей воли, а развиваются по каким-то законам, столь же непреложным, как законы, определяющие вращение Земли вокруг Солнца? Новейшие немецкие философы, Риккерт и его школа, правильно поняли задачу, взяв весь спор исторического идеализма с историческим материализмом как спор свободной воли против необходимости: беда для них только в том, что в науке спор этот давно решен. Свободная воля осталась только в богословии и тесно с «им связанной метафизике (недаром метко прозванной в Средние века „служанкой богословия“). Но сослаться на богословие перед современной публикой — значит погубить всякое к себе доверие. Смутно чувствуя это, некоторые из последователей названной нами сейчас школы устраняют из объяснения и свободную волю, сводя все к случаю. Но свести всю историю к игре случайностей — значит попросту сказать: „Я в историческом процессе ничего не могу понять“».

Раз став на точку зрения исторического детерминизма<sup>3)</sup>, можно спорить только об одном: является ли экономическое объяснение теории наилучшим с научной точки зрения, т. е. позволяющим с наименьшими натяжками охватить наибольшее число явлений? Ответ на это могут дать, само собою разумеется, только специаль-

<sup>3)</sup> «Детерминизм» называется такое мирозерцание, которое все явления природы рассматривает как связанные друг с другом и обуславливающие одно другое. Исторический детерминизм хорошо формулирован уже одним из философов-материалистов XVIII в., Гольбахом, в его «Системе природы»: «В ужасных потрясениях, которые охватывают иногда политические общества и нередко причиняют ниспровержение государства, не существует ни одного действия, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного движения воли, ни одной страсти в действующих лицах, участвующих в революции как в роли разрушителей, так и в роли жертвы, — которые не были бы необходимы, которые не действовали бы, как они должны действовать, которые не производили бы неминуемо следствий, которые они должны произвести согласно положению, занимаемому действующими лицами в этой нравственной буре, — говорит Гольбах. — Это было бы ясно такому уму, который был бы в состоянии оценить каждое действие и противодействие, происходящие в духе и теле участников». Цит. по: Ланге. История материализма. Т. I. Рус. пер. С. 340–341.

ные исследования. *A priori*, раньше всякого исследования, можно только догадываться, что так как человек физиологически подчинен тем же законам, как и все органические существа, стало быть, главной его потребностью является потребность питания («все, что живет, питается и все, что питается, живет»), а с другой стороны, его сознательная жизнь предполагает, как необходимое условие, его жизнь органическую (организм умерший лишен сознания): то потребность в поддержании организма, потребность питания, есть основная потребность человека, как и всякого другого живого существа; только после удовлетворения этой потребности он может думать о других — и его деятельность, направленная к удовлетворению этой потребности, есть основная деятельность человека. Значит, «главными» культурными фактами являются факты экономической культуры, история хозяйства — ибо основной задачей хозяйства является добывание пищи. Повторяем, это априорное положение может стать научной истиной только после проверки на целом ряде отдельных вопросов. До сих пор такая проверка говорила в пользу этого положения: доказано, например, что такой видный элемент музыки, как ритм, зародился в связи с работой — имеет, стало быть, «экономическое» происхождение; что формы семьи тесно связаны с формами хозяйства — у охотников своя семья, у скотоводов своя, а наиболее близкий и понятный нам семейный строй связан с земледелием новейшего типа — пашней с помощью рабочего скота, вола или лошади. Наиболее ясна зависимость от хозяйственных отношений политической организации — каждому определенному экономическому строю соответствует определенный политический строй: доказательства этому читатели найдут на последующих страницах настоящей книги. Все это делает исторический материализм наиболее надежной, наиболее плодотворной «рабочей гипотезой», какую только когда-либо имела в своем распоряжении историческая наука: из всех возможных объяснений той или другой исторической перемены ученый обязан испытать прежде всего «экономическое» объяснение — и, только если оно откажет, он вправе будет перейти к другим. До сих пор случаев такого отказа при добросовестном исследовании не было: но общепринятым «экономизм» стал так еще недавно, что достигнуть такой степени убедительности, какую приобрел, например, дарвинизм в биологии, материалистическому объяснению истории люка не удалась. Это неудивительно: лежащий в основе дарвинизма «трансформизм», учение об изменчивости видов, уже отпраздновал столетний юбилей, а исторический материализм завоевал себе

доверие только на наших глазах. Если прибавить к этому, что дарвинизму приходилось бороться только с предрассудками религиозными, не столь могущественными в наши дни, а поперек дороги исторического материализма стоят все современные общественные предрассудки, гораздо более прочные, то остается скорее удивляться быстроте, с которою распространяется наше учение, нежели отчаиваться по поводу медленности его успехов<sup>4)</sup>.

Что *научное* понимание истории есть ее *материалистическое* понимание, что исторический материализм и исторический детерминизм суть одно и то же, это — открыто или молчаливо — признается более или менее всеми<sup>5)</sup>. Только в России и некоторых отсталых странах, — напр., в Румынии, — можно еще встретить людей, которые возможность истории как науки признают, но считают в то же время своим долгом ратовать против исторического материализма. Там, где философская мысль всего острее, в Германии, давно поняли, что нужно или отказаться от исторической науки вообще, или примириться с материалистическим ее пониманием. А так как по целому ряду причин, не имеющих к науке никакого отношения, примириться с этим для господствующих общественных кругов очень трудно, то вполне естественно, что в Германии возникло целое, весьма влиятельное, философское течение, представители которого взяли, что называется, быка за рога и заявили, что вообще *история никогда наукой стать не может*. На эту тему писались толстые книги, и развивалась эта тема с огромной эрудицией и не без большого литературного таланта. Но, если освободить основную мысль сторонников этого направления от пышной философской терминологии и свести ее к наиболее простому и ясному

---

<sup>4)</sup> Мы оставляем и эти строки, как ни наивны кажутся они теперь, из тех же соображений, которые изложены в примечании к заголовку этих «предварительных замечаний». Теперь, после русской и германской революций, не может быть никакого сомнения, что сопротивление историческому материализму вдохновлялось прежде всего другого *чисто политическими* мотивами. После революции от исторического материализма отвернулись даже те *буржуазные* ученые, которые ранее являлись его адептами (в России пример — проф. Р. Ю. Виппер). В то же время марксистами объявляют себя теперь все ученые, по тем или иным соображениям перешедшие на сторону революции, хотя бы ранее они были завзятыми антиматериалистами. А материализм «с уступочками», *ревизионизм*, стал уделом всех соглашателей, независимо от того, были ли они ранее «ортодоксальными» марксистами, как Каутский и Гильфердинг, или уже и ранее были ревизионистами, как Бераштейн. Причем, чем далее развивается классовая борьба, тем более ревизионизм сливается с чисто буржуазным миропониманием.

<sup>5)</sup> См., между прочим, цитированную статью г. Булгакова.

выражению, получится нечто чрезвычайно скудное и, с позволения сказать, детски-наивное. История никогда не может стать наукой, гласит эта основная мысль, потому что предметом науки могут быть только явления *повторяющиеся*, в истории же мы имеем дело с фактами *индивидуальными*, которые один раз случились, и ни раньше, ни после *таких именно* фактов не было. Только *повторения* явлений дают нам возможность установить их *закон*: для того, что не повторяется, никакого закона установить нельзя. Один автор, признающий историю наукой и отчаянно борющийся в то же время с ересью исторического материализма, ответил на это так убедительно, что историческому материалисту нечего прибавить к его доводам: до такой степени несостоятельность основной мысли германских антиматериалистов ясна для самого простого ума. «Да в какой же науке нет индивидуального? — спрашивает этот автор, — разве в математике?»

Но уже в астрономии, например, индивидуального сколько угодно; у каждой планеты есть свои индивидуальные признаки: таких колец, как у Сатурна, нет ни у одной другой планеты; у Юпитера 5 спутников, а у Земли один; Земля обращается вокруг Солнца в 365 дней, а Марс — в 687 и т. д., и т. д. Значит, астрономия не может быть наукой? Геология, биология точно так же имеют дело с явлениями, в сущности, однократными — та или иная геологическая формация, тот или иной вид растений или животных существуют только однажды. Стремясь оградить публику от «вредного» исторического материализма, германские антиматериалисты, не замечая этого, упразднили все науки, кроме математики. С другой стороны, безусловная индивидуальность исторических явлений только кажущаяся — и объясняется этот исторический мираж, главным образом, нашим фактическим невежеством. Европейские «Средние века», средневековая культура, сложившаяся на развалинах античной цивилизации, еще недавно казались чем-то «совершенно индивидуальным». Потом заметили черты сходства с ней в гомеровской Греции, — а с открытием так называемой *эгейской* культуры стало ясно, что античная Греция начала с самого форменного «Средневековья»: культура гомеровской Греции возникла на развалинах другой, гораздо более высокого порядка, существовавшей на островах Эгейского моря за 3 000–2 000 лет до Р.Х.<sup>6)</sup> Греки начали, подобно

<sup>6)</sup> К сожалению, мы до сих пор не додумались до более разумного счета времени, чем «от Рождества Христова» вперед и назад. Едва ли нужно объяснять читателю, что дата рождения лица, самое существование которого подлежит большому сомне-

германцам, с разгрома старых цивилизованных государств, а потом устроились на их обломках. Значит, по крайней мере Южная Европа имела *два* средневековья, а не одно: два периода подъема, два следовавших за ними вторжения варваров и два вызванных этими вторжениями периода упадка. Когда будут расшифрованы памятники эгейской письменности, весьма легко может оказаться, что многое, поражавшее нас своею оригинальностью и свежестью в греческой литературе, на самом деле результат такого же «Возрождения», какое пережила Европа в XIV—XV вв. после Р. X. Когда будут вовлечены в научный оборот истории Китая, Японии, Индо-Китая и т. д., ныне известные лишь очень поверхностно, число таких исторических повторений увеличится во много раз: о «японском феодализме», например, уже теперь можно говорить. На долю «индивидуального» останутся тогда только индивидуальности в самом тесном смысле этого слова — личности отдельных «героев» с их подвигами. Другими словами, «история фараонов» никогда не станет наукой, историк-материалист констатирует это с особенным удовольствием. Значит, история культурных фактов не только по содержанию важнее истории «подвигов», но и методологически она выше ее, ближе к типу настоящей науки. И установлено это превосходство культурной истории ее врагами: стало быть, сомневаться в этом никак уж не приходится. Германские антиматериалисты убрали с нашей дороги много лишних бревен. Есть, говорят, однако, у истории особенность, которая сулит ей неприятную для науки перспективу: остаться вечно юной. Два главных способа научного познания — *непосредственное наблюдение* и *опыт* — навсегда будто бы останутся для нее закрытыми. История может знакомиться со своим объектом только косвенно — она не может наблюдать прошлое так именно, как оно происходило, во всей его полноте; в то же время историк всегда будет рабом своего материала — он не сможет никогда переставить с места на место ни одной самой малейшей детали, чтобы проверить тот или другой свой вывод. Замечание это, конечно, гораздо более серьезное и деловое, чем разговоры о «неповторяемости» исторических явлений. Нет спора — наблюдать живьем и воочию древнеегипетскую культуру мы не можем; не можем мы произвести ради опыта хотя бы маленького крестового похода. Но все же возражение не так убийственно, как

---

нию, есть столь же прочный исходный пункт, как дата рождения Бовы Королевича. Автор этой книги очень пропагандирует счет годов от реального и действительно мирового события — Октябрьской революции. Но когда-то это привьется?

кажется на первый взгляд. Во-первых, опять-таки подавляющее большинство наук сплошь и рядом довольствуется наблюдением *косвенным*. В зоологии признаки родов и видов часто устанавливаются по скелету, т. е. на основании такой вещи, которой у живого экземпляра не увидишь: но материальные обломки погибшей цивилизации — такой же скелет; для вымерших видов, кроме костей, по большей части и нет ничего — да не всегда есть и целые костяки; в палеонтологии сходство с археологией почти полное. То же самое в геологии — никто никогда не исследовал «непосредственно» всей земной коры: молчаливо предполагают, что изученные нами образчики могут служить для суждения обо всем остальном, хотя известное относится к неизвестному, как единица к миллиону. В астрономии совершенно невозможен опыт, а в психологии приложение его очень ограничено. А затем, историю в обоих этих отношениях вовсе ее так обездолена, как кажется с первого взгляда. Совершенно ошибочно, будто непосредственное наблюдение культурно-исторических фактов — дело абсолютно невозможное: на земном шаре есть целый ряд народов, еще теперь стоящих на тех ступенях развития, которые для европейцев представляются более или менее отдаленным прошлым. За примерами ходить недалеко — в половине прошлого XIX в. сельская поземельная община в Западной Европе существовала только в виде ничтожных остатков, тогда как в России или в Индии ее можно было наблюдать в полном цвету. В негритянских государствах Судана перед нами — живьем Европа позднего Средневековья, с сильным развитием ремесла, цехами, первобытной бюрократией и примитивным денежным хозяйством; а Полинезия дает там столь же яркую картину непосредственно предшествующей ступени культурного развития — так называемого «поместного хозяйства»<sup>7)</sup>. Весь этот богатейший рудник культурного материала стал разрабатываться не больше одного поколения назад, и уже теперь для таких капитальных вопросов, как история земледелия, ремесла или денег, как история религиозных верований или семейной организации, мы имеем материал, несравнимый по своей полноте с тем, что знали ученые 60-х гг. прошлого столетия. Трудно представить себе, что даст тут «непосредственное наблюдение» к концу XX в.

Не так наглухо замкнута история и для опыта, как может показаться. Во-первых, непрерывным опытом является история текущего момента. Историк, не чуждый интереса к окружающему,

<sup>7)</sup> Термины будут объяснены в дальнейшем.



на каждом шагу должен прибегать к «прогнозу», делать предсказания, которые сейчас же подтверждаются или опровергаются фактами: чем это не опыт, хотя бы и в самой грубой его форме? В тех случаях, когда мы имеем дело с явлениями, поддающимися количественному анализу, доступным статистической обработке, в этом «опыте» возможна довольно большая степень точности: всем известно, например, что промышленные кризисы предсказываются с риском ошибки, пожалуй, меньшим, чем какой существует в таких неоспоримо «естественных» науках, как метеорология. Но это ведь не прошлое; а настоящее: это не *история*, а *социология*, возразит вам читатель. Мы не видим никакой разницы между культурной историей и социологией: и та и другая отыскивают законы развития человечества как создателя культуры (можно ведь изучать развитие вида *homo sapiens* и с чисто зоологической точки зрения, — но это не будет ни социология, ни история культуры). Социология была бы отлична от истории культуры для того ученого, который видел бы в «обществе» особого рода организм (школа Спенсера): но эта точка зрения имеет ныне так мало сторонников, что едва ли стоит ее опровергать. Как мы увидим из дальнейшего, культурный прогресс возможен только в обществе: изолированный индивидуум (Робинзон на своем острове, например) навеки застрял бы на первых ступенях культурного развития. Отсюда история общества — наука об обществе, и история культуры суть одно и то же. А по поводу естественно-научных методов в этой науке прибавим только одно: «опыты» возможны не только для настоящего, но и для далекого прошлого, как ни странно это звучит. Очень часто по недостатку материала историку приходится пополнять пробелы при помощи предположений и догадок, на основании аналогии с другими случаями подобного рода. И сплошь и рядом последующие открытия вполне подтверждали такие догадки. В Древнем Египте, например, долгое время отрицали наличность самой ранней культуры, так называемой «древнекаменной», *палеолитической*; египетская культура, таким образом, казалась явившейся сразу в законченном виде, без прошлого, без предварительной долгой подготовки; это давало повод ко всевозможным фантастическим предположениям о происхождении древнеегипетской цивилизации. Но сторонники однообразного всюду развития культуры не сдавались, утверждали, что и у Египта должна была быть своя древнейшая стадия — и раскопки постепенно дали им полное оправдание: в Египте найдены были памятники древнекаменного века. «Опыт» подтвердил гипотезу.

Итак, в истории культуры применимы и непосредственное наблюдение в размерах ничуть не меньших, чем в других естественных науках, и даже опыт — последний, правда, в размерах несравненно более скромных пока, нежели в настоящих «опытных» науках; но давно ли опыт завоевал себе право гражданства в биологии, например? Что окажется возможно через пятьдесят лет — мы и тут представить себе не можем. Словом, нет никакого разумного основания отрицать, что *история культуры есть одна из естественных наук*, притом вовсе не столь отсталая, как иногда думают. По мере того как материалистическое понимание истории делает все большие и большие завоевания *в кругу специалистов*, наша наука все больше и больше догоняет свою ближайшую соседку и предшественницу — биологию. И жгучий в дни нашей юности вопрос — существуют ли «законы истории?» — понемногу сходит со сцены: лучшее доказательство зрелости науки. Ибо ни для физика, ни для химика, ни для биолога такого вопроса, по отношению к интересующим их явлениям, не существует: *они* ищут эти законы и *открывают* их, а не спорят между собою, есть ли что искать. История культуры идет тем же путем.

Остается сказать несколько слов о плане и задачах настоящего «Очерка». Читатель уже знает, что автор его стоит на материалистической точке зрения — *развитие русского народного хозяйства*, естественно, должно поэтому составить первую и основную часть «Очерка». К сожалению, никому в этом случае не приходится строить на более зыбком фундаменте, чем русскому историку. В то время как с историей права и учреждений России мы знакомы весьма недурно — насколько, конечно, право и учреждение можно понять, не зная истории хозяйства, — в то время как история русской литературы, а в последнее время даже история русского искусства дают все более и более возможности для широких культурных обобщений, истории русского народного хозяйства просто еще нет — она не написана. Т. е. есть довольно много книжек под соответствующими заглавиями: но горе тому, кто вообразил бы, что вопросы, поставленные авторами в заголовках этих книжек, действительно в них разрешены. Для очень важных эпох — как, например, XVIII в. — даже факты плохо известны. Вот почему автору «Очерка», к большому его огорчению, придется быть в этой основной части более «субъективным», чем он сам желал бы, и отвести фактическим иллюстрациям в этой области несколько больше места, чем требовала бы архитектура книги: нигде, как здесь, не прихо-

дится менее предполагать знаний у читателя, даже сравнительно подготовленного, прошедшего курс средней школы, например.

Экономическое развитие, те или другие сменяющие в истории друг друга *системы производства* дают основание для тех или других *общественных группировок*; другими словами, *история хозяйства* неразрывно связана с *историей общества*, историей возникновения и развития общественных *классов*. Социальные результаты той или иной организации производства удобнее всего рассматривать в тесной связи с этой организацией: история общественных классов войдет поэтому в ту же первую часть «Очерка». Но командующие в народном хозяйстве общественные элементы никогда не довольствуются своим фактическим преобладанием; они стремятся закрепить его навсегда путем *юридических норм*, путем обычаев, права и государственных учреждений. Право и учреждения образуют как бы твердую оболочку над жидким, текучим процессом хозяйственного развития. Время от времени хозяйству становится тесно в этой оболочке; она трескается и спадает — обыкновенно к тому моменту, когда под ней успела уже образоваться достаточно прочная «молодая кожа». В то время как социальные отношения, являющиеся прямым воплощением отношений производства, рассматривать отдельно от последних в общем обзоре невозможно, твердую оболочку экономического процесса, право и учреждения можно изолировать и изучать отдельно: *обзор развития права и учреждений* составит самостоятельную *вторую часть «Очерка»*. Но и формального права бывает обыкновенно недостаточно командующим классам для обеспечения их преобладания. Право в конце концов всегда опирается на материальную силу: но ни один режим в мире не устоял бы сколько-нибудь продолжительное время, если бы ему на каждом шагу приходилось обращаться к материальной силе. Эта печальная необходимость достается только на долю режимов открыто реакционных, стоящих в явном противоречии с потребностями хозяйственного развития. В большинстве случаев бывает не так: в большинстве случаев стараются выработать в подвластных «охоту к повиновению», командующие классы стараются добиться своего «добром, а не жесточью». При этом воспитании подвластных «в духе кротости и смирения» главную роль играет *религия*, — необходимое дополнение права и государственной организации. По своему происхождению религиозные эмоции не связаны ни с хозяйством, ни с правом: в основе религии лежит факт, почти столь же физиологический, как потребность питания — страх

смерти<sup>8)</sup>. Это чувство историку культуры приходится принять, как данное. Но на практике изолированной религии, религии Робинзона на его острове, мы нигде не встречаем, на практике мы всегда имеем религию «обобществленную», обросшую общественными учреждениями — неизбежными признаками всякой исторической религии являются культ и церковь. Если право вынуждает повиновение себе страхом материальных кар, религиозные учреждения добиваются той же цели страхом кар «нездешнего мира», тем более страшных, чем он и таинственнее и непонятнее. Лежащий в основе религии мистический страх культивируется здесь с общественными целями, религиозная организация является особой системой господства, дополняющей светскую культуру господства — государству. Оттого в древнейшем государстве право и религия тесно переплетены друг с другом, и правовые предписания часто являются прямо в виде заповедей свыше. Относительная самостоятельность религии заставляет выделить ее в особую, и очень важную, главу истории культуры: обзор *религиозного развития* русского народа составит поэтому самостоятельную, *третью* часть «Очерка».

Хозяйство, право и религия на ранних ступенях развития исчерпывает собою все содержание культуры — в истории *первобытной* культуры, поэтому ни о чем более говорить и не пришлось бы. «Очерк» ставит себе задачей довести обзор культурного развития

---

<sup>8)</sup> *Примечание к четвертому изданию.* Эти строки вызвали жестокие нарекания со стороны авторитетнейших наших представителей марксистской мысли — меня упрекали по поводу их в мелкобуржуазном индивидуализме. Я думаю все же, что правы в этом случае Энгельс (поддерживаемый здесь молчаливо Марксом) и Кунов (старый, довоенного периода), а не мои уважаемые противники. Прежде всего, нет ничего антимарксистского в том, что для меня физиология является предпосылкой социологии: как-то смешно даже разъяснять, что, если бы человек не пуждался в пище, не было бы ни земледелия, ни скотоводства, ни охоты, если бы не было полового инстинкта, не было бы семьи и т. д. Спрашивается, было что-нибудь аналогичное по отношению и религиозной организации или нет? Энгельс и Кунов-марксист говорят, что было, — и Кунов определенно называет *страх смерти*. Только нужно твердо помнить, что, как из *одной* половой любви нельзя вывести семьи — семья предполагает наличие известной *хозяйственной организации*, — так и из *одного* страха смерти нельзя получить религии. Он останется на положении простого физиологического рефлекса, пока им не овладеет, его не использует известная хозяйственная организация. Мелкобуржуазностью является не признание этих несомненных фактов, а признание индивидуальным фактом современной нам — и вообще исторической обобществленной религии. Мелкобуржуазна формула: «религия есть частное дело каждого». Вот почему я пропускаю дальше полторы строки, имевшиеся в старых изданиях, где эта формула упоминалась. Упоминалась, правда, с явно ироническим оттенком, но раз она все же «смущает», лучше ее выкинуть.

России до наших дней — ему придется поэтому коснуться периодов, более сложных в культурном отношении. По мере развития сознательности у людей является стремление осмыслить и понять существующее, причем эта работа — осмысление существующего, — начав с природы, распространяется и на общественные явления. Командующие классы хотят не просто господствовать с помощью страха человеческого и «страха божия», — они хотят доказать себе и другим, что так и должно быть, что их господство разумно и необходимо. Классы, борющиеся за господство с теми, что в данную минуту стоят у власти, также стремятся разумно оправдать свои требования. Каждый класс вырабатывает свою *идеологию*: у экономического процесса рядом с твердой оболочкой права и туманной, мистической оболочкой религии появляется третья, идейная оболочка. Путем воспитания, в школе, мы чаще всего усваиваем именно эту последнюю под видом знакомства с подлинной действительностью, которую из-под идеологической оболочки часто трудно и разглядеть. Анализ различных идеологий составляет поэтому, даже практически, чрезвычайно важный отдел культурной истории — особенно если принять во внимание, что и различные книги по истории культуры написаны под теми или иными идеологическими влияниями. Этому анализу в рамках русской культуры будет посвящена *четвертая* часть «Очерка». И наконец, очерк истории русской культуры не может обойтись без тех отделов, с которых история культуры как наука начала, — без истории литературы и искусства. И то и другое так же стары, как сама культура, — и хозяйство, и право, и религия имеют свое *эстетическое* отражение на самых ранних ступенях культурного развития. Уже в конце палеолитического периода европейской культуры, в так называемую «мадленскую» эпоху, мы имеем искусство, очень высоко стоящее в техническом отношении и, несомненно, тесно связанное с первобытной религией; а памятникам «мадленской» культуры, по определениям разных археологов, от десяти до тридцати тысяч лет! Камни молчат, а то бы мы, без сомнения, знали и мадленскую поэзию, которая, вероятно, оказалась бы не ниже поэзии современных «диких» и «полудиких» народов, давшей столько мотивов поэзии цивилизованных европейцев. Для историка-материалиста важна, конечно, прежде всего *общественная* сторона поэзии и искусства — отражение в них тех или других общественных отношений; этому и будет главным образом посвящена *пятая* часть нашего «Очерка», причем, ввиду богатства фактического материала и сравнительно очень широкой его известности, здесь характер *общего обзора*, намечающего

лишь основные линии процесса, его главные тенденции, и не претендующего сообщить какие-либо новые фактические сведения, будет по необходимости выступать наиболее отчетливо.

Для каждой ступени культурного развития хозяйство, право, религия, литература и искусство являются как одно целое — характерные черты данной культурной *фазы* выступают всюду. Встает *вопрос*: почему мы находим нужным разрезать культурно-исторический процесс на пять вертикальных полюсов, а не рассматриваем его в порядке горизонтальных напластований, фазу за фазой? Материальная основа культуры в последнем случае была бы ведь яснее? Совершенно верно, но зато, во-первых, читателю пришлось бы не один раз от искусства переходить к хозяйству, которое на протяжении районов правового, религиозного, идеологического и т. д. давно успело уйти из круга его внимания. А затем не нужно забывать, что прошлое для нас важно главным образом для понимания настоящего; при «фазеологическом» методе и разделении книги на несколько выпусков читатель на долгое время вынужден был бы довольствоваться знакомством с фазами, более или менее отдаленными и потому менее для него важными. При «вертикальном» же делении читатель получает цельные обзоры наиболее важных отделов — с материалистической точки зрения наиболее важных — сразу: он видит, как современное хозяйство России развилось из его зачатков, и внимание его не дробится между различными сторонами культурного процесса. Соображения, которые, по-видимому, заставили отступить от своего принципа и самого творца «фазеологии», Мюллера-Лиера<sup>9)</sup>, остановившегося в конце концов тоже на вертикальном делении. Представить же читателю «план» культурного развития удобнее всего в конце книги, в виде сжатого повторительного обзора или, еще нагляднее, в виде таблицы.

В заключение несколько слов в ответ на последний вопрос, который, наверное, уже давно задает себе читатель: что разумеет автор под *русской* культурой? Думаем, что едва ли найдутся люди, которые предъявили бы к истории русской культуры требование, внушенное видом старых учебников русской *политической* истории: говорить о культуре всех народов, входящих в состав Советского Союза. Слишком уже очевидно, что украинцы, армяне, грузины, тюрки и туркестанские узбеки имели ту или другую культуру задолго до соприкосновения с русскими и выработали ее безо всякого влияния со стороны этих последних. Грандиозные остатки

<sup>9)</sup> См.: Muller-Lyer. Die Phasen der Kultur. Munchen, 1908.

татарской (золотоордынской) культуры, найденные уже в советское время в нижнем Поволжье, раз и навсегда покончили с легендой о «диких степняках», которые только «опустошали и грабили». И здесь, как позже в Сибири, на Кавказе и в Туркестане, на долю нас, русских, выпала роль «колонизаторов» — т. е., по-русски говоря, захватчиков. Но зато найдется, может быть, немало читателей, которые не прочь были бы определять «русскую» культуру по *географическому* признаку и видеть в нашем «Очерке» обзор культурного процесса, как проходил он на «классической территории русской истории» — между четырьмя морями (Балтийским, Белым, Каспийским и Черным), к востоку от Немана и Днестра, к западу от Волги, Камы и Уральских гор. Нам пришлось бы начать со следов «ледникового человека» на этой «классической территории» и переходить от киевской стоянки охотников на мамонта к таинственным создателям «трипольской» культуры, а от них — к скифам, сарматам и т. д. Мы должны отказать в этом удовольствии и себе и им. Единственным научно-ценным принципом при выделении из общекультурной массы отдельных групп и районов культурного развития является принцип *лингвистический*: культуру определяет язык, главнейшее и необходимейшее орудие культурной передачи — орудие, без которого культура просто немыслима. Русская культура там, где говорят по-русски. На каком языке говорили «трипольцы», мы не знаем, а о скифах знаем доподлинно, что они по языку принадлежали к иранской группе — значит, никакого отношения к русской культуре не имеют. Но так как зачатки русской культуры относятся еще к «праславянской» эпохе, когда наречия восточных славян не успели сформироваться, то об этой «праславянской» культуре придется сказать несколько слов там, где необходимо будет выяснить *происхождение* тех или других культурных приобретений, с которыми русский народ пришел в историческую жизнь.

Часть I

# Экономический строй

<b>Глава 1</b> Первобытное хозяйство .	28
<b>Глава 2</b> «Городское» хозяйство	57
<b>Глава 3</b> Торговый капитализм .	82
<b>Глава 4</b> Крепостное хозяйство .	103
<b>Глава 5</b> Промышленный капитализм	126



## Глава 1

### Первобытное хозяйство

В сравнительно недавнее еще время запас фактов, известных историку хозяйства, был очень невелик. Непосредственно знали хозяйство современных европейских народов. Имелись кое-какие отрывочные сведения об экономическом строе народов прошлого — и уже совсем неясные известия о способах, какими добывают себе пищу «дикари»; а под «дикарем» разумели всякого человека, не вполне одетого и с более темным, нежели у европейца, цветом кожи. Собственно, об этих «дикарях» можно было знать довольно много: путешественники уже XVIII в. собрали довольно обильный фактический материал относительно полинезийцев, американских краснокожих и т. д. Но наивное деление народов на «исторические» и «неисторические» — деление, еще не вовсе позабытое и теперь немецкой, например, литературой — мешало оценить этот материал как следует. Стоит ли историку возиться с теми, кто «не имеет истории»? Гораздо проще придумать схему исторического развития и всунуть в надлежащие клетки этой таблицы те факты, которые казались хорошо знакомыми. Ясно, что человек старается заработать себе на жизнь возможно легче — прокормиться с наименьшей затратой труда. А какое занятие легче и интереснее всего? Конечно, охота: для современного европейца с ружьем и дрессированной собакой это даже и не труд, а просто забава. Еще проще рыбная ловля: сиди себе с удочкой на берегу. Есть ли народы, живущие исключительно охотой? Говорят, есть такие. Ну вот, это и есть древнейшая ступень экономической культуры: сначала люди были охотниками. Какое после охоты самое легкое занятие? Разумеется, скотоводство: глядите, шести-семилетний мальчишка может гусей пасти; одна девушка может ходить за несколькими коровами. Правда, это

скучней охоты и требует больше аккуратности и настойчивости: рано нужно вставать, стеречь скот и т. п. Поэтому, пока много было даровой дичины в лесу, люди не интересовались разведением животных. Но вот дичь повывелась — пришлось, изведав на опыте раз-другой голодовку, устраивать запасы живности: человек, вместо того чтобы убивать зверей в лесу и там бросать их полусъеденными, стал загонять их к себе домой и утилизировать всесторонне, есть не только их мясо, но и молоко, яйца, нашел применение для их шерсти, кожи, рога, костей. Но для скотоводства нужно очень много земли: по мере размножения скотоводам стало тесно — а в тесноте опять и голодно. Пришлось перейти к еще более трудному способу добывания пищи — земледелию, это уже третья стадия хозяйственного развития. Но земледелие потребовало орудий, вся жизненная обстановка усложнилась — стали прочнее дома строить, потребовались плотничьи инструменты, появились ремесла, начался новый, четвертый период — промышленный. Наконец, так как не всюду можно найти одно и то же, люди стали обмениваться между собою благами: наступил последний период, промышленно-торговый, в котором мы и живем.

В дни нашей юности все это казалось нам так «просто» и «естественно», что какие же могли быть возражения? Нашлись ученые, которым смена этих пяти периодов — охотничьего, скотоводческого, земледельческого, промышленного и торгового — показалась ни более, ни менее, как историческим законом — первым из законов, которые удалось открыть историкам. Один французский статистик, Левассер, на основании некоторых данных о плотности населения в различных странах (едва ли нужно говорить, что по отношению к первым двум периодам данные были довольно сомнительные, — потому что какая же у охотников и скотоводов статистика?) придал этому «закону» почти что математическую форму. Так как движущим началом народного хозяйства, согласно нашему «закону», является *теснота*, то, очевидно, переход от одного «периода» к другому должен вызываться *уплотнением населения*. Левассер считал, что у охотников приходится от двух до трех человек на *сто* квадратных километров, у скотоводов — от одного до трех на *один* квадратный километр, у земледельцев — не более 40 на километр, в промышленном периоде — до 160, а в последнем, промышленно-торговом, густоте населения нет предела. Что уплотнение населения играет некоторую роль в экономическом развитии, это несомненный факт — с образчиками этого факта мы встретимся как раз в истории русского народного хозяйства. Но значение его бы-

до до чрезвычайности раздуто Левассером и его последователями. Кто знает, как стоит на Западе вопрос о росте народонаселения, как упорно борется западноевропейская буржуазия с попытками пролетариата урегулировать рождаемость — перестать изображать из себя кроличий садок, доставляющий дешевые рабочие руки предпринимателям, — тот сейчас же догадается, что соблазнило французского ученого. Рост населения у него является естественным фактором, *не зависящим от социальных условий*: хочешь, не хочешь, — а размножайся! На этом стоит все экономическое развитие: перестанешь размножаться — исторический процесс остановится. Шутка сказать! Но целый ряд статистиков, французских, английских, итальянских, менее увлекающихся, чем Левассер, доказали вне всякого сомнения, что *размножение зависит* именно *от социальных условий*. Во-первых, как это ни странно может показаться с первого взгляда, *бедняки размножаются гораздо быстрее, чем богачи*. Во всех крупных европейских центрах максимум рождаемости приходится на бедные, рабочие кварталы, минимум — на буржуазные. В Париже, в кварталах Пасси и Елисейских полей, застроенных роскошными особняками, число рождений не превышает 16–17 на тысячу: а в квартале Обсерватории, наполненном <sup>1)</sup> домами-казармами, с массою мелких квартир, рождается ежегодно 38–39 детей на тысячу населения. В Лондоне рабочие кварталы дают 35 рождений на тысячу, буржуазные — не более 25. В Неаполе, в аристократическом квартале Сан-Фердинандо средняя годовая рождаемость 24–27 на тысячу, а в пролетарском квартале Сан-Лоренцо — 39–49. Затем, *крестьяне размножаются гораздо медленнее, чем рабочие*. Во Франции самый низкий процент рождений (16–17 на тысячу) приходится на плодородные департаменты юга, где преобладает зажиточное мелкое землевладение; напротив, департамент Нижней Сены, с большим процентом пролетариата, дает и высокий процент рождений; это тем характернее, что окружающие его департаменты, густо населенные зажиточным нормандским крестьянством, отличаются очень медленным ростом населения; значит, географические условия тут ни при чем. Зато в Бретани, где крестьянство очень бедно, почти пролетаризировано, население растет быстрее, чем где бы то ни было во Франции. Итак, первое условие, определяющее рост населения, — *это распределение собственности*. Но распределение собственности само только отражает экономический строй данной

<sup>1)</sup> В те дни, к которым относятся исследования, — в 80-х гг. XIX столетия. Теперь и он «аристократизируется» — переходят в предместья.

страны. Население Франции растет медленно потому, что Франция до сих пор — земледельческая страна с относительно (для Западной Европы) слабо развитой промышленностью; немцы размножаются быстрее, потому что Германия — напротив, промышленная страна, где большая часть населения состоит из рабочих. *Не рост населения определяет развитие хозяйства, а наоборот — от развития хозяйства зависит рост населения.* Статистические данные мы имеем, конечно, только для культурных стран, но для некультурных мы имеем целый ряд показаний путешественников, удостоверяющих, что «дикари» регулируют рост населения едва ли не тщательнее и во всяком случае гораздо откровеннее, чем европейцы, не останавливаясь перед хирургическими операциями, даже убийствами новорожденных и т. д. Совершенно «естественный», «физиологический» процесс размножения мы можем найти только в животном мире, а не в истории. Повторяем, в известных, отдельных случаях и размножение может сыграть роль экономического фактора, но строить какой-нибудь «всемирно-исторический» закон на этих отдельных случаях — значило бы обнаружить большое легкомыслие.

Но если так плохо обстоит дело с «законом Левассера», если переход хозяйства из одного «периода» в другой есть не следствие, а причина по отношению к росту населения, то где же причина, что люди были сначала охотниками, потом скотоводами и т. д.? Тщетно было бы искать эту причину, потому что *такой смены периодов в действительности никогда не было.* Наблюдения над бытом тех же «дикарей» показали, что прежние наши представления об охотниках, скотоводах, земледельцах объясняются исключительно нашим малым знакомством со всеми этими видами хозяйства. На самом деле для первобытного человека, вооруженного каменным топором и дубиной, охота на крупного зверя была вовсе не самым легким, а очень трудным и опасным занятием. Рыбная ловля в море на первобытном челноке тоже весьма далека была от знакомого нам тихого и комфортабельного спорта. Что касается скотоводства, то, когда этим вопросом о развитии скотоводства занялись специалисты-зоологи, они сразу наткнулись на ряд фактов, опрокидывающих привычную гипотезу. Во-первых, дикие животные, как правило, в неволе не размножаются: население наших зоологических садов постоянно приходится пополнять подвозом свежего материала; рождение львенка или тигренка — событие, о котором пишут в газетах, и число смертей среди обитателей зверинца всегда гораздо выше числа рождений. Уже из этого видно, какое сложное дело приручение диких животных — какого труда стоило,

например, из дикого зубра выработать теперешний крупный рогатый скот. Но этого мало: в диком состоянии корова или коза дают лишь столько молока, сколько нужно для прокормления детенышей; дикая овца не дает шерсти, на что-нибудь пригодной. Как раз то, из-за чего теперь разводят скот, свойственно ему только уже в прирученном виде! Но из-за чего и как начали его приручать? Быка, по всей вероятности, приручили из-за его *силы* — как рабочее животное: с помощью быка можно было пахать землю глубже и быстрее, нежели с помощью только рук человеческих. Но это значит, что *скотоводство моложе земледелия*, что первое предполагает последнее, а не наоборот.

И действительно, есть все основания думать, что *земледелие было самым ранним видом правильного, систематического хозяйства*. Ранее люди питались, вероятно, просто на даровщинку: ловили мелких животных, собирали раковины, улиток, дикорастущие плоды и хлебные растения. Но *труд* они впервые приложили именно к *земле*, ибо это была самая легкая и простая форма приложения труда, особенно в тропическом климате и на девственной почве. И до сих пор нет ничего проще, например, возделывания маниока в Анголе (в южной Африке); раз в три—четыре года женщины острой палкой слегка вскапывают землю и сажают туда стебли маниока; через год они дают уже урожай, через два—три года еще более обильный; на четвертый год корни засыхают, и «посев» приходится повторять. Что может быть легче и проще! А маниок — одно из самых питательных хлебных растений. Несомненно, что придумать лук и стрелы или бумеранг — охотничье «ружье» дикарей — требовало куда более умственного напряжения, чем подобное земледелие. Если прежним историкам-экономистам земледелие казалось самым сложным видом хозяйства, то это потому, что они не имели понятия ни о каком способе обработке земли, кроме современного европейского, с пашней при помощи плуга на лошади или быке, с бороньбой, удобрением и т. д. Наблюдения над жизнью «дикарей» познакомили с гораздо более примитивной формой обработки — ручной, при помощи мотыги (по-немецки Наске — отсюда термин Наскебау, «мотыжное земледелие») или даже просто виловатого сука. Непосредственным потомком этой первичной формы земледелия является наше *садоводство*, которое и до сих пор ведется вручную, с очень примитивными инструментами, и до сих пор представляет собою нечто среднее между забавой и серьезным делом. Серьезным делом «ручное земледелие» могло тогда стать только, повторяем, при очень благоприятных климатических условиях:

прокармливает людей оно только под тропиками или очень близко к ним (например, в Южном Китае). Но что начинали с него люди везде — любопытным свидетельством этого являются славянские языки и знакомый нам всем инструмент, соха. Слово это праславянское, но в одних славянских наречиях оно обозначает то же, что и в русском, — орудие для обработки земли, — а в других просто *палку* или *жердь*, причем последнее значение филологами признается за основное. Предком нашего национального земледельческого орудия был виловатый сук, которым некогда славянские женщины вскапывали землю, чтобы сажать в нее не маниок, разумеется, а, как увидим дальше, по всей вероятности, просо.

Старую схему экономического развития — охота, скотоводство, земледелие и т. д., — теперь все оставили, т. е. все специалисты по истории хозяйства; в кругах неспециалистов она еще держится с прочностью предрассудка, почему и пришлось потратить столько времени на ее разбор. Но явившиеся на ее место новые схемы, при всех своих преимуществах, все же несвободны от предрассудков другого рода. Наиболее распространенной из них является схема Бюхера.

Знаменитый германский экономист занимает в истории хозяйства приблизительно такое же место, как Ключевский в русской истории; его отдельные наблюдения часто поразительно метки и глубоки — в новейшее время едва ли кто сделал столько для превращения истории хозяйства в науку, как Бюхер: тем авторитетнее в глазах многих его схема, и тем необходимее указать ее недостатки. Основная идея этой схемы — *то расстояние, которое проходит продукт от производителя до потребителя*. Человек начал с того, что хозяйничал *индивидуально*, единолично стремился удовлетворить все свои потребности. Это — период «индивидуального разыскивания пищи» (*individuellen Nahrungs suche*).

По мере усложнения потребностей сил одного человека для их удовлетворения оказалось мало — люди стали спланиваться в группы, появилась *семья*; но хозяйство не выходило еще из пределов семьи — то, что в ней производилось, ею же и потреблялось. От греческого слова «ойкос» (дом, семья) Бюхер назвал эту вторую стадию *ойкосным хозяйством*. По его мнению, древний мир в общем и целом не вышел за пределы ойкосного хозяйства: благодаря рабству, ойкос получил возможность развиваться до громадных размеров; у римского богача времен империи были не только всевозможные домашние ремесленники, но домашние артисты и даже домашние философы; тем не менее это была лишь огромная семья, одно хозяйство, которое само же потребляло все, что производило. Сред-

невековая вотчина принадлежит еще к тому же типу, но ко второй половине Средних веков произошло уже отделение обрабатывающей промышленности от земледелия: часть населения посвятила себя исключительно ремеслу, выменивая хлеб и т. д. на свои ремесленные изделия, а крестьянин все больше и больше привыкал покупать нужные ему орудия, отчасти даже платье и т. п. на рынке, а не изготовлять домашними средствами, как это он раньше делал. Появляется *обмен*. Но обмен ограничивается сначала очень тесным районом — маленькие местные рынки распределены таким образом, что из самой далекой деревни можно приехать на рынок и домой вернуться в течение одного дня. Город с его уездом, говоря по-нашему, — вот каков был район обмена по Бюхеру в Средние века: отсюда для *третьего периода* он употребляет термин *городское хозяйство*. Мало-помалу, однако же, города растут, и городские округа специализируются на изготовлении главным образом какого-нибудь одного продукта: обмен охватывает целую страну, целый народ — наступает четвертая эра, *хозяйства народного*.

Противники Бюхера раньше всего указали на *неисторичность* этой схемы — на то, что исторические факты не укладываются в ее рамки; что, например, античный мир, Древнюю Грецию и Древний Рим с их развитыми путями сообщения, огромной торговлей, мануфактурами и банками никак нельзя уложить в тесные рамки ойкосного, семейного хозяйства. Возражения на это Бюхера были очень неубедительны, — но и ошибки талантливого человека иногда бывают полезны: благодаря этому спору выяснилась роль рабства в Древнем мире и обнаружилось, что по крайней мере в Греции рабский труд вовсе не имел такого значения, какое тогда ему приписывают, — греческая промышленность была главным образом в руках свободных ремесленников. Но схема Бюхера не только противоречит отдельным историческим фактам — нетрудно заметить, что она *вся* в целом чрезвычайно искусственна. Ее основная идея навеяна старой, «классической» школой политической экономии, управляющейся в своих построениях от «хозяйствующего индивидуума». Почвой, на которой эта идея возникла, было мелкое ремесленное производство: оно, действительно, «индивидуально» — ремесленники работают поодиночке или почти поодиночке, с одним-двумя помощниками. Это *мелкое ремесленное производство* завещало нам бесчисленное множество понятий, которыми, по закону исторической косности, мы еще и сейчас живем, хотя экономически мир давно уже перешел к производству крупному: от ремесла ведет свое начало всяческий *индивидуализм*, начиная от правового (индиви-

дуальная собственность) и кончая эстетическим индивидуализмом в искусстве (импрессионизм, декадентство и т. п.). Первобытный человек Бюхера, «индивидуально разыскивающий пищу», — не что иное как «хозяйствующий индивидуум» экономистов XVIII в., перенесенный в туман седой старины, где он кажется правдоподобнее за дальностью расстояния. На самом деле первобытные люда хозяйствовали, наверное, группами, как теперешние дикари. Взять хотя бы ту же культуру маниока. Мы сказали, что дело это простое, в том смысле, что оно нехитрое — не требует никакого напряжения умственных способностей, но *рук* оно требует очень много. Чтобы приготовить место для посадки маниока, нужно вырубить деревья, выкорчевать кустарники, выжечь траву — словом, проделать много такой работы, которая одному человеку не под силу: оттого рассказы путешественников о возделке маниока всегда употребляют множественное число, когда речь идет о «субъекте хозяйствования». То же самое и относительно *охоты*: большая охота, или охота на крупного опасного зверя всегда ведется сообща; точно так же бразильские индейцы устраивают общие охоты, «когда нужно собрать запасы», т. е. как раз охота в качестве серьезного хозяйственного предприятия — всегда дело целой группы, иногда целого племени. Но даже когда отдельный охотник убьет дичь, он обращается к услугам других, чтобы перенести ее домой, и делится с ними; у тех же бразильских индейцев эта помощь других настолько предполагается сама собой, что в большинстве случаев охотник и не дает себе труда тащить добычу — он спокойно возвращается домой и только сообщает домашним, где он убил зверя. Не-охотники, женщины, дети уж позаботятся доставить его на стоянку. Рыбная ловля в Полинезии также ведется сообща — морские лодки и огромные сети, которые для этого употребляются, требуют десятков рук.

Можно возразить, что ведь это все далеко не «первобытные» люди, ведь полинезийцы или ангольские негры — «дикари» только с прежней, наивной, точки зрения, на самом деле это, может быть, люди довольно старой культуры. Но бразильские индейцы, во всяком случае, принадлежат к наиболее низкостоящим племенам, какие только существуют теперь. А затем, мы знаем, что и настоящие первобытные люди, люди древнекаменного века, охотились, например, на мамонта; нельзя же себе представить, чтобы человек убивал мамонта, который был крупнее теперешнего слона, в одиночку, не имея к своим услугам ничего, кроме камня и дубины. Мало того, *индивидуализм* первобытных людей чрезвычайно мало вероятен даже *зоологически*: гиббоны, та порода обезьян, которая является



наиболее вероятным предком как человекообразных обезьян, так и самого человека, живут стадами; пришлось бы предположить, что на пути к человеку обезьяна утратила свои социальные инстинкты, которые потом человеку пришлось вырабатывать сызнова. Такой зигзаг нужно доказать, во всяком случае, лучше, нежели ссылками на то, что дикари неохотно дают другому в руки свое оружие или что они хоронят вместе с покойником все лично ему служившие вещи. На этих примерах мы можем только видеть, в какой области зарождается экономический индивидуализм. Оружие охотник-дикарь prepares себе, обыкновенно, сам, единолично: *с началом ремесленного производства является и индивидуализм* — и он держится именно в ремесленной сфере. В области же добывания себе пищи первобытный человек был коммунистом — как ни неприятен этот факт буржуазным историкам хозяйства.

Но натяжки схемы Бюхера не ограничиваются этим. В ней не один этот отзвук устаревших экономических взглядов. Бюхер начинает с предположения, что обмен является только на высших ступенях хозяйственного развития: в «индивидуальном» периоде и в «ойкосном» обмена еще нет. Он ссылается при этом на исследование одного очень видного ученого о начале обмена у полинезийцев. Тот приводит несколько фактов, свидетельствующих будто бы, что до появления европейцев многие из обитателей островов Тихого океана совершенно не имели понятия о торговле. Как европейцы ни соблазняли их разными, с точки зрения европейцев, интересными и привлекательными вещами — они ничего не могли получить в обмен, а когда эти вещи дарили туземцам, те их бросали на берегу. Но для того, чтобы этот пример имел какую-нибудь убедительность, нужно, чтобы эти вещи были интересны и привлекательны для самих «дикарей», а этого-то как раз мы и не знаем. Представьте себе, что в глухую деревню какой-нибудь остроумный человек привезет большую партию парижских дамских шляп последнего образца и начнет на них выменивать хлеб, холст и т. п. Весьма вероятно, что ему также ничего не удастся выменять, а подаренные шляпки будут употреблены на огородах в качестве пугал, но это вовсе не будет служить свидетельством, что русской деревне не знакомы обмен и торговля. У тех же самых полинезийцев другие путешественники легко выменивали нужные им съестные припасы в обмен на водку или разные лакомства — и постепенно спаивание туземцев стало своего рода «торговой политикой». При том какие же, еще раз скажем, полинезийцы «дикари»? Они, правда, не знали металлов, но их хозяйство и общественный строй по своей сложности были при первой

встрече их с европейцами не ниже того, что знали сами европейцы в начале Средних веков. Предки Карла Великого, Карл Мартел какой-нибудь, не были, конечно, очень цивилизованными людьми, но к дикарям их никто еще не относил. Между тем сам Бюхер приводит ряд случаев систематического обмена, правильной торговли у настоящих дикарей, у австралийских негров, которые наравне с бразильскими индейцами и африканскими бушменами принадлежат к наиболее низко стоящим народам Земного шара. Эти австралийские негры устраивают целыми племенами отдаленные, за триста-четырееста верст, экспедиции за такими товарами, как краска, которою они окрашивают себе тело, наркотические вещества, даже камень для ручных мельниц. Приобретя большой запас подобных вещей, они *торгуют* ими со своими соседями, выменивая у последних оружие, звериные шкуры и т. п., — изготовляемые и добываемые теми, очевидно, тоже для продажи. В самых глухих углах экваториальной Африки, сообщает нам другой, очень авторитетный, исследователь, широко распространена *торговля съестными припасами*; этот исследователь готов ее считать чуть ли не самым ранним видом торговли вообще. Негритянские женщины с раннего утра сидят на рынке с овощами, мясом, сырым или вареным, кашей и т. п. — и выменивают все это либо на ремесленные изделия, либо на пищевые же продукты, но которых у них в деревне нет (напр., на рыбу). У каннибалов, по словам некоторых путешественников, на таком рынке можно найти и человеческое мясо: как видим, мы здесь уже среди дикарей самых настоящих, без всяких кавычек. И эти дикари ведут *торг предметами первой необходимости*, тогда как, по схеме Бюхера, вплоть до «городского хозяйства» разрешается торговать только «предметами роскоши»: слоновой костью, например, золотым песком, страусовыми перьями и т. п. Бюхер тут опять поддался очень старому взгляду, согласно которому люди начали с *натурального* хозяйства и лишь потом перешли к *меновому и денежному*. В действительности, и деньги африканским неграм очень хорошо знакомы, хотя и в очень непривычной для нас форме: наиболее распространенной формой является одна раковина, *Каури*, — некогда, по-видимому, самая распространенная форма денег на Земном шаре. Периоды «натурального» и «менового» хозяйства нужно также сдать в архив, как периоды охотничий, скотоводческий и т. д.

Приглядываясь к этой первобытной торговле, можно, однако же, подметить две ее особенности. Во-первых, торгуют те, кто непосредственно добыл или сделал те или другие вещи: достал охру, сварил кашу, изготовил копье, щит или бумеранг. *Между произво-*

дителем и потребителем нет посредника, каким является современный купец. Эту особенность подчеркивает и Бюхер. На другую он меньше обращает внимания, а она не менее характерна: торг, как и добывание товара, ведется *не отдельными лицами*, а целыми группами, племенами. Это особенно относится к торгу вещами, более или менее редкими, как наркотики или произведения ремесленного труда: в Новой Гвинее, например, есть племена, специализировавшиеся на изготовлении глиняной посуды, за которой из других пунктов острова являются «целые флоты» туземных лодок. В Африке такой меновой характер носит производство материй, иногда металлических изделий. Древнейший рынок и является местом такого *междуплеменного обмена*. Рынок — место священное; люди даже враждующих между собою племен приходят туда беспрепятственно и безопасно: «нарушение торгового мира» — одно из первых преступлений, которое знают дикари и которое они наказывают особенно строго. Мало-помалу привыкают между собою обмениваться и отдельные люди: этот индивидуальный, уже не племенной, обмен начинается раньше всего в области *ремесленного* труда. Мы сейчас упомянули о существовании в Африке целых племен кузнецов, но это редкое исключение; гораздо чаще кузнечеством занимаются отдельные семьи, притом по происхождению часто чужие тому племени, среди которого мы их находим. Туземцы относятся с суеверным страхом к этим пришельцам, владеющим таинственным, незнакомым для туземцев искусством. Иногда это существа полубожественные, иногда же это парии, потому что чужие, не той крови, как те, на кого они работают. Но выделение ремесленника начинается раньше кузнечества: в Полинезии мы имеем редкий и любопытный образчик «первого ремесленника», в лице одного местного царька, прославившегося на далекое расстояние своим искусством обтесывать каменные топоры. С выделением ремесленника субъектом обмена является уже отдельное лицо, но обмен по-прежнему идет непосредственно между производителем и потребителем. Только постепенно торговля захватывает все большие и большие районы и приобретает характер особого ремесла: появляется ремесленник торговли, купец, скитающийся со своим караваном из конца в конец страны. Понемногу он и становится настоящим хозяином товара: ремесленник работает на скупщика, а не непосредственного на потребителя. Последний идет за товаром к купцу, а не прямо к ремесленнику. Появляется *торговый капитализм* — наравне с ростовщицеством отец всякого капитализма вообще.

Как видит читатель, перед нами отчетливо выступают черты *трех* периодов хозяйственного развития: первобытного *племенного* хозяйства, *ремесленного индивидуального* и новейшего, *капиталистического*. Второй период довольно точно соответствует «городскому» хозяйству Бюхера. Да и в первом один существенный признак совпадает с бюхеровским «ойкосным» хозяйством: суть дела и там и тут в том, что производство ведется *группой*, но эта группа — во все не непременно *племя*. Племя — это главным образом *охотничья* организация; у бразильских индейцев-охотников территория поделена между племенами, и границы племен известны не хуже, чем государственные границы в Европе. Но для земледелия, например, нет надобности ни в большой территории, ни в таком количестве рабочих рук, как для массовой охоты — земледельческая группа может быть и в 30–40 человек: «большая семья», классическая форма первичной общественной организации у земледельческих народов, как раз и имеет такие именно размеры. Таким образом, *бюхеровская схема, в общем, соответствует фактам* — только из нее нужно устранить то, что дано не фактами, а является остатком старых экономических предрассудков. Хозяйство начинается не индивидуальными попытками, а коллективной работой и заканчивается на наших глазах такими же *коллективными* формами, но первобытная коллективность была, так сказать, стихийной, естественной, пережитком первичной стадности, а характеризующее капиталистический период объединение многих рук в одном хозяйстве явилось результатом искусственного технического приспособления. Чтобы это целесообразное приспособление оказалось возможно, необходим был промежуточный ремесленный период, когда люди работали, действительно, в одиночку, создавая технику, постепенно переросшую силы одного человека и повелительно потребовавшую новой коллективности. Но этот ремесленный период кончился так недавно, что мы еще живем его идеями, его правом и его моралью. Создание новой идеологической оболочки происходит на наших глазах; создание новой оболочки правовой — очередной вопрос дня.

Все три стадии экономического развития — первобытное коллективное хозяйство, племенное или семейное, ремесленное хозяйство и хозяйство капиталистическое — мы находим и в русской истории. Хронологически *эти* стадии сменяют друг друга довольно правильно: семейно-племенное хозяйство характеризует домосковскую Русь X–XV столетий; XVI–XVII вв. являются в России периодом докапиталистического ремесленного индивидуализма (пусть читатель не смущается, что на эти века падает пресловутое «за-

крепощение общества на службу государству»: нет ничего более индивидуалистического, чем новейшее русское крепостное право); с XVII столетия мы имеем уже торговый капитализм, а с XIX и промышленный. Но не следует, конечно, представлять себе эти периоды отрубленными, как топором: такое представление было бы как нельзя более неисторично. Развитие хозяйства, во-первых, быстрее происходило в центре, медленнее на окраинах: на Крайнем Севере, например, если не само первобытное коллективное хозяйство, то его юридические остатки дожили чуть не до наших дней. Зато в Киеве и Новгороде мы встречаем зачатки ремесленного хозяйства задолго до Московской Руси, — и притом очень крупные зачатки. А во-вторых, русское народное хозяйство, подобно всякому другому, не развивалось, как что-то совершенно обособленное: у него была своя «среда», данное положение международного хозяйства, — влиянием этой среды обмениваются наш прогресс и наш застой. Хозяйство Киевской Руси, например, нельзя себе представить, не считаясь с влиянием Византии, арабов, а отчасти и Западной Европы. Хозяйство Новгорода было тесно связано с ганзейской торговлей. Экономические запросы Западной Европы — преимущественно, северо-западной, Голландии, Дании и Швеции — дали сильный толчок развитию русского торгового капитализма с конца XVII в. А проникновение капитализма в русское сельское хозяйство невозможно мыслить, не учитывая образования *международного хлебного рынка* около половины XIX столетия. С другой стороны, экономический, а с ним и всякий другой культурный упадок Северо-Восточной Руси в так называемый «удельный» период (XIII—XV вв.) гораздо больше объясняется полной экономической изолированностью, нежели татарским, например, нашествием. Эти два явления, свойственные, конечно, не одной России, — географическую неравномерность распределения культуры и зависимость *местного* культурного развития от *общего хода* развития культуры на Земле — необходимо иметь в виду, чтобы правильно применять «фразеологическую» точку зрения; она отнюдь не совпадает с «хронологической». В XVIII в. мы можем найти там или тут признак, характерный и для XVI, а в XII в. — нечто очень похожее на то, что окончательно сложилось только к XVII в. Всякая классификация условна, а классификация тех сложных явлений, которые составляют предмет истории культуры, тем более.

Со всякого рода условностями мы встречаемся в истории русской культуры на первых же шагах. Чрезвычайно важно, конечно, определить, с чего началось экономическое развитие русского на-

рода как особого исторического целого. Мы уже знаем, что определяющим признаком для народа является *язык*. Первые письменные памятники на русском языке — летописи и сборники обычаев, потом объединившиеся под именем «Русской Правды», — относятся, если брать не время их *написания* (наши рукописи обыкновенно очень позднего происхождения), а время их *составления*, к X в. Но ни в летописях, ни в памятниках права мы не находим полной картины русского хозяйства этой эпохи. Достаточно привести один пример: древнейшая редакция «Русской Правды» из всего домашнего скота знает только *лошадь*. Но мы поступили бы очень неосторожно, если бы на основании этого заключили, что русские X в. были преимущественно коневодами. Напротив, от одного арабского писателя начала этого столетия мы имеем известие, будто лошадей-то как раз у славян того времени было мало и конские табуны были только у князя, тогда как простонародье разводило овец и свиней. И это очень правдоподобно, так как овца — во всяком случае одно из древнейших домашних животных вообще: на всех индоевропейских языках имя ее звучит одинаково, и это позволяет думать, что овцу индоевропейцы приручили раньше, чем появились индоевропейские языки. Сейчас мы увидим, в каких пределах убедительными являются подобные «лингвистические» соображения: пока ясно одно — ограничься мы одними литературными памятниками Древней Руси, мы немного узнаем о древнейшей стадии русского хозяйства. Только, примерно, с XII столетия мы имеем настолько богатую литературу, что можем в основу характеристики положить литературные указания, лишь для большей наглядности прибегая к *археологическим*, например, данным. Чем дальше «в глубь времен», тем чаще приходится нам прибегать к разным «вспомогательным наукам» вроде археологии, к показаниям иностранцев и т. д.

Показания иностранцев — мы имеем рассказы о древних славянах византийцев уже от VI в., арабов от VIII–IX вв. — когда-то служили главным историком для знакомства с дописьменным периодом русской истории. По мере того как начались раскопки, дававшие все более и более богатый материал для непосредственного знакомства с бытом наших предков, рассказы иностранцев отступали на второй план. Но «археологический» метод имеет свою невыгодную сторону: камни молчат; отнесение той или другой находки к славянскому, и именно русскому, прошлому, очень часто основывается на ряде весьма произвольных допущений. Во вступительной главе мы упоминали, например, о Трипольской культуре, найденной в Киевской губернии, отличительным признаком кото-

рой является *цветная керамика*, посуда с яркими, разноцветными узорами. Культура эта не моложе четырех тысяч лет, и тем не менее нашлись исследователи, утверждающие, что «трипольцы» были славяне. Их противники утверждают, что это «невероятно»: но, кроме произнесенного с большим ударением слова «невероятно», им нечего возразить, пока мы остаемся в области археологических данных; лишь приняв в соображение рассказы византийцев от VI в., рассказы, изображающие славян настоящими дикарями, мы должны согласиться, что действительно невероятно, чтобы эти дикари за полторы тысячи лет до этого создали такую богатую и прочную культуру, как «трипольская». Пришлось бы допустить громадный и продолжительный регресс в славянском развитии, для чего все, что мы знаем о древних славянах, не дает нам никакого основания. Как видим, казалось бы, такой прочный и простой метод, как археологический, в конце концов опирается на ряд условных допущений и дает выводы, надежность которых приходится определять при помощи столь утлого пособия, как «рассказы путешественников», сплошь и рядом не выдавших славян в глаза и передававших, нередко через третьи уста, чужие рассказы.

Но кое-что мы можем узнать от самих древних славян, хотя они писать и не умели: они *называли* разные предметы своего обихода, и по *названиям* предметов мы можем судить, до некоторой степени, о содержании славянской культуры. Славянские языки, как известно, распадаются на три группы: западную (чешский и польский), южную (сербский и болгарский) восточную (великорусский, белорусский и украинский). Если какой-нибудь культурный термин встречается во всех этих трех группах, мы вправе считать его очень древним и относить его возникновение к тому времени, когда эти подразделения одного славянского языка на группы, а групп — на отдельные языки еще не успели образоваться. Как выражаются иногда, этот термин относится к славянскому «праязыку». Иногда мы можем проследить то или другое название за пределы даже славянских языков, к «праязыку» всех индоевропейцев<sup>2)</sup>, если не далее: таково, например, слово *мед*, встречающееся не только во всех индоевропейских, но и во всех финских наречиях. В последнее время делаются попытки объединить индоевропейские и финские язы-

<sup>2)</sup> Индоевропейскими, как известно, называются языки, на которых говорит и говорило большинство населения Европы, с одной стороны, Передней Азии и Индии, с другой — латинский, греческий, кельтский, древнегерманский и новейшие романские и германские, славянские яз., литовский, армянский, древнеперсидский, санскрит и некоторые вновь открытые диалекты центральной Азии.

ки в одну, еще более общую, группу: если эта догадка справедлива, то придется предположить, что *пчеловодством*, бортничеством, занимались еще общие предки индоевропейцев и финнов, т. е. общие предки *белой расы*. Но могло быть, что финны заимствовали и это слово, и это занятие у своих индоевропейских соседей — могло быть и наоборот, что те заимствовали то и другое у финнов: как видим, *утверждать что бы то ни было, кроме глубокой древности термина, было бы рискованно*. Возможна и другая опасность: слово могло за тысячи лет своего существования изменить свое значение. Приведем для ясности опять пример. «Романские» языки — французский, итальянский, испанский, румынский и т. д. — произошли от латинского. По-французски город — ville; есть более старое название — cité, итальянское città. В латинском языке есть и villa, и civitas, от которой посредством сокращения произошло cité, но villa по-латыни значит «дача», а civitas — «гражданство», и лишь в позднейшем латинском языке «городская община». А «город» по-латыни — или urbs (если речь шла о Риме), или oppidum. Во французский не перешло ни то ни другое, а перешедшие слова утратили прежний смысл. Вот почему, прибегая к лингвистическому методу, нужно обращать внимание не только на *звуки*, как это делали прежние ученые, но и на значение слов, а если значение неясно — никаких выводов не делать.

Если мы, со всеми этими предосторожностями, начнем допрашивать славянский «празык» насчет древнейшей славянской культуры, мы все же получим данные, достаточно богатые и более надежные, чем какие бы то ни было другие. Во-первых, на всех славянских языках совпадает корень *жить* и название хлеба, *жито*; слово «брашно» означает, более частным образом, *муку*, затем *пищу вообще*, затем *имение*; «обилье» означает и *урожай*, и *богатство*; всем славянским языкам знакомы общеиндоевропейские термины главнейших земледельческих операций — «пахать» (в форме «орати» — лат. arare, греч. aron и т. д.) и «сеять» (лат. serere, литовское seti и т. п.), общеиндоевропейское название плуга<sup>3)</sup> «орало» (греч. arotron, армянск. araug) и «серпа» (греч. harpe, лат. sarpere); «жатва» — общеславянское слово, точно так же, как и «нива». Совершенно ясно, что славяне в незапамятные времена, до образования отдельных славянских наречий, не только занимались земледелием — этого мало сказать, но главным образом при помощи

<sup>3)</sup> Точнее, земледельческого орудия вообще — это вовсе не было непременно то, что теперь мы называем «плугом».



земледелия добывали себе пищу, причем, однако, не сами выдумали земледелие, а унаследовали его от еще более раннего периода, когда и отдельные индоевропейские языки не успели еще образоваться. Если мы теперь от лингвистики перейдем к археологии, то увидим, во-первых, что уже в древнейших славянских погребениях встречаются серпы; но серпы эти *железные*, т. е. погребения сравнительно очень поздние: археология, в смысле древности, к нашим знаниям о славянском земледелии ничего не прибавляет. Зато западноевропейские раскопки доказывают вне всякого сомнения существование культуры хлебных растений до всякого знакомства с металлами в *неолитический*, «новокаменный» период<sup>4)</sup>. Знали ли славяне металлы в тот древнейший период, о котором идет речь? *Названия* металлов у них были, но, как мы уже отметили выше, звуки сами по себе еще ничего не доказывают. Наблюдения же над *значением* слов дают одну мелкую, но характерную подробность: наше слово «нож», несомненно, происходит от древнепрусского (древнепрусский язык — один из вымерших диалектов литовского) *pagis*, что значит «кремень». Вполне можно допустить, что древнейшие славяне получили ножи с запада, от пруссаков или *прусов*: на южных берегах Балтийского моря неолитическая культура стояла особенно высоко, там больше всего найдено ее остатков и самые лучшие образчики. Это был культурный центр, — весьма возможно, что это был и центр промышленный. Что в неолитический период торговля ремесленными произведениями была уже сильно развита, показывает то обстоятельство, что местами находят неолитические орудия из пород камня, незнакомых не только в данной местности, но и поблизости; очевидно, такие орудия могли быть занесены только путем торговли. Путем торговли древние славяне могли получать свои орудия от пруссов — и орудия эти были каменные. Слово «нож» дает нам нитку, столь же надежную, как разобранный нами выше (с. 33) слово «соха».

Лингвистика дает нам довольно точный ответ не только на вопрос, занимались ли славяне земледелием, но и на вопросы, *что именно* они возделывали, и *где* они этим занимались. Названия хлебных растений — овса, ячменя и т. д., — общи, более или менее, всем славянским языкам, но, еще раз, названия сами по себе

<sup>4)</sup> Характерным признаком неолитической культуры считались прежде орудия из *полированного* камня, а не только *оббитого*, как в древнекаменный (*палеолитический*) период. Теперь придают большее значение *умению делать посуду* — гончарное искусство не было знакомо палеолитическому человеку.

ничего не доказывают; вполне можно допустить, например, что славяне знали эти растения в диком виде. Относительно двух, однако же, хлебных растений это предположение маловероятно. Мы имеем два слова, происходящие, несомненно, от одного и того же корня «пшеница» и «пшено» от «пхати» — *молотить*. Но пшено и пшеница ботанически не имеют между собою ничего общего: пшено — это молоченое *просо*, хорошо всем знакомое в образе пшенной каши; с пшеничным хлебом оно не имеет никакой связи, кроме лингвистической. А эта последняя связь возникла благодаря тому, что для получения зерна и просо и пшеницу подвергали одинаковой (или сходной) технической операции. Итак, *пшеницу и просо славяне не только знали в дикорастущем виде, но и возделывали*; это опять-таки подтверждается (если нужно еще подтверждение) и общей аналогией — просо едва ли не древнейшее из культурных хлебных растений Европы, пшеницу же, и притом нескольких сортов, отлично знает неолитическая культура. Просо — единственное из европейских хлебных растений, культура которого очень близка к садовой, — его приходится, например, полоть и т. п. Из-за хлопот, с которыми связано его разведение, просо и не возделывают теперь нигде в крупных размерах, но для мелкого земледелия ручную, с помощью виловатого сука, «праславянской» сохи, оно весьма подходило, давая хорошие урожаи на девственной почве, притом урожаи очень надежные: просо не боится засухи. Но оно требует в то же время, как и пшеница, много света и тепла и очень боится весенних заморозков. Просо и пшеница — не северные, а южные растения, не лесные, а степные. *Очаги земледельческой славянской культуры мы должны искать на юге*, — скорее всего, на Украине, близко к степи, далеко от холодящих воздух лесов и болот севера.

Уже это обстоятельство должно поколебать очень сильно распространенное мнение, что исконным занятием славян был лесной промысел — *охота*. Досадным для сторонников такого взгляда образом и лингвистика, и археология упорно отмалчиваются на этот счет. «Язык дает очень скудные указания (на охоту)... Археология также почти ничего не дает», — говорит, напр., проф. Грушевский. Некоторые термины — «лов», «ловить», «сеть» и «тенета» — несомненно, древнеславянские; звероловством славяне, конечно, занимались, но серьезного экономического значения в *древнейшую* эпоху охота не имела. Не то было несколько позже. Для X в. мы имеем уже два-три указания на крупное значение, какое имела охота в жизни *русских* славян. Мы знаем, что летопись делит последних на несколько *племен* — полян, древлян, радимичей, вяти-

чей и т. д. Что лежало в основе этого племенного деления? Одно место начальной летописи бросает на это яркий свет. В 975 г., говорит начальная летопись, древлянский князь Олег встретил в лесу Лота Свенельдича — сына первого киевского вельможи того времени, — выехавшего на охоту из *Киева*; древлянский князь убил его. Это было поводом к вражде между Олегом и Ярополком, киевским князем, которая кончилась гибелью Олега. Почему Олег убил Лота? Потому, что тот из *Киева*, т. е. из земли *полян*, приехал охотиться в *древлянскую* землю: очевидно, что территории племен именно в охотничьем отношении были отделены друг от друга в Древней Руси не менее резко, чем отделены друг от друга территории современных нам бразильских индейцев. Охотиться на чужой земле — все равно что вступить с войсками на чужую территорию в современном государстве; это *casus belli*, ответ на это дают вооруженной рукой. С другой стороны, политическое подчинение племени выражалось в том, что победитель получал неограниченное право охоты в земле побежденных: когда Ольга завоевала древлянскую землю, она первым долгом устроила там «становища и ловища» — это был самый прочный и выразительный символ господства полян над древлянами. Как видим, в X в. охота имела в жизни русских славян не только экономическое, но и политическое значение, но это было одно из новообразований, привнесенных в славянскую жизнь международными отношениями. Охотой славяне систематически и усиленно стали заниматься под влиянием *торговли* — об этом мы будем еще иметь случай поговорить ниже<sup>5)</sup>.

Пристепное положение очага древнеславянской культуры должно было бы, казалось, иначе поставить вопрос о скотоводстве: где же разводить скот, как не в степи? Но мы видели, что славяне в этот древнейший период своей истории стояли на очень невысокой ступени культурного развития, а скотоводство — один из самых сложных и трудных видов хозяйства. Иностранцы писатели сообщали на этот счет такие вещи, что им долго не верили, видя в их рассказах какое-то недоразумение; недоразумения же были со стороны новейших историков, упорно державшихся не-исторической градации:

<sup>5)</sup> Изложенный сейчас взгляд подвергся, как и следовало ожидать, строгой критике со стороны автора теории «охотничьей», Н. А. Рожкова (см. его «Очерк истории труда в России» (1924. С. 4–11)). Критика весьма малоубедительна. Ни одного факта критик опровергнуть не в состоянии, ни одного противоречащего факта привести он не может. Попытки же пользоваться странствующими сказаниями, вроде рассказа о построении *Киева* (он есть и у армян), и относить записи летописца к тем именно годам, под которыми они стоят в «Своде», напоминают о временах докарамзинских...

охота—скотоводство—земледелие. Если земледелие у славян было, рассуждали они, то как же скотоводства не было? Или оно было развито слабо? А между тем араб Ибн-Даста, как мы упоминали выше, сообщает, что «рабочего скота у них (славян) мало», а лошадей имеет даже будто бы только один князь. Византийский же писатель, Константин Багрянородный, утверждает даже, что русские славяне приобретают себе скот исключительно покупкою у степняков южной России — печенегов. Изучение терминов и здесь поясняет дело, если, конечно, мы отрешимся притом и от старого взгляда на скотоводство, как на нечто предшествующее земледелию. В древнейшей редакции «Русской Правды» слово «скот» явно имеет значение *денег, серебра*. Вот, говорят, явное доказательство огромного значения, которое имело скотоводство в Древней Руси. Вовсе нет, это доказывает лишь, что скота было мало, что *скот был редкостью*. Деньгами для каждого народа становится тот товар, говорит Бюхер, «которого он сам не производит, но который он постоянно выменивает у иностранцев». Та же «Русская Правда» дает чрезвычайно резкое доказательство того, как мало было распространено в тогдашней Руси *молочное* хозяйство: при определении штрафов за кражу *коровье* молоко сравнено с целым *жеребенком* — и то и другое оценено в 6 ногат, тогда как поросенок, например, оценен в 1 ногату. И такие расценки мы имеем еще в редакции XII в., когда скотоводство вообще, как показывает именно этот тариф штрафов, было уже значительно развито. В древнейшую же эпоху славяне, вероятно, вовсе не знали молочного хозяйства: древнейшее значение слова *молоко* («млеко») — просто «жидкость», а *масло* — это то, чем «мажут». Откуда заимствовали молочное хозяйство древние славяне, показывает третий относящийся сюда термин: *творог*, несомненно, происходит от тюркского *turak*, что значит «сыр». Образцом скотоводства для славян были те, кто доставлял им и самый скот — степные кочевники Южной Руси. Это заключение подтверждается, опять-таки, и общей аналогией: по наблюдениям новейших исследователей, индоевропейцы в древнейшую эпоху не знали молочного хозяйства — если у них и был скот, то только мясной, например, овцы. Что овца была наиболее распространенным видом скота даже еще у русских славян X–XII вв., т. е. сравнительно очень поздно, показывает «Русская Правда»: «скот в поле», по «Русской Правде», это всегда прежде всего *овцы*; в то же время это самый дешевый вид скота: баран стоит в 50 раз дешевле вола. Но даже и баранина стала обиходной пищей сравнительно в новое время. Как известно, наибольшим консерватизмом отличаются религиозные обычаи:

поэтому по составу *жертвы* мы можем сделать заключение о древнейших способах питания данного народа — потому что своих богов он, конечно, кормил лучшим, что знал сам. Но «кумирская жертва», по словам борющихся с остатками «язычества» христианских проповедников XII–XIV вв., — это хлеб, сыр, мед и рыба, а кроме того, *куры*. Причем под «сыром» древнерусский язык разумел не то, что готовится из молока непременно, — а все не вареное и не мясное. Ни говядиной, ни даже бараниной древний славянин своих богов не кормил, потому что не ел их еще сам.

Итак, основной древнеславянского хозяйства было *земледелие*, — сначала, вероятно, ручное, позже с помощью рабочего скота, вола или лошади, причем и первого, и вторую славяне заимствовали у соседей. *Охота и рыболовство*, а еще раньше *пчеловодство* играли роль подсобных промыслов. *Скотоводство* было развито слабо. Хозяйственная техника должна была определить и *древнейший общественный строй*. У всех индоевропейских народов мы встречаем одну основную общественную форму — так называемую «большую семью» — «большой» она названа в отличие от того, что мы связываем с понятием семьи. Наша семья — это совокупность отца, матери и детей. Женившиеся братья, вышедшие замуж сестры живут обыкновенно врозь. Но русской деревне еще недавно была знакома — отчасти знакома и теперь — другая форма, где под властью «большака», отца или деда, живут вместе несколько поколений — женатые сыновья, выданные замуж дочери с принятыми в *дом зятьями*, племянники, племянницы и т. д., все составляют *одно хозяйство*. В новейшее время в великорусской деревне такой строй поддерживался главным образом сверху, попечением помещиков, которые видели в суровой дисциплине «большой семьи» наилучшую опору крепостной дисциплины вообще. Но когда-то «большая семья» была экономической необходимостью — наша, «маленькая», семья с первобытным земледельческим хозяйством не справилась бы. Чрезвычайно наглядную картинку этого первобытного земледелия мы можем найти, не уходя с территории современной России и не спускаясь слишком далеко вглубь времен — у нерусских племен XVIII столетия. Приводим эту картинку целиком, как зарисовал ее современный наблюдатель, ездивший по Северо-Востоку России в 1760-х гг., академик Лепехин. Вот что он говорит о зырянах (*коми*): «Озими их стояли среди огромных лесов, в которых они пространно вырубают места и, сжегши лес, на пепле сеют хлеб. Сих мест они не пашут, но, выжегши лес, прямо сеют и, заборонив, совершают посев. Как для облегчения работы, так и для защиты по-

сеянному хлебу, оставляют на пашне своей несколько деревьев, не вырубив, которые, чтобы не вытягивали питательного из земли сока, расстоянием от корня аршина на два сдирают с них кору вокруг. Такая новина служит им только на один год или, как крестьяне говорят, со всякой новины снимают они только один хлеб, а на другой год надобно делать новую новину. Такие труды, употребленные для посева озими, изъясляют божие слово: в поте лица твоего снеси хлеб твой». До какой степени стереотипна эта форма первобытного земледелия, показывает один удивительный факт: обычая — оставлять на пашне несколько деревьев, содрав с них кору, — придерживаются и упоминавшиеся выше ангольские негры. Причина и там и тут одинаковая: срубить большое, свежее, не засохшее дерево — слишком большой труд для первобытного человека.

Итак, *первобытное земледелие* — дело чрезвычайно громоздкое, требующее усилий многих рук. Как ни кажется нам, горожанам, трудна современная пахота, но для крестьянина, имеющего железный плуг и борону, знающего удобрение и работающего на исстари культурной почве, это — детская игра сравнительно с тем, чем было земледелие для его предков. Маленькая семья, с двумя-тремя работниками, совершенно не в состоянии была бы справиться с этим делом. Оттого у славян всюду, у всех славянских племен, мы встречаем одну и ту же основную общественную форму — «печище» в Северной России, «дворище» в юго-западной, «велику кучу» у сербов, — характеризующуюся соединением в одном хозяйстве большого числа рабочих рук, под властью одного «большака», или «домачина» (у южных славян). Как общее правило, работники такого семейного хозяйства — родственники, внуки одного деда; но что суть дела тут не в кровной связи, показывают такие факты, как то, например, что южно-славянская «велика куча» принимает к себе и чужих людей, на равных правах со своими, а в Северной Руси мы встречаем и совсем искусственные большие семьи, образованные соединением двух или более маленьких по договору складства. Северно-русское «печище» мы можем наблюдать только по его остаткам, юридическим, а отчасти архитектурным: кто видал большие, двухэтажные избы Олонецкой или Архангельской губернии, тот легко может себе представить жильё древнеславянской «большой семьи», объединявшей под одною кровлей несколько десятков человек. Южно-славянский образчик этого типа сохранил до сих пор и экономическое значение — в Боснии и Герцеговине хозяйство до сих пор ведется такими семьями. Наша начальная летопись называет эту «большую семью» *родом* и явно приписывает ей политическое зна-

чение: «род» — это *маленькое государство*, находившееся с другими родами в «международных» отношениях, воевавшее с ними и т. п. В эпоху, знакомую летописи, эта древнейшая форма государства уже закрылась более новой — «племенем», но выразительный остаток междуродового быта сохранился в *кровной мести* — учреждении, которое нам придется изучать в следующей части.

Была ли эта форма экономической и социальной организации самой древней? Во главе «большой семьи» знакомого нам типа мы находим всегда *мужчину* — это семья «отцовская», патриархальная. При той форме земледелия, которую Лепехин видел у коми, а новейшие путешественники у ангольских негров, массовое приложение физической силы играет такую роль, мужчины с их топорами являются таким необходимым элементом в хозяйстве, что командующее положение мужчины в семье не требует объяснений. Но наблюдения над жизнью теперь существующих первобытных народов показывают, что сначала земледелие всюду было в руках женщин. По своему происхождению это было *женское занятие*, как *охота* была *занятием мужским* — причем и плоды охоты, мясо убитых зверей, доставалось, конечно, главным образом, мужчинам. Мы видели, что лингвистика дает возможность спуститься в очень глубокие слои славянской экономической древности: «соха» нас вплотную подводит к самой первобытной форме земледелия. Кто орудовал этим виловатым суком в ту далекую пору, когда славяне начали разводить свое просо на границе леса и степи? Наблюдения над *юридической терминологией* бросают на это некоторый свет. Очень характерно, во-первых, что славяне не знают общеиндоевропейского имени «отца» (санскритское *pitar*, греч. *pater*, лат. *pater*, откуда *pere*, *vater* и т. д.): славянское слово происходит от тоже очень древней, но параллельной формы *atta*. Для брата отца, *дяди*, тоже нет общей индоевропейской формы. Зато не только славянам знакома общая индоевропейская форма слова «мать», но есть особое слово для обозначения «сына сестры», *нетий*. Еще более замечательна смена терминов в «Русской Правде»: в числе возможных мстителей здесь в древнейшей редакции стоит «сын сестры», а в позднейшей он заменяется «сыном брата». Все это как будто указывает на два факта: во-первых, патриархальная большая семья сложилась у славян довольно поздно, славяне не унаследовали этой формы от индоевропейцев; а во-вторых, в древнейшую эпоху у славян счет родства велся не по мужской, а по *женской* линии, центром семьи и главой хозяйства была *мать*, а не отец.

Патриархальный строй древнеславянской семьи связан, таким образом, с определенным типом земледельческого хозяйства — с хозяйством *подсечным*, «лесным земледелием», если так можно выразиться. По мере того как славяне подавались все далее и далее на север, в лесную полосу, отцовское начало в их семье торжествовало над материнским. К «исторической» эпохе, т. е. той, от которой дошли до нас письменные памятники, из «материнского права» имелись уже только слабые «переживания», выразившиеся, главным образом, в более самостоятельном положении женщины древнерусской семьи, чем в индоевропейской семье вообще. С этими переживаниями нам опять-таки придется еще иметь дело в дальнейшем, — изучая первобытный юридический строй. Оставаясь пока в области истории хозяйства, нам нужно ответить на другой вопрос: что *заставляло* восточных славян двигаться в *этом направлении*, от лучших климатических условий к худшим? Не непонимание выгод своего пристепного положения, во всяком случае, ибо мы застаем русских славян в процессе отчаянной борьбы с соседями за южно-русские степи, и борьба эта провожает нас через весь древнейший период русской истории, с IX по XIII в. Причем в начале этого периода борьба шла успешнее, чем в конце его: славянские поселения IX–X вв. заходили на юг до Азовского и Черного морей, к XIII же веку граница не шла далее нынешних Киевской, Черниговской и Курской губерний. В чем же дело? Присматриваясь ближе, мы видим, что у попятного движения русских славян, с юга на север, была не одна, а много причин. В основе лежало несомненное *изменение климата*. В начале русской истории климат Южной России был гораздо более влажным, чем теперь. Еще документы XVII в. свидетельствуют, что лесная растительность тянулась тогда несравненно далее на юг, чем в XX в. Губернии Полтавская, Харьковская, Воронежская, теперь типично степные, тогда были во многих местах покрыты густым высокоствольным лесом. Там, где триста лет назад встречались дубы в сажень диаметром, теперь изредка можно встретить мелкую поросль, годную лишь на дрова. За много веков раньше климат, конечно, был еще влажнее: Геродот 2,5 тысячи лет тому назад знал большое *озеро* на месте теперешних Пинских *болот*. В Полтавском уезде, на правом берегу Ворсклы, где теперь открытая степь, в доисторическое время был сплошной лес, тянувшийся на 40 с лишним верст в длину и более 15 в ширину. Но земледелие возможно только при известной, минимальной, степени влажности. Просо сравнительно хорошо выдерживает засуху, но в совсем безводной местности, без искусственного орошения,



и оно расти не станет. Начав свое земледельческое хозяйство на границе леса и степи, русские славяне естественным путем должны были подаваться все далее и далее на север, по мере того как граница степей подвигалась все севернее.

Но этот естественный процесс проходил бы довольно медленно, если бы ему не помогали «искусственные», *исторические* условия: не говоря уже о том, что в течение ряда веков могло иметь место и постепенное *приспособление* русских славян к степному земледелию, которое оказалось же возможно в наши дни. На это приспособление у них не нашлось времени. По мере того как степь завоевывала все более и более территории у леса, степная, скотоводческая культура на юге России оказывалась все сильнее и сильнее — все труднее было земледельцам-славянам держаться против тюрков-скотоводов, наполнявших причерноморские степи и носивших разные имена — сначала печенегов, потом половцев, потом татар. Их степному хозяйству шло на прибыль то, что теснило земледельческое хозяйство славян, а они и без того в культурном отношении были сильнее этих последних. Прежний взгляд, видевший в степняках только хищников, основывался на старой схеме экономического развития — охота, скотоводство, земледелие: раз земледелие есть высшая форма, а скотоводство — низшая, то победа степи должна выражать собою разгром культуры дикарями — и ничего более. Археологические раскопки последних десятилетий *как нельзя* более убедительно показали, какое огромное *культурное* влияние имели «дикари» на Древнюю Русь. Степной восток был для русских IX–XI вв. тем, чем впоследствии для Московского государства и петровской России стала Западная Европа. Все, что украшало жизнь, от серег и бус до материй, посуды и домашней утвари, даже в таких удаленных от степи места, как нынешняя Смоленская губерния, носит ярко выраженный восточный колорит. Скотоводческая культура, более сложная и более крепкая, чем первобытное земледелие, была таким же непреодолимым барьером для славянства, каким для славянского хозяйства была степная засуха.

Как видим, роковая для русского исторического развития передвижка восточных славян с юга на север была предопределена и природными, и культурными условиями. Удивляться приходится не ей, а тому, что при столь неблагоприятной обстановке русское славянство все-таки имело блестящий момент своей истории, известный под именем *киевского периода*. Те же археологические раскопки с каждым годом приносят все новые и новые доказательства, как высоко стояла в области материальной культуры Киевская Русь

даже сравнительно с современной ей Западной Европой. Музеи все более и более наполняются образчиками киевской художественной промышленности, мало уступающими их византийским образцам. В таких второстепенных пунктах, как киевский Белгород, открывают остатки каменных зданий такого масштаба, какой был бы не по плечу даже Московской Руси. Грандиозность материальных остатков подтверждает то, что мы знаем о «киевской империи» из других источников. Но откуда она взялась? Славянское первобытное земледелие было слишком слабо, чтобы стать основой крупной политической организации. Если эта последняя возникла на восточноевропейской равнине в X в. в образе «великой державы» Владимира Св. и Ярослава, то это был не результат внутреннего местного развития, а следствие внешнего толчка, данного *движением на юг норманнов*. Эта скандинавская волна была мировым событием первостепенной важности. Ее прямыми или косвенными результатами объясняются такие факты, как образование средневекового английского королевства с его своеобразными формами, как так называемые «крестовые походы». Образование русской державы было одним из многих аналогичных явлений, восходящих к той же причине: это был первый знакомый нам случай влияния на русский исторический процесс общих условий. Норманны были типичными представителями «разбойничьей торговли», родоначальницы всякой торговли вообще; они грабили во всех концах света и награбленным торговали, создавая таким путем связи между местностями, до норманнского нашествия не имевшими понятия друг о друге. На восточноевропейскую равнину их привела, по-видимому, погоня за ценными мехами — одним из главных предметов роскоши того времени. Раньше всего они появляются на Двине и Белом море: наши Холмогоры до сих пор напоминают своим именем об этих далеких временах. Слово, несомненно, происходит от скандинавского *Holmgaard* (город на острове) и пришло к нам в его финской форме, почему старинные документы и пишут «Колмогоры». Это была, вероятно, первая норманнская стоянка на территории теперешней России.

Но балтийские норманны очень ненадолго отстали от своих товарищей, оперировавших на Белом море. Уже около 800 г. по Р. X. их город Бирка, на острове озера Мелара, в Восточной Швеции, был одним из крупнейших торговых центров мира, куда во множестве стекались, в числе прочих, и «славяне, и другие скифские народы» и где было «изобилие всяких благ и великое скопление денег», как записали современные историки. А новейший историк

отмечает, что это был, вероятно, первый средневековый город, население которого жило исключительно торговлей, так как остров слишком был мал, чтобы прокормить свое население земледелием. Шведов из Бирки арабы встречали в Астрахани (тогдашнем Итиле), и по рассказам этих арабов известный уже нам Ибн-Даста составил древнейшее описание *руссов*, какое мы имеем. Ибо восточные славяне называли этих шведов «Русью», взяв имя опять-таки из финского источника: название «Руоцы», или «Рузер», данное финнами норманнским мореходам, происходит от древнешведского *rother*, означавшего «греблю», «морскую поездку». Около 1 000 г. Бирка уже не существовала, но Швеция продолжала играть выдающуюся роль в восточной торговле: ее центром стал теперь Готланд, остров Балтийского моря, на котором до сих пор найдено 223 клада с восточными монетами (23 тысячи штук), — тогда как в самой Швеции таких кладов известно лишь 137. Выше Готланда в этом отношении стоит только территория старой России, с 329 кладами, причем только в одном найденном в Муроме было более 11 000 монет.

Норманнов, или, как называли их русские славяне, *варягов*<sup>6)</sup>, привлекли и к русским славянам прежде всего меха: древнейшее упоминание о варяжской дани говорит о «белках и веверицах» (куницах). Но уже очень скоро — вероятно, как только им удалось проникнуть до ближайших южных и восточных рынков, Константинополя, Булгара на Волге и Итиля — они открыли здесь товар, гораздо более ценный и прибыльный — рабов. Древнейшее арабское описание руссов рисует их прежде всего как работоторговцев: они нападают на славян, захватывают их в плен, отвозят в Хазеран и Булгар «и продают там». Древнейший договор русских с греками, 911 г., говорит о *челяди*, рабах, как о главном русском товаре. Древнейшая редакция «Русской Правды», еще четко отличающая «русина», т. е. норманна, от «славянина», рассматривает «челядина» как главный вид движимого имущества — причем варяжский челядин оказывается имуществом, охраняемым особенно тщательно. Как и на Западе — в Нормандии и в Англии — норманны в России быстро утратили свои национальные особенности, усвоили «русский», т. е. славянский, язык и стали называться славянскими именами. Но это несколько не изменило их экономического значения: об-

<sup>6)</sup> Слово, чрезвычайно широко распространенное, — оно встречается и в греческом, и в арабском, и в грузинском языках. Оно сохранилось до сих пор в русских местных говорах со значением «мелкого торговца, торгующего вразнос»: очень характерное воспоминание о том качестве, в каком являлись на Руси отдельные норманны.

русевший норманн оставался работорговцем. Интересы невольничьего торга определяли политику создателей «киевской державы»: Святослав собирался перенести свою столицу на Дунай, потому что туда сходились «вся блага» из русской земли — и в числе этих благ он не позабыл и челяди; Владимир Св. сам был крупным работорговцем. Первичной формой добывания челяди был просто захват; именно применение киевским князем Игорем этого древнейшего способа заставило древлян вспомнить поговорку: «повадится волк к овцам, так по одной выносит все стадо, если не убить его». Этот способ сохранил все свое значение и впоследствии: княжеские усобицы, которыми полна история Киевской Руси и которые на первый взгляд не имеют никакого смысла, на самом деле имели глубокое экономическое основание; «ополониться челядью» было заветное мыслью всякого князя и его дружины — спор из-за «столов» только прикрывал экспедиции за живым товаром, как теперь разбойничьи колониальные войны прикрываются «национальными потребностями» и «интересами цивилизации». Но рядом с прямым захватом постепенно выработались более мирные способы порабощения. Из «Русской Правды» мы узнаем о систематических попытках обращать в рабство наемных слуг, «вдачей». Еще большее значение имело *долговое холопство*, «закупничество» — причем интересно, что сам юридический институт в этом случае пришел к нам из Скандинавии. «Закуп» «Русской Правды» — точная копия долгового раба скандинавских правд. Княжеские усобицы и тут подготавливали почву: разоряя земледельческое население, они все чаще и чаще заставляли последнее прибегать к займам у крупных собственников, которыми были те же обрусевшие варяги. Так норманнское нашествие с чрезвычайной быстротой создало на Руси рабовладельческую культуру, яркую и грандиозную, ибо торговля рабами приносила на Русь огромные суммы денег<sup>7)</sup>, и в то же время систематически подрывавшую основы всякой культуры, уничтожая ее создателя, славянского крестьянина. Но попутно та же рабовладельческая культура разрушала и старые общественные формы, создавая новые, более прогрессивные: в Киевской Руси мы встречаем первые, и очень крупные, зачатки *городского хозяйства*, которые удобнее рассмотреть в общей связи — в следующей главе.

<sup>7)</sup> Какие суммы — покажет один пример: из Смоленской земли в один только поход было уведено 10 000 пленников. Цена раба, по «Русской Правде», 5 гривен — 120 руб. на наши деньги. Общая стоимость добытого, стало быть, составляла 1 200 000 руб.

## Библиография

Новейшая работа по экономической истории России принадлежит проф. *М. В. Довнар-Запольскому* (История русского народного хозяйства. Киев, 1911. Т. I). Более новой *общей* работы нет. Книга г. Довнар-Запольского должна была бы быть крупным шагом вперед в данной области, так как автором впервые привлечен к делу *богатый археологический материал*, до сих пор не использовавшийся историками русского народного хозяйства. К сожалению, автор, очень начитанный в археологической литературе, гораздо менее осведомлен в литературе своего ближайшего предмета — истории хозяйства: его точки зрения на развитие земледелия, торговли и т. д. совершенно устарели. Если прибавить к этому, что книга написана очень небрежно, что в ней в изобилии встречаются необоснованные, поспешные выводы и даже прямые фактические ошибки, то станет понятно, почему не только не приходится ее рекомендовать начинающему читателю, но и специалист до сих пор не обойдется без старой работы *Аристова* «Промышленность Древней Руси» (СПб., 1866), где добросовестно сгруппирован известный в те годы фактический материал. Очень хорошая, сжатая характеристика древнеславянского хозяйства имеется в I томе известной книги проф. *М. В. Грушевского* («История Украины—Руси» — на украинском; есть немецкий и русский переводы). «Закон Левассера» см. в «Очерках по истории русской культуры» *П. Ж. Милюкова* (Вып. I, очерк первый: «Население»; «поправки» к этому закону, — не замечая того, что эти поправки уничтожают без остатка самый «закон», — автор приводит тут же). Основной работой *Бюхера* является «Происхождение народного хозяйства» («Die Entstehung der Volkswirtschaft»), несколько изданий. Дополнением к ней является «Хозяйство первобытных народов» («Die Wirtschaft der Naturvolker») и «Работа и ритм». Все эти сочинения имеются на русском языке (последнее издание—Academia 1923 г. со статьей *А. Тюменева*, обстоятельно выясняющей методологические ошибки К. Бюхера, — но, к сожалению, без «Работы и ритма»). Из более новой литературы на русский переведена только «История первобытной культуры» *Шурца* («Urgeschichte der Kultur»), где есть отдел и по истории хозяйства. (Последнее издание Свердловского ун-та / Под ред. *П. И. Кушнера*. М., 1923. В двух выпусках). По первобытной *технике* см.: *Левин-Дорш* и *Кунов*, под этим заглавием (Пер. под ред. *Д. Н. Анучина*. Гос. изд., без года). Специальных монографий, на которых отчасти основан предыдущий очерк, не указываем ввиду бесполезности таких указаний для читателя не-специалиста. Для знакомства с древнейшими формами русского землевладения очень важна статья *А. Я. Ефименко* «Крестьянское землевладение на Крайнем Севере» (Исследования народной жизни. М., 1834). Для фактов, которым посвящен конец главы, см.: *Шахматов А.* Древнейшие судьбы русского племени. Петроград, 1919.

## «Городское» хозяйство

К тому времени, от которого дошли до нас древнейшие *письменные* памятники русской истории, первобытный семейный строй находился уже в состоянии полного разложения. По крайней мере в этих памятниках он отразился очень мало: нужно, однако, иметь в виду, что сами памятники отражают собою жизнь наиболее культурных местностей тогдашней России, главным образом жизнь крупных городских центров, вроде Киева или Новгорода. Где-нибудь в безграмотной глуши, у радимичей или вятичей, можно было найти во всей неприкосновенности «большую семью» и весь уклад первобытного земледельческого хозяйства, как, по крайней мере, юридические остатки этого строя можно было найти на Севере России еще лет пятьсот спустя. Но радимичи или вятичи и в XII в. для нас, отдаленных потомков, продолжают оставаться «народами доисторическими» — они по себе никаких памятников не оставили, кроме могильных курганов. «Древняя Русь», которую мы можем изучать по документам и летописям, это — *городская и пригородная*, киевско-новгородская Русь; о ней и будет идти речь на ближайших страницах.

Киевская Русь XI–XII вв. была страной «современного земледелия», т. е. обитатели ее обрабатывали землю плугом и бороной, с помощью лошади или быка. Именно *плугом и бороной* работал тот «закуп», о котором говорилось в конце предыдущей главы: *соха*, очевидно, отодвинулась в более глухие места. Возрождение сохи в русском крестьянском хозяйстве новейшего времени объясняется главным образом свойствами почвы центральной, околomosковской России. Верхний растительный слой здесь очень тонок, скоро начинается песок: глубокая вспашка плугом выбрасывала бы наружу именно этот песок и без удобрения только портила бы почву. Удобрение же появилось лишь очень поздно — даже во второй половине XVIII в. удобрялись только помещичьи земли, да и то не все: крестьянская же земля почти не знала удобрения. Вспашка

сохой, углубляющейся в землю не дальше полутора-двух вершков, была при таких условиях наиболее целесообразным приемом земледельческой техники. Киевляне XII в. пахали на черноземе и потому могли пахать глубже, плугом. Животная сила являлась главным образом в виде лошади: волы были, но они, по-видимому, применялись реже и, кажется, в более крупных хозяйствах. В известном разговоре Владимира Мономаха с дружиною насчет того, что выгоднее «смерду» (крестьянину) — идти ли в поход с лошадью в рабочую пору или дожидаться, пока половцы придут к нему и уведут у него лошадь, а с нею и его самого в плен, непременной принадлежностью крестьянского хозяйства является именно лошадь. Зато в числе вещей, которые мог украсть «закуп», «Русская Правда» называет и вола: очевидно, легальным путем получить это ценное животное крестьянину приходилось редко, но он прибегал к средствам нелегальным. Надо иметь в виду, что сборники судебных обычаев, известные под именем «Русской Правды», составились путем накопления отдельных конкретных случаев судебного разбирательства, так что в основе каждого правила лежит то, что действительно случалось. Вот почему мы и можем утверждать, что если «Русская Правда» говорит о краже вола, значит, волов действительно крали.

Уже этот маленький пример показывает нам, что Киевская Русь знала два типа земледельческого хозяйства: более богатое, применявшее более ценную и действительную животную силу — вола, и более бедное, довольствовавшееся лошадью. Что последнее было крестьянским, «смердым», об этом летопись говорит прямо. Владелец первого, более богатого, в древнерусских памятниках носит название боярина, — слово, так хорошо знакомое нам в его сокращенной форме, «барин». Была барская пашня и была крестьянская, мужицкая, пашня — в XII в., как и позднее. С происхождением крупного, боярского землевладения в нашей исторической литературе связано множество предрассудков. В качестве крупных землевладельцев бояре Древней Руси были «правлящим классом» точно так же, как и позднейшие дворяне-помещики. Что последние «правили» именно потому, что они владели землей, а не наоборот — потому имели землю, что управляли, — об этом едва ли кто станет спорить даже и из людей, к экономическому материализму вовсе не причастных. Ибо всякий слишком хорошо знает даже из личных наблюдений, что министры, губернаторы и т. д. — до земских начальников, брались у нас из того сословия, которое владело землей. Кажется, всего проще было бы заключить, что так и всегда

было. Но тут замешалась теория, согласно которой русское общество создано русским государством, — в этом будто бы главное отличие России от Западной Европы. Эту теорию мы в своем месте рассмотрим подробно. Мы увидим, что своим возникновением она обязана бюрократическо-полицейскому государству, образовавшемуся на русской почве в XVIII и начале XIX в.<sup>1)</sup> Бюрократ, чиновник, которому государство дало власть и средства существования, естественно рассматривал это государство, как силу всемогущую, которой все живет, движется и существует. На самом деле ею двигались, жили и существовали только чиновники, но всякий лучше всего видит то, что его касается. И вот, возникла теория, согласно которой древнерусские бояре были тоже своего рода чиновниками, которым землю дал князь на таких же основаниях, как позднейшие чиновники получали жалованье 20 числа — за их службу.

В той бюрократической среде, которая создавала науку русской истории, в среде университетской, это учение о служилом происхождении боярства стало своего рода догматом. Когда славянофилы 40–50-х гг., которые были по большей части помещики, а не чиновники, вздумали отыскивать в Древней Руси земских, не служилых бояр, это сочтено было величайшей ересью. Говорить о «земских боярах» стало так же неприлично, как обсуждать серьезно вопрос о леших, домовых и тому подобном. И нам понадобилось, как видит читатель, довольно длинное отступление, чтобы подойти к мысли, чрезвычайно простой и само собою разумеющейся: что не княжеская власть создала боярство, а, наоборот, князья вышли из боярской среды, из среды крупных землевладельцев. Между тем у того, кто станет без всяких предрассудков читать древнейшие памятники русского права, договоры князей с греческими, византийскими императорами, один — 911, другой — 945 г., иной мысли и возникнуть не может. Первый из этих договоров даже не отличает титулов «боярин» и «князь»: те, кого он вначале именует «светлыми боярами», в дальнейшем фигурируют под именем «князей светлых наших русских» — это все одни и те же люди. А из второго договора мы узнаем, что этих «князей», или «бояр» — как угодно, и в 945 г. было очень много: более крупных, посылавших каждый особого уполномоченного для переговоров с греками, наш документ называет по именам, но за ним стоит еще густая толпа «всякого княжья», уже безыменного. «Государственная» же

<sup>1)</sup> См. об этом подробнее в моей книге «Классовая борьба и русская историческая литература» (Петроград, 1923).



«власть» в это время настолько еще мало была в почете и в силе, что древнейшая редакция «Русской Правды», составленная именно в этом самом X в. (и притом ближе к первой половине его) о княжеском суде не говорит ни слова, из чего новейшие исследователи правильно заключают, что в то время князь еще судебной властью не обладал — этот атрибут «государственности» попал в его руки только позднее (вероятно, при Владимире Св., т. е. в конце X в.). *Бояр выдвинула из массы «русских людей» не княжеская власть, и их богатство, как можно думать, а именно земельное богатство.*

Процесс образования в Древней Руси крупного землевладения не может быть изучен в деталях за отсутствием документов. Но главнейшие условия этого процесса намечены нами в предыдущей главе. Светлые бояре-князья русско-греческих договоров X в. почти сплошь носят еще норманнские имена. А из более поздних памятников мы знаем, что древнерусское крупное землевладение опиралось на рабовладение. В числе возможных рабовладельцев «Русская Правда» знает князя, боярина и монастырь<sup>2)</sup>: из одного новгородского документа XII в. мы узнаем, что даже небольшие имения работали при помощи холопьяго труда — а в больших, например княжеских, бывало по несколько сот человек пашенной «челяди». Конкуренция холопьяго труда доканчивала то, что было начато войною и грабежами: разорившийся крестьянин мог себе найти работу, только соглашаясь стать на один уровень с холопом. Хозяин бил его наравне со своими холопами, а иногда и продавал вместе с ним, причем постановления «Русской правды», запрещавшие продавать «закупа», едва ли имели больше значения, чем всякие другие бумажные гарантии прав «трудящихся масс». Недаром Мономах называет «смерда», крестьянина, «худым» и дает понять, что обидеть «худого смерда» было так же легко, как «убогую вдовицу». Но Мономах писал душещепотительное «поучение»; в деловых документах, в договорах между собою, князья попросту не отличали «смердов» от своих холопов: «а холопов наших и смердов выдайте», говорил такой договор, когда после усобицы, заходила речь о «размене пленных».

Так, путем экспроприации крестьянства, создавалось в Древней Руси крупное землевладение. Прямое, голое насилие играло

<sup>2)</sup> Благодаря ошибке переписчика в одном из списков «Русской Правды» получилась возможность говорить о «смердьем», т. е. крестьянском, холопе. Но увы! На самом деле данное постановление доказывает лишь, что крестьянин и холоп в глазах древнерусского закона имели одну и ту же цену.

в этой экспроприации очень видную роль: но не следует, конечно, представлять себе дело так, что порабощение крестьянина баринном держалось только на насилии. Одной голой силой нельзя создать новых *экономических* отношений. Хроническая зависимость крестьянского хозяйства от барского должна была иметь свою, чисто экономическую, подкладку — и разглядеть эту подкладку нетрудно, в особенности теперь, когда нам отчетливо видны главнейшие этапы в развитии сельско-хозяйственной техники. Мы видели, как медленно развивалось скотоводство вообще и как низко в этом отношении стояла Древняя Русь. «Современное» земледелие немыслимо было без рабочего скота, а его было мало, и всего меньше его было у крестьянской массы. На этом и держалась *экономическая* зависимость этой массы от помещиков. Мы задели, что «закуп» был «задолжавшим» крестьянином. Что же он брал у барина в долг? «Русская Правда» говорит об этом вполне ясно: ссуда, которую получал закуп, состояла в *сельскохозяйственном инвентаре*, — плуге, бороне и лошади. Какое огромное значение имели *ссуды скотом* в Киевской Руси, показывает длинный список относящихся сюда постановлений в «Русской Правде». И эти постановления, попутно, ярко освещают нам один из источников *прибыли на капитал*. «Правда» подробно высчитывает, какой приплод может дать тот или другой вид скота в тот или другой промежуток времени, и ссудивший скот считал себя в праве требовать возврата скота, конечно, с приплодом. Это и была древнейшая форма *процентов* с капитала. «Правда» знает и настоящий процент, нашем смысле слова, с капитала в его денежной форме: но не даром и капитал в денежной форме носит в «Правде» название *скота* (см. выше, с. 47). Экономическая зависимость крестьянина от барина держалась на том, что древнерусский бедняга только от богача мог получать необходимый для земледельческого хозяйства живой инвентарь. И это явление провожает нас через всю «Древнюю Русь», до XVII в. «Псковская Судная грамота», которая моложе «Русской Правды» примерно на два столетия, знает «закупня» и знает очень любопытный синоним для этого слова: «скотник». Причем совершенно очевидно, что «скотник» здесь не обозначает человека, который ходит за скотом, ибо «скотник» в этом постановлении ищет «верши», т. е. хлеба. Скотник «Псковской грамоты» занимался, таким образом, земледелием. Грамота имеет еще и третье название для задолжавшего крестьянина: «изорник». Один из новейших издателей грамоты замечает по этому поводу: «в Сербии до сих пор *вознаграждение зерном за ссуду волов* называется *изор*». Как видит читатель, мы имеем здесь отноше-

ния необычайно древние, восходящие чуть не до «праславянской» эпохи. А дожили эти отношения чуть не до наших дней. В крестьянских «порядных» XVII в. ссуда выдается «на лошади, и на коровы, и на всякую животину, и на хлеб, и на семена, и на всякий крестьянский завод...» Экономическая основа зависимости крестьянина от помещика и при царе Алексее Михайловиче была та же, что при Владимире Мономахе. Только теперь крестьянин брал в ссуду уже не самый скот, в натуре, а *деньги на покупку скота* — скот ему предоставлялось самому найти на рынке. Но получить скот без помощи барина крестьянин все-таки не мог<sup>3)</sup>.

Глубокие экономические основания крестьянской неволи значительно ослабляют интерес юридического вопроса, так занимавшего предшествующие поколения историков: вопроса о *происхождении крепостного права*. Если крупное хозяйство Древней Руси держалось на рабском труде, а задолжавший крестьянин становился на одну доску с холопом, то сближение холопства и крестьянства должно было происходить само собою, так сказать, автоматически. Спрашивать приходится не о том, почему это случилось, а о том, почему этот автоматический процесс тянулся так долго, — о крестьянской задолженности мы знаем уже из документов XII в., а «происхождение крепостного права» относят к XVI–XVII вв. Но тут, в первых, нужно иметь в виду, что *Московская Русь не была простым продолжением Киевской*. Надо также иметь в виду, что заселение славянами Поднепровья закончилось не позднее VII столетия, а славянская колонизация «междуречья» Оки и Верхней Волги началась не ранее XI–XII вв., т. е. раньше тут были отдельные славянские поселения, вдоль рек (Ростов, Муром), но сплошное крестьянское население появилось только позже. Даже и не считаясь с фактам норманнского нашествия, *втянувшего* Древнюю Русь в обороты мировой торговли, приходится признать киевщину XII в. столь же «старой», как московщина XVI в.: в XII же веке на северо-востоке, вероятно, в полном расцвете было еще «первобытное земледельческое хозяйство», на юго-западе уже исчезнувшее. Недаром же у нерусских племен северо-востока мы встретили эту форму хозяйства еще в XVIII столетии: да из рассказов того же цитированного нами

<sup>3)</sup> Не следует, однако же, думать, что ссуда скотом в натуральном виде была незнакома Московской Руси, даже очень поздней. В одной крестьянской «порядной» 1686 г. мы читаем: «а взял я, вольный человек, польские породы, у властей (Чудова монастыря) ссуды 15 руб. денег, да мерина в 5 руб., да корову, да 10 овец, да 10 свиной...» А в это время царствовал уже Петр Великий!

путешественника 1760-х гг. мы узнаем, что и русские крестьяне Владимирской губернии тех дней недалеко были от зырян. «Киевский период» и «Московский период» — это не два последовательных акта одной и той же драмы, а две параллельных драмы, две вариации на одну и ту же тему. У каждой вариации были свои особенности: киевская развертывается на фоне широкой картины, на перекрестке торговых путей, связывавших скандинавский Север с Передней Азией — Бирку с Константинополем и Багдадом, московская носит более захолустный, провинциальный характер; но в основных чертах социальный процесс шел в одном и том же направлении. Почему в Киевской Руси он не дошел до своего неизбежного конца — и «закупы» не превратились в крепостных крестьян, подобно московским «серебрянникам» (так назывался в XV–XVII вв. крестьянин, взявший денежную ссуду)? Ответ дают в конце концов *географические* условия. Индивидуализирует историю именно география: в основных чертах развитие хозяйства во всех странах мира идет совершенно одинаково, и если одна страна не похожа на другую, если эскимосы до сих пор не вышли из каменного века, а обитатели маленького выступа Азии, называемого «Западной Европой», живут в веке «машинном», то виноваты в этом прежде всего климат и другие географические особенности.

Киевская Русь, на первый взгляд, представляла гораздо более благодарную почву для развития земледелия, нежели северо-восточная, Московская. Сравнительно гораздо более теплый климат (средняя годовая температура Москвы — 4°, Киева — 6°; средняя температура зимы (января месяца) в Киеве — 6°, в Москве — 12°), черноземная почва, наконец, близость старинных культурных очагов («скифов-земледельцев» в Южной России знал еще Геродот) — все это, казалось бы, указывало Юго-Западной России то назначение, которое она до получила в новейшее время. Но на самом деле мы видим тут резкий пример того, как мало еще значит одна «физическая география», в голом ее виде. Биологи давно заметили, что для развития животных и растительных видов животная и растительная среда значит не меньше, нежели количество теплоты, влаги и т. п. Для развития той или другой страны «социальная география» значит столько же, сколько и физическая. Своими речными системами Южная Русь гораздо теснее связана с Азией, чем с Европой. Днепр и Дон текут к Черному морю, Волга — в Каспийское, но первое, из них на  $\frac{3}{4}$ , а второе всецело являются азиатскими бассейнами. Передняя Азия — Византия и арабы — были ближайшими рынками для Киевской Руси. А эти страны испокон века жили *рабским тру-*

*дом*: арабы, в частности, и мусульманский восток вообще до сих пор являются главными потребителями живого товара, теперь добываемого, преимущественно, в Африке. Тогда источником этого товара была Россия. Работоторговля в Киевской Руси была гораздо выгоднее сельского хозяйства — и притом она самым определенным образом мешала успехам последнего, потому что рабы — не такой товар, который можно добыть мирным путем: чтобы добыть «челяда», нужно было жечь и разорять, убивать и грабить, и мы уже упоминали, что в охоте за рабами был главный экономический смысл бессмысленных, с первого взгляда, княжеских усобиц.

Но громили не только крестьянство, распугивая его и заставляя бежать в леса; доставалось и боярским имениям, грабили даже и княжеские. Крупно-владельческим хозяйствам доставалось, может быть, с чисто экономической точки зрения хуже, нежели мелким. В большом имении можно было добыть гораздо более ценный вид челяди — обученных холопов, ремесленников, продававшихся на рынке в 2–2,5 раза дороже рядового раба. При таких условиях заниматься сельским хозяйством в большом масштабе было сизифовой работой: только что наладили дело, как следует, — глядь, от него и следов нет, только головешки одни напоминают об усадьбе. И невольно обанкротившийся землевладелец начинал вышибать клин клином — поступал в дружину к какому-нибудь князю и отправлялся вместе с ним искать челяди. Недаром историки давно отметили возрастающее значение сельского хозяйства и крупного землевладения по мере перехода центра русской истории с юго-запада на северо-восток. Верховья Волги и Оки, Суздальская, позже Московская Русь, правда, еще оставалась связанной и с Востоком — через Волгу: но гораздо теснее была она связана с Северозападной Европой, через речные системы Балтийского моря; Западную Двину, Нарову, Волхов, который своими верхними отростками, Метою и Ловатью, и тогда уже почти сливался с Верхне-Волжским бассейном. Но в Северозападной Европе Средних веков рабский труд далеко не играл уже такой роли, как в Византии или арабских государствах. Северозападная Европа была классической страной свободного ремесла, и ее купцы, если иногда и не прочь были купить отдельного раба или, в особенности, рабыню в России, являлись к нам главным образом не за этим, а за *мехами*: до открытия Северной Америки Русский Север оставался единственным источником ценного тушного товара для всего мира. В вопросе о рабовладении это совершенно перестанавливало центр тяжести. Усобицы прекратились, потому что в них больше не было никакого экономического смыс-

ла. Накопившийся запас холопов, — накопившийся теперь уже «мирным» путем, путем порабощения обедневшего крестьянства, — выгоднее всего было посадить на землю. И никакие опасности крупному хозяйству теперь не грозили — еще мелкое крестьянское грабили часто бояре и их челядинцы, но сам боярин мог пострадать только в случае войны с иноплеменниками, что не случалось же каждый день: уже XIV в. знал мирные промежутки для политического центра тогдашней России в сорок лет. Принявшись за мирное сельское хозяйство, во много раз менее выгодное, чем добывание челяди и торговля ею, но в столько же раз более надежное, русское крупное землевладение и выработало мало-помалу соответствующую новым задачам форму холопства — в образе *крепостного права*.

Мнение, будто это последнее возникло сразу, установлено одним или несколькими правительственными указами конца XVI в., в настоящее время почти никем из ученых не поддерживается. Все согласны в том, что то положение, в каком мы застаем жившее в помещичьих имениях крестьянство на пороге «новой» русской истории, в середине XVII столетия, — что это положение сложилось постепенно, было результатом медленной *эволюции*. Но самую эволюцию ученые понимают весьма различно. Одни отводят здесь больше места влиянию государственных интересов, другие стараются объяснить все дело из «частно-правовых» отношений, не выходя из круга интересов помещика и крестьянина. Первые, например, указывают на то, что правительству выгодно было поручить сбор подати в деревне местному барину — иметь, таким образом, одного ответственного сборщика податей, человека состоятельного, с которого легко и удобно было взыскать недобор, а положение ответственного сборщика податей давало помещику огромную власть над крестьянами — это, по их мнению, один из главных корней крепостного права. С другой стороны, говорят, на крупных землевладельцах лежала воинская повинность, которую они должны были отправлять за собственный счет, на своем коне, в своем вооружении, с отрядом вооруженных холопов: значит, у государства был расчет обеспечить их имения рабочей силой, не дать им запустеть — вот государство и помогло им прикрепить к своим имениям крестьян. Вторые упирают главным образом на задолженность крестьян — факт, нам уже знакомый, — и стараются проследить, как в московском праве сливались постепенно понятия крестьянина и долгового холопа. Ни те ни другие не ставят обыкновенно вопроса о том: да какой же был экономический смысл в этом прикреплении? Предполагается само собою, что иметь дарового работника,

холопа, вообще очень приятное дело — как же к этому не стремиться? Но вот потомки тех же самых помещиков в середине XIX в. явно тяготились даровыми, крепостными работниками, некоторые даже — по их словам — не знали, как от своих крепостных отделаться, и 19 февраля 1861 г. отпустили их на волю. Почему же триста лет раньше было как раз наоборот?

Ища этих экономических корней крепостного права, надо на время забыть государство с его военными и финансовыми заботами и даже древнерусское гражданское право и присмотреться просто к тому, что делали крестьяне в деревне. Один игумен XIV в., которого крестьяне обвиняли, что он требует с них недолжного, в своем оправдании подробно нам рассказал, что крестьяне по обычаю должны были делать. Они обязаны были чинить церковь, поддерживать в порядке тын вокруг монастыря, пахать тот «жеребий» пашни, хлеб с которого шел монастырю, потом засеять его, хлеб сжать и свезти в монастырь, косить на монастырь сено и опять-таки отвозить его куда надо, ловить для монастыря рыбу и бобров, молотить монастырскую рожь, потом молоть ее, печь из нее хлебы и варить пиво — а когда игумен раздаст лен по деревням, крестьянки обязаны были его прясть. Поставьте вместо церкви и монастыря «усадьбу» — вы получите картину любого большого русского имения той эпохи. Чтобы это имение могло вести свое хозяйство, около него густым строем должны были стоять крестьянские поселки — имение без крестьян так же нельзя себе представить, как фабрику без рабочих. При этом, чем интенсивнее будет хозяйство этого имения, тем больше должно быть около него крестьян: жалобы крестьян на игумена тем, по-видимому, и объяснялись, что игумен стал «интенсифицировать» монастырское хозяйство. Но XVI в. как раз и отмечен в нашей экономической истории большой интенсификацией сельского хозяйства. В предыдущей главе мы видели картину зырянского *подсечного* хозяйства, где пашню «выдирают» из-под леса (отсюда наше слово «деревня») только на один год и, сняв урожай, переходят на новое место. Есть основание думать, что во времена «Русской правды» (XI–XIII вв.) подсечное, лесное земледелие вообще являлось на Руси нормальным, обычным типом хозяйства. По «Русской Правде», границей двух земельных владений является «межный дуб», дерево с насечками, обозначавшее предел *лесного* участка, отмежеванного себе кем-нибудь для пашни. Такие отмеченные насечками на деревьях участки леса знают еще до сих пор в глухих местах Сибири: они называются там «чертежами», и нарушить чужой «чертеж» считается в сибирском сельском

быту *большим* преступлением, — как считала это большим преступлением и «Русская Правда».

Подсечное хозяйство оставило многочисленные следы в Московской Руси: документы XVI в. знают еще и насечки на деревьях для обозначения межи, и «лес пашенный», приготовленный для пашни. Но для XVI в. это уже пережитки прошлого: господствующей в это время является *переложная* система, при которой одну и ту же землю пахут несколько раз, пока она дает урожаи; когда же она истощается, ее оставляют «отдохнуть» и переходят на новый участок, потом еще на новый: тем временем первый оказывается уже опять годным для посева, и к нему снова возвращаются. Очевидно, что при переложном хозяйстве на той же площади может прокормиться гораздо больше народу, чем при подсечном. Но XVI в. сделал уже крупный шаг дальше и этого: во многих имениях мы встречаем уже знакомую нам *трехпольную* систему — деление пашни на три клена, на одном из которых сеют яровое (в Средней России, обыкновенно, овес), на другом — озимое (рожь), а третий оставляют под паром. Если при подсечном хозяйстве используется какая-нибудь  $\frac{1}{100}$  всей площади, при переложном  $\frac{1}{5}$  или  $\frac{1}{6}$ , то при правильном трехполье ежегодно «гуляет» только  $\frac{1}{3}$  земли,  $\frac{2}{3}$  работают. Правда, нужно сказать, что правильное трехполье в Московской Руси мы встречаем еще довольно редко, так же, как и необходимое при правильном трехполье удобрение — чаще трехполье чередуется с перелогом: тем не менее сравнительно со временем «Русской Правды» интенсивность была достигнута огромная. И эта интенсивность совершенно меняла отношение земли и крестьянина — с помещицей точки зрения. При подсечном хозяйстве не было ни смысла, ни возможности долго удерживать крестьян на одном месте: выпав все, что можно было, в лесу, земледельческое население в силу условий хозяйства должно было уйти в другое место. При перелогe, а тем более при трехполье, это оказывалось уже *возможно* — при трехполье даже *необходимо*.

Переход к более интенсивным формам культуры создавал, таким образом, для владельцев и интерес и возможность не только на время подчинять себе крестьянина, но привязывать его к себе надолго, по возможности навсегда. И уже в середине XV в. самые умные и расчетливые хозяева того времени, монастыри, начинают подыскивать новые юридические формы, которые позволяли бы им разрешать эту задачу, не существовавшую ранее для древнерусского землевладельца, а стало быть, и для древнерусского права.



Раньше цепью, привязывавшей крестьянина к барину, был ссуженный последним первому инвентарь, главным образом скот, — и этой связи было достаточно: когда вся земля была распахана, барину нечего было больше делать со своим «закупом» — разве продать его на сторону или перевести в другое имение, если у барина их было несколько. Сам закуп смотрел на свое положение как на временное — и мы постоянно встречаем его в поисках денег, чтобы выкупиться: причем деньги эти, конечно, чаще всего давал другой барин, у которого было еще много нераспаханной земли. Эта юридическая форма дожила до XVI в., вместе с «межным дубом» и «пашенным лесом»: она сохранилась в хорошо известном «Юрьевом дне», правиле, в силу которого крестьянин раз в году мог «отказываться» от своего барина, уплатив ему долг. Приурочение этого отказа к определенному сроку, Юрьеву дню осеннему (26 ноября), показывает, однако же, что подвижности крестьян начинали класть известные границы, что эта подвижность стесняла уже тех, кто вырабатывал право. И вот, монастыри при помощи великокняжеских жалованных грамот начинают проводить идею совершенной неподвижности крестьянина, безусловного закрепления его в данном имении. Идея эта, по поводу которой было в науке много споров, в действительности очень простая и вполне доступная нашему, современному, правосознанию: идея *давности*. В начале XX в. ничуть не казалось странным, что дом или имение, которым кто-нибудь провладел без спора 10 лет, считается его собственностью, хотя бы он ничем доказать своего права на него и не мог. Точно так же древнерусскому землевладельцу казалось совершенно естественным, что крестьянин, который живет у него «исстари», не смеет уйти из его имения без его, барина, разрешения, хотя бы и уплатив долг.

В жалованных грамотах монастырям середины XV в. нам начинают попадаться крестьяне-«старожильцы», как противоположность тем, кто вновь порядился в монастырское имение на пашню («новопорядчикам»). Термин этот — «старожильцы», — был хорошо знаком тогдашнему праву: так назывались на суде свидетели из местных людей, давно в данной местности жившие и потому «помнившие» за двадцать, сорок и даже семьдесят лет. В этом смысле быть «старожильцем» — известное право; звание это давало человеку авторитет, голос его получал больше веса, чем имел голос какого-нибудь новичка. Рачительные хозяева, игумены русских монастырей, умели найти здесь оборотную сторону — и из права сделать обязанность. Раз «застарел» в имении — сиди в нем

до конца жизни, и с потомством своим: само собою разумеется, что родившийся в данной вотчине крестьянин был «старожильцем» вдвойне. Новому толкованию старожильства не удалось войти в жизнь без борьбы. Это толкование, как сразу видно, было выгодно для старых вотчин, густо заселенных крестьянами: в положении были владельцы, только что заводившие свое хозяйство. Где они могли бы достать себе крестьян, если бы те все были объявлены «старожильцами» своих прежних господ? Между тем конец XV и первая половина XVI в. как раз были временем развития у нас среднего, *поместного*, землевладения, быстро росшего под влиянием все той же интенсификации хозяйства. Распахивались новые земли, ставились новые усадьбы и новые деревни; исследователи отметили, что как раз в это время возникает множество имений, носящих «фамильные» названия: Иваново, Петрово, Сергеево и т. п. Помещик стойко боролся за свое существование и во имя своих интересов не давал прикрепить крестьян к старым поселениям. Его даже правилом о Юрьеве дне трудно было связать: в половине XVI в. Ржевские, Псковские и Луцкие (Великих Лук) «дети боярские» — средние землевладельцы — вывозили за себя крестьян «не по сроку, по вся дни, беспошлинно» — ничего не платя. Зато, когда крестьяне были уже у них, дети боярские держались за них и ногтями, и зубами — и, кто к ним являлся «отказывать» их крестьян, того ждала самая плохая участь: его «били и в железа ковали», — «да и крестьян, поймав, мучат и грабят и в железо куют». Мы видим, что средний помещик вовсе не был бескорыстным радетелем свободы крестьянского перехода и последовательно держался бушменской морали: хорошо увезти чужого крестьянина, но плохо, когда моего крестьянина увезут. Вот почему медленно нарастающая крестьянская крепость стала двигаться вперед гигантскими шагами, как только среднему землевладению, *дворянам*, удалось, при Грозном, покончить в свою пользу спор с крупным землевладением, *боярами*. Как только конфискованные в опричину боярские вотчины оказались в руках дворянства, новые владельцы поспешили закрепить за собою население доставшихся им деревень. Опричные конфискации приходится на 1560-е гг., а в 1570-х на «старину» ссылаются уже как на непререкаемое основание для того, чтобы не выпускать из-за себя крестьянина. Затем, по-видимому, была сделана попытка закрепить крестьян за владельцами совсем — запретив «выход» на несколько лет («заповедные лета»). Но это повело к трениям среди самой уже дворянской массы, где тоже были более счастливые, которым при дележе достались самые лакомые куски, были и обде-

ленные. Опиравшееся на низы дворянства правительство Годунова установило 5-летний срок давности по отношению к крестьянам; реакционное, с дворянской точки зрения, правительство Василия Ивановича Шуйского увеличило срок до 15 лет. Но в конце концов дворянское землевладение упрочилось, — и крестьяне стали крепки своим помещикам «и без урочных лет».

В основе двух крупнейших социальных переворотов XVI в., смены боярства дворянством и закрепощения крестьян, лежит, таким образом, прогресс сельскохозяйственной техники — переход к более интенсивной культуре земли. *Русского крестьянина закрепостило трехполье* — то трехполье, которое и до сих пор является традиционной формой русского земледелия. Это отвечает нам на вопрос: откуда, *экономически*, взялось крепостное право? Но ставит нас перед другим вопросом: зачем же понадобилась более интенсивная культура? Почему Московской Руси XVI в. нужно было больше пахотной земли, чем предшествующим векам? Очевидно, хлеба было нужно больше, — но такой ответ только отодвигает вопрос и притом очень недалеко: куда же сбывался лишний хлеб? В ответ на это указывают часто на *рост населения* в центральных областях Московского государства XVI в. К сожалению, почти никаких прямых данных для статистики населения этой эпохи у нас нет, и историки, ссылающиеся на густоту населения, как на причину экономических успехов Московской Руси, вынуждены оперировать данными косвенными. Указывают, например, на то, что иностранные путешественники, к их большому удивлению, не находили около Москвы тех густых, непроходимых лесов, о которых они столько слышали: попадались им только пни, свидетельствовавшие, что здесь были когда-то леса, а из зверей — только зайцы. Но это служит, скорее, признаком того, как долго даже в центре Московского государства держалось подсечное хозяйство, нежели доказательством большой плотности населения. Против последнего говорит зато другой косвенный признак: та ожесточенная борьба между землевладельцами из-за крестьян, о которой мы говорили выше. Будь население вообще очень плотно, находить работников не было бы трудно, — вероятно, даже и крепостного права бы не понадобилось. Уплотнение населения как причину перемены приходится, таким образом, отвести. Указывают на роль таких центров, как Москва, в которой к концу царствования Ивана Грозного (около 1570 г.), по довольно точным показаниям иностранцев, было до 200 000 жителей. Напоминают при этом, что и Новгород — тогда второй, по всей вероятности, город России — всегда жил

привозным хлебом, и привозился этот хлеб из Суздальской земли, «снизу», как тогда выражались (смотря вниз по течению Волги и с притоков) — из позднейшего великого княжества Московского. Но второе указание только ослабляет значение первого: Новгород всегда — и в XII в. — снабжался хлебом из Суздаля, однако это ни к каким хозяйственным переворотам не вело. Да и представление, будто в самой новгородской области земледелие было мало развито, так что она жила исключительно привозным хлебом, не выдерживает критики: в новгородских писцовых книгах<sup>4)</sup> мы везде встречаем пашенное население, и новгородская земля идет в отношении земледельческой техники во главе всей России — здесь мы раньше всего находим трехполье. Значит, когда говорят о Новгороде как потребителе московского хлеба, имеется в виду сам город Новгород — да и то преимущественно в неурожайные годы.

Очевидно, что один, два, даже три города, с общим населением хотя бы и в несколько сот тысяч, еще не могли определить собою хозяйства целой обширной страны: не говоря уже о том простом вопросе, что ведь, должны были питаться чем-нибудь эти сотни тысяч раньше, чем наладился подвоз хлеба к ним из деревни, — а наладить его было не такое легкое дело. Иными словами ссылка на крупные городские центры переворачивает вопрос кверху ногами: чтобы могли *образоваться* такие центры, необходимы были известные избытки хлеба у населения, а не наоборот, образование таких центров вело к производству лишнего хлеба. Эта привычка — производить хлеба больше, чем нужно для потребностей местного населения, — складывалась у последнего медленно и постепенно, под влиянием мелких, на первый взгляд, но в совокупности огромных перемен именно в *местном* быту. Основную из этих перемен дают нам те же новгородские писцовые книги: в них, наряду с пашенным населением, которое решительно преобладает, мы встречаем на каждом шагу людей непашенных, *ремесленников* всякого рода: лучников, седельников, рожечников, коробейников, деготников, портных, скорняков, кожевников, сапожников — даже «кровопусков», а всего более, конечно, кузнецов. Последние иногда сидят целыми деревнями и платят оброк не хлебом, как другие крестьяне, а косами, сошниками, сковородами и топорами. Эти ремесленные деревни были зачатками более крупных торгово-промышленных поселений, образчики которых — правда, не очень многочислен-

---

<sup>4)</sup> Переписи *платящего* населения Новгородской области, предпринятые московским правительством в конце XV в., после завоевания Новгорода Москвой.

ные, — дают те же писцовые книги. Это — *рядки и погосты*. В одном из них писцовая книга насчитывает 24 двора, а людей (т. е. взрослых мужчин) 39 человек. Наряду с ними в Новгородской земле были и настоящие города, но цифры населения их показывают, как недалеко они ушли от этих зачаточных ремесленных поселков: в «городе» Ладоге, например (очень старинном), мы находим 137 человек мужского пола — т. е. человек 400 всего населения. Сравнительно с этим Ям (теперешний Кингисеп) с 332 мужчинами (около 1 000 всех жителей) был чуть ли не большим центром.

Если мы возьмем теперь Московское государство XVI в., то встретим в нем то же явление, только в более крупных размерах. *Московская Русь была усеяна городами и городками* с населением в одну, две, три тысячи человек<sup>5)</sup>: и каждый такой городок был маленьким местным центром. Откуда бралось их население, об этом документы говорят нам достаточно подробно: это обыкновенно «обмолодавшие», «разоренные» крестьяне, которые «кормятся рукодельишком». А затем идет перечень: сапожник, овчинник, прядильщик, соляник, игольник, ягодник, сыромятник, рукавишник, крупенник, кисельник, калашник. Как для позднейшего крестьянина «пролетаризироваться», превратиться в наемного работника, казалось большим несчастьем (и ее для одного крестьянина) — хотя наемный батрак живал иногда лучше «самостоятельного домохозяина», так и для тогдашнего забросить пашню, переселиться в город представлялось катастрофой. Чувства и настроения, связанные с такой катастрофой, хорошо выражаются всем знакомым словом «бобыль», которое в просторечии обозначает бездомного, бесприютного человека, а на старинном юридическом языке обозначало именно крестьянина, забросившего пашню и занявшегося ремеслом. Это непашенное население не всегда уходило в город — уход в город, собственно, был уже второй стадией развития. Мы везде встречаем бобыльские дворы и по деревням, где в XVI в. они составляли уже от 2 до 5 % общего числа. Нужно прибавить, что и рынки, где торговали хлебом и другими «земляными плодами», вовсе не были непременно городские рынки: на каждом шагу попадаются и села, где было 5, 19, 37 лавок, в которых торговали «тутошние люди». В одном житии начала XVI столетия мы имеем

<sup>5)</sup> Для примера приведем Торопец, нынешней Смоленской губернии, считавший в 1540—41 гг. до 400 дворов торгово-промышленного населения, Сольвычегодск, где несколько позже было до 600 таких дворов, Каргополь (Новгор. губ.), где их было до 500, Каширу с 400 дворами, Серпухов с 600 и т. д.

чрезвычайно наглядную картинку такого маленького «торговища», куда крестьяне окрестных деревень рано утром, еще до свету, тянутся со своими телегами, причем каждый спешит занять место на рынке раньше других. Москва, Новгород Великий или Новгород Нижний были в сотни раз увеличенными рынками, — но того же типа: съезжавшиеся туда ежедневно сотни крестьянских возов с сельскохозяйственными продуктами были, по *большой* части, не очень издалека. Крупной хлебной торговли теперешнего типа, когда товар привозится из-за тысячи верст, мы совершенно не можем себе представить в тогдашних условиях. Один исследователь, к этим условиям относящийся очень оптимистически, высчитал, что при провозе на расстояние больше 500—600 верст, провозная плата съела бы в конце XVI в. весь барыш хлебного торговца. Везти далеко хлебные караваны был расчет только при неурожае и, значит, исключительно высоких ценах на хлеб.

Итак, не рост населения и не скопление его в отдельных пунктах вызывали опрос на «лишний» хлеб и дали толчок развитию земледелия в Московской Руси. Этот толчок был дан *дифференциацией* населения, появлением нового общественного класса, *ремесленников*. Собственно, можно сказать, — «появлением общественных классов», ибо ремесленники были *первым* общественным классом в истории. До выделения ремесла общественного разделения труда не существует: все работники — более или менее земледельцы, понятия «крестьянина» и «работника» покрывают друг друга. Вне крестьянской массы и над ней, эксплуатируя ее, стоят иногда группы неземледельческого населения — как у нас в Древней Руси шайки полувоенной, полуторговой вольницы, выступающей то как «дружина», то как «купцы», и в первое время сплошь иноземного, норманнского происхождения. Но эти группы не являются общественным классом, потому что они *никакого* участия в производстве не принимают. Когда отдельные единицы из этих групп осаживаются на землю и руками холопов, которых не удалось или невыгодно было продать, начинают обрабатывать землю, дело еще не меняется. Боярин древнейшей эпохи еще не хозяйничает: он только, как это он делал и раньше, собирает плоды чужого хозяйства — только не путем прямого захвата, а более мирно, зато и более систематически. Собственная запашка даже новгородских бояр XV в., обыкновенно, совершенно ничтожна — немногим больше хорошего крестьянского двора: самый богатый из них пахал «на себя», руками своей дворни, всего от 20 до 30 десятин. Зато крестьяне обязаны были доставлять на его двор известное количество хлеба, мяса,

яиц, масла и т. п., — чем кормился не столько сам боярин, сколько его многочисленная вооруженная и невооруженная дворня. Количесством этой дворни мерялась общественная сила боярина — чем ее было больше, тем больше был его политический удельный вес: и если он старался закрепить как можно больше крестьян, то для того чтобы содержать как можно больше «послужильцев», дружинников. «Развивая» свое хозяйство, он, таким образом, вовсе не преследовал экономических целей в собственном смысле, ибо с экономической точки зрения совершенно все равно, служит ли сотня ничего не производящих военных людей одному барину или десяти.

С выделением ремесла картина резко изменилась. *Хлеб стал товаром*, который можно продать, можно прямо или через посредство денег обменять на продукты обрабатывающей промышленности. Боярин начинает интересоваться хозяйством. Уже сменившие новгородских бояр в конце XV в. московские помещики пахали «на себя» вчетверо и впятеро больше их предшественников. С крестьян вместо *определенного* количества хлеба начинают требовать доли урожая, явно спекулируя на то, чтобы в случае урожая хорошего не оставить мужику всех выгод, а заставить его поделиться божией благодатью с бариним. У некоторых исследователей довольно естественно явился соблазн — совсем уподобить помещичье хозяйство XVI в. современному, работающему исключительно в расчете на рынок. «Торговое земледелие» кажется им господствующим уже в государстве Ивана Грозного и Бориса Годунова. Но этому искушению поддаваться не следует. Современное сельское хозяйство работает для неопределенного, *мирового рынка*: ему сколько бы ни произвести хлеба, никогда не будет *слишком* много. Хозяйство XVI в. работало на очень узкий местный рынок, не на *мир*, а только на свой *уезд*. Его хлебному производству были поставлены очень тесные границы — и есть основание думать, что даже те скромные улучшения в сельскохозяйственной технике которые мы имели случай наблюдать в Московском государстве XVI в., на добрую долю были результатом *увлечения* землевладельцев новыми перспективами. Когда увлечение прошло — началась реакция: к концу XVI в. *трехполье* опять явно сдает перед *перелогом*. При всей *относительной* прогрессивности, русское сельское хозяйство времен Ивана Грозного было типично *средневековым*, и модернизировать его не следует. И этот средневековый его характер объясняет нам, почему оно довольствовалось малопроизводительным *подневольным* трудом крестьян; мы увидим, что, когда речь зашла о производстве на мировой рынок, этот подневольный труд оказался очень невыгодным.

Московское государство XVI в. дает нам, таким образом, типичную картину *городского хозяйства*, знакомого Западной Европе в середине Средних веков, в XI—XIII столетиях<sup>6)</sup>. И в этом случае, можно думать, московская история повторяла, со своеобразными вариациями, киевскую: то множество «городов», которые мы находим в Юго-Западной Руси XI—XIII вв., были, по всей вероятности, такими же мелкими местными рынками, как и московские Каширы и Каргополи. Только там эта местные рынки, благодаря хронической усобице, носили более эфемерный характер, исчезая и вновь возникая, как грибы после дождя. Москва строила медленнее, зато прочнее, чем Киев. Этот *параллелизм* двух развитий находит себе подтверждение в том, что и *выделение ремесленников началось уже в Киевской Руси*, притом очень рано. Первые упоминания о ремесле относятся к концу X или началу XI в. Из детских книжек всем хорошо известен рассказ о богатыре, дравшемся с печенегом по вызову князя Владимира. Рассказ этот в летописи стоит под 993 г. — но, конечно, сложился он много позже и, может быть, заимствован летописью из какой-нибудь народной песни. Как бы то ни было, герой рассказа — *кожевник*, и с этой стороны он нам и интересен: сила его обнаружилась, когда, рассердившись на что-то, он изорвал в клочки кожу, которую мял в ту минуту. Почти под тем же годом в новгородской летописи стоит другой рассказ, из которого видно, что в Новгороде в то время продали *горшки* на рынке — были, значит, гончары. А от самого конца XI в., от 1092 г., мы имеем уже *современную* запись, свидетельствующую о чисто ремесленном производстве *гробов*: в этом году в Киеве была какая-то эпидемия, и гробовщики рассказывали летописцу, что они с Филиппова поста до мясоеда, т. е. с ноября по январь, продали гробов 7 000 штук. Это известие ценно тем, что оно показывает нам в Киеве конца XI в. вполне развитое ремесло, когда ремесленник сам закупает материал, сам его обрабатывает и сам продает произведения своего труда. Едва ли в таком положении были только одни гробовщики. Сохранилось известие, что монахи Киево-Печерского монастыря покупали шерсть, вязали из нее «копытца», т. е. носки, и продавали их. А из Киево-Печерского патерика мы узнаем, что на Киевском рынке можно было купить не только гробы и носки, но и *книги*: «списание книжное» тоже могло, таким образом, принять ремесленный характер.

<sup>6)</sup> Позднейшие изыскания привели автора к заключению (см. «Вестник Социалистической академии», кн. 4), что расстояние между Московской Русью и Западом можно еще сократить: наш XVI в. ближе к европейскому XIV, чем к XIII в.



Неясный рассказ того же патерика о чуде, приключившемся с иконописцем Алимпием, дает понять, что производство некоторых предметов — в данном случае икон, могло принять характер даже *предприятия*. Алимпий, принимая заказы на иконы в большом количестве, нежели сам, единолично, мог исполнить, кажется, отдавал работу другим монахам, но ставя, так сказать, свою подпись — выдавая работу за свою, так как ему, ввиду его знаменитости, платили дороже. Подручные в чем-то осталась им недовольны и из мести рассказали заказчикам, в чем дело. Те явились в монастырь и подняли шум, но монастырские власти вступились за Алимпия, и он вышел сухим из воды, а эксплуатируемые им мелкие иконописцы были прогнаны из монастыря. Этот пример интересен в том отношении, что подтверждает давно сделанное наблюдение: быстрее всего развиваются и раньше всего достигают экономически совершенной формы не ремесла, обслуживающие обыденные потребности, а *производство предметов роскоши*. Кроме иконописи, в Киеве процветало, как показывают археологические данные, *ювелирное дело*: а при недавних раскопках открыты следы мастерской *эмалевых изделий*, дошедших до нас и в образчиках, и производившихся, по-видимому, в довольно широком масштабе. В то же время плотничьи работы исполнялись еще барщинным путем, натуральной повинностью окрестного крестьянства. Таким способом строили, например, киевские церкви, причем уже князю Ярославу пришлось убедиться в невыгодности барщинного труда. При постройке Георгиевской церкви дело шло медленно и плохо, рабочих было мало. Когда князь спросил своего «тиуна» (приказчика), почему дело не идет, тот объяснил это барщинным характером работы («дело властельско есть»), за которую работники ничего не получают. Тогда Ярослав установил заработную плату — по «ногате» за день — от рабочих не стало отбоя, и церковь была быстро закончена. Плотничество в Киевской Руси едва ли было окончательно выделившимся ремеслом — оно стояло еще на предыдущей ступени *ремесла плетеного*: новгородцев, по летописи, в насмешку называли «плотниками» — очевидно, плотничанье было обычным отхожим промыслом новгородского крестьянства. Раньше всего выделение началось здесь, по-видимому, в крупных хозяйствах. Князь Изяслав, желая поправить одну церковь, позвал «старейшину древоделей», и тот, собрав «сушая под ним древодели», выполнил работу. Это была, стало быть, плотничья артель, специально состоявшая при княжеском хозяйстве: князь строился часто, и ему был расчет держать таких постоянных ремесленников. Впоследствии такую

«дружину» плотников мы находим у новгородского владыки. Мы знаем даже и ее состав — она состояла из шести мастеров (они, собственно, и назывались «плотниками») и 10 подмастерьев («дружинников»).

Но заведенные для потребности большого хозяйства ремесленники могли быть не заняты в нем все время — у них могли оказаться свободные промежутки. И для их хозяина была прямая выгода, чтобы они в это время не сидели праздны: в этом — источник *перехожего ремесла*, наиболее ранней формы «выделившегося ремесла» вообще. Не занятый в барском хозяйстве холоп-ремесленник («ремесленники» «Русской Правды» — именно холопы) получал отпуск — право бродить по окрестным деревням, предлагая свои услуги нуждавшимся в них и платя своему барину оброк. Очень выпуклый образчик такого оброчного мастерского мы находим в одном позднем документе XVII столетия. Один портной рядится к помещику в «бобыли» и обязуется 4 недели в году шить на помещика и его сына, а все остальное время «но городам и по деревням промышляти своим рукодельем портным мастерством». Перехожие мастерские Киевской Руси, вероятно, были вроде этого портного. Одного из них, монаха Киево-Печерского монастыря, постоянно бегавшего из обители, и в бегах промышлявшего тем, что он «платья делал», легко даже сблизить с сейчас упоминавшимся «портным мастером», ибо монах был членом обширного хозяйства — в монастыре каждому, кроме богатых монахов, готово было свое «послушание», ничем, кроме идеологического объяснения, не отличавшееся от того, что детали крепостные ремесленники в боярском хозяйстве; монахи и муку мололи, и хлебы пекли, и за монастырским садом ад огородом ходили — в Киево-Печерском монастыре были и свои кузнецы и, вероятно, свои плотники. Иконописное мастерство развилось, (вне всякого сомнения, тоже на почве монастырских нужд; история с Алимпием показывает нам, кроме всего прочего, как частно-владельческое ремесло выходит за пределы частного хозяйства и становится общественной функцией. Но занятые в монастырском хозяйстве не всегда обязательно были монахи. Киево-Печерский патерик упоминает о монастырских работниках, насчитывая их в одном только случае несколько десятков. В московскую эпоху из таких монастырских ремесленников вырастали целые поселения. У Костромского Ипатского монастыря под Костромою были две слободы, а в них 185 дворов людей «торговых, и промышленных, и ремесленных, и работных и с теми,

которые ходят по миру». «Ходить по миру» здесь не значило «нищенствовать», а значило быть именно «перехожим ремесленником».

Московской эпохе знакомы все те же формы ремесла, что и киевской: если бы мы не знали, что первая была не продолжением второй, а параллельным процессом, можно бы подумать, что история остановилась на месте. В Московском государстве мы имеем и холопское ремесло — «ремесленников» «Русской Правды»; одна богатая барыня начала XVI в. дает в приданое за свою дочь и «девку швею», и «хамовника с женою и детьми» («хамовное дело» — тканье скатертей), и «бральню скатерницу», и «тонкопрядицу девку», и «убрусную девку» (мастерицу, изготовлявшую полотенца). Имеем и переходное ремесло — «монастырских бобылей», которые «сапожным и портным ремеслом и рукавицами и чулками *походя кормятся*». Знаем, конечно, и ремесленную мастерскую с подмастерьями и учениками. О ремесленном ученичестве впервые упоминает Псковская судная грамота — документ, в основе, XIV в. Собственно, в Московской Руси наиболее организованными являются, как и следовало ожидать, производства, изготовлявшие «предметы роскоши». Московские *серебряники* представляли из себя корпорацию, очень напоминающую западноевропейские цехи. Они имели своих выборных представителей, старост, которые должны были наблюдать за тем, чтобы, и по качеству материала, и по отделке, выставленный в серебряном ряду товар был не ниже известной нормы. Мастера обязывались «делать в серебряном ряду образцовые пуговицы... серебряные в чистом серебре, и в серебро меди и свинцу не мешать, и приносить своо дела серебряного ряду старостам на оказ». Но наиболее законченную форму цеха приняла еще в XVI в. *иконопись*. Мы здесь имеем налицо все отличительные черты цехового производства: и правильный общественный контроль, осуществлявшийся высшим духовенством, и правильно поставленное ученичество, с представлением «образцовой работы», без чего нельзя было сделаться мастером, и, безусловно, запрещение заниматься этою работой всем, кто не удовлетворяет строгим требованиям «цехового» мастерства. «А которые по се время писали иконы, не учась, самовольством и самоловкою, и не по образу, и те иконы променяли дешево простым людям, поселянам невеждам, ино тем запрещение положите, чтобы учились у добрых мастеров... И аще которые не престанут от такового дела, таковые царскою грозю накажутся, и да судятся, и аще они учнут глаголати: мы тем живем и питаемся — и таковому их речению не внимати».

Московские ремесленники — не только серебряники, но и шапошники, сапожники, калачники и т. д., сами торговали произведениями своего ремесла в родах: представляют, значит, совершенно законченный тип ремесленного производства. Тем не менее цехового строя в западноевропейском смысле у нас не сложилось — слишком быстро надвинулся на Московскую Русь торговый капитал. Дело не пошло дальше отдельных примеров. Торговым капитализмом мы займемся в следующей главе. А в заключение настоящей попытаемся ответить на (вопрос: какие же *социальные результаты* дало в России «городское хозяйство» с характеризующим его развитием ремесла? Вообще говоря, как мы видели в первой главе, на ремесленное производство опирается индивидуализм всех родов и видов. С индивидуализмом политическим, религиозным и художественным мы познакомимся в других главах этой книги. Но один вид индивидуализма непосредственно связан с теми сюжетами, которыми мы только что занимались. Это — *индивидуализация хозяйственная*. Мы видели, что экономической ячейкой в древнейший период была «большая семья». Изучая закрепощение крестьян в XVI в., вы тщетно станете ее искать: везде перед вами *отдельные крестьяне* — с их семьями, правда, с женами, и с детьми, но это *маленькая* семья, знакомая и нашему времени, а не *большая*, первобытная. Крестьян закрепощали не «печищами», а как отдельных лиц. Крестьянская «порядная». XVI–XVII вв., договор, заключаемый крестьянином с помещиком и обыкновенно бывший исходной точкой крепостной неволи — самый яркий памятник разложения первобытного строя, какой только можно себе представить. Характерно, что «печище» как раз и уцелело там, куда не проникло крепостное право, на далеком севере, в нынешней Архангельской губернии. Но еще характернее, что этот индивидуализм рабства вносил индивидуалистические черты и в правовой строй самих рабовладельцев. Еще в начале XVI в. земельные имения у нас обыкновенно принадлежат семейной группе: отцу с детьми, дяде с племянниками, нескольким братьям — вместе. К XVII столетию поместье становится чисто индивидуальной собственностью — от «родового» владения сохраняются лишь слабые остатки, дожившие до революции. Земли, которые Грозный давал своим опричникам, давались на таких же личных основаниях, на каких сами помещики давали участки своим крестьянам: «а сын его в ту службу не пригодится, ино то поместье отдать иному». И как индивидуализировалось землевладение, то же было и с рабовладением. Раньше холоп принадлежал целой семье. В половине XVI в. у нас быстро начинает развиваться тип холопства

кабального («долгового», буквально: *кабала* — долговая расписка), которое носит *личный* характер. Кабальный человек был крепок тому, у кого он взял деньги, до его смерти: затем отношения прерывались — детям владельца по кабале до его кабальных холопов дела не было. Чтобы обойти это правило, некоторые владельцы — люди консервативного образа мыслей, без сомнения, не любившие новшеств, — начали писать кабалы на два имени, на себя и на сына. В начале XVII в. это было строго запрещено — московское правительство оказалось на стороне индивидуализма. И нетрудно понять логическую связь, ведущую от кабалы к личному кабальному холопству: в долг человек брал деньги или вещь, брал движимость. Но движимость по своему происхождению всегда *личное* достояние — даже в период первобытного семейного строя оружие или одежда принадлежат обыкновенно лицу, а не семье. Теперь отношения, основанные на движимости, на продуктах ремесленного труда, охватывают все общество сверху донизу. И закрепощенная Россия XVII в. оказывается страной более индивидуалистического хозяйства, чем Киевская Русь в начале своей истории, когда еще цело было свободное славянское крестьянство.

### Библиография

Из затрагиваемых в настоящей главе вопросов вопрос о происхождении крепостного права имеет колоссальную литературу. Не пытаясь исчерпать ее хотя бы приблизительно, укажем, как новейший и лучший общий обзор, соответствующие страницы книги проф. *М. А. Дьяконова* «Очерки общественного и государственного строя Древней Руси» (Изд. 2. Спб., 1908. С. 313–395. Готовится новое издание). Указания на предшествующую по времени литературу там же. Из работ, вышедших после книги проф. Дьяконова, можно указать статьи *П. Михайлова* о старожильстве (в «Журнале Министерства народ. просвещ.», Май 1910 г.; февраль 1911 г. и январь 1912 г.), при всей обстоятельности по существу мало изменяющие дело сравнительно с изображением Дьяконова. Важнейшие документы по вопросу собраны в издании: «Памятники истории крестьян XIV–XIX вв.», под ред. *А. Э. Вормса, Ю. В. Готье, А. А. Кизеветтера* и *А. И. Яковлева* (Изд. Н. Ключкова. М., 1910). Для истории сельскохозяйственной техники, цен, организации обмена и т. д. огромный материал собран в книге *И. А. Рожкова* «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в.» (М., 1899). Изложение очень специальное: начинающим лучше предварительно ознакомиться с кратким изложением вопроса по небольшой брошюре того же автора «Город и деревня в русской истории» (ср.: *Он же*. Народное хозяйство Московск. Руси во 2-й полов. XVI в. // Дела и Дни. 1920. I) или по соответствующим главам «Русской истории с древнейших времен» пишущего

эти строки (сюда относятся III глава *первого* тома и первые разделы IX и X глав *второго* тома). Для развития *ремесла*, кроме соответствующих глав названных ранее книг *Аристова* и *Довнар-Запольского* (глава X «Обрабатывающая промышленность» одна из наиболее удачных в I томе «Истории русского народного хозяйства»), см. еще *А. И. Никитского* «История экономического быта Великого Новгорода» (М., 1893) и того же *Ж. В. Довнар-Запольского* «Торговля и промышленность Москвы XVI–XVII вв.» (М., 1910) и «Организация Московских ремесленников в XVII в.» (статья в «Журн. Министерства народного просвещ.» Сентябрь 1910 г.). *Общую* картину ремесленного хозяйства можно найти в сборнике Кабо и Рубина «Народное хозяйство в очерках и картинах», (Изд. «Книга», 1923 — к нашей теме относится отдел I) и у *Бризона* «История труда и трудящихся» (Гос. изд. 1921 — главы I–IV).

## Глава 3

### Торговый капитализм

Московская Русь XVI в., подобно Киевской XII в., перешла уже, выражаясь по-старинному, от «натурального» хозяйства к «денежному». Обмен в ней не только существовал — он существовал и существует всегда и везде, — но играл уже видную экономическую роль: население Московской Руси работало в значительной степени не только для удовлетворения своих непосредственных потребностей, но и для обмена, для рынка. На рынке сырье обменивалось на произведения обрабатывающей промышленности, продукты ремесленного труда. У этого обмена были, однако же, особенности, отличающие его от торговли нашего времени. На описанных нами маленьких местных рынках *производители непосредственно встречались с потребителями*, в лавках московских рядов сидели те самые ремесленники, которые изготовили товары, продававшиеся в этих лавках, а на базаре капусту или кур продавал тот самый крестьянин, который привез их из деревни. На Сухаревской площади москвичи еще и теперь могут наблюдать такого рода торг, по базарным дням: и любители дешево купить ходят именно «на Сухаревку»<sup>1)</sup>. Ибо особенностью такой торговли является большая дешевизна товара. Один иностранец, бывший в Москве в XVII в., рассказывает, что в московских рядах можно было необычайно дешево купить серебряные пуговицы, почти за столько, сколько стоило серебро, из которого они были сделаны. Московский ремесленник не требовал себе *барыша*, того, что теперь называют «предпринимательской прибылью», потому что он и не был предпринимателем. Он на свое производство не затрачивал капитала и желал только, чтобы покупатель возместил ему стоимость сырого материала да заплатил ему за работу — по-божески, что людям платят. *Ремесленнику нужно было, чтобы работа его кормила*: а так как потребности у него были

---

<sup>1)</sup> Написано в 1914 г.

скромные, а съестные припасы дешевы, то «заработная плата» ремесленника и не могла составить большой суммы.

Непосредственное соприкосновение производителя и потребителя и отсутствие предпринимательской прибыли, как особой категории, составляют характерные отличия *докапиталистического обмена*. Торговых посредников, *купцов*, тут или вовсе не существует или, если они и встречаются — когда речь идет о торговле заграничными товарами, например, — *их деятельность тоже носит ремесленный характер*. Древнерусский «купец», как правило, — мелкий торговец, путешествующий по стране со своим возом или даже просто с котомкой за плечами, подобно теперешнему коробейнику. Оттого в крупных торговых центрах того времени, вроде Торжка, служившего передаточным пунктом между Новгородом и «низовскими землями», мы встречаем, по летописи, тысячи таких торговцев, и даже в захолустьях, вроде Переяславля Залесского, сотни. И это вовсе не значит, конечно, как думают некоторые новейшие исследователи, что в Древней Руси была «необыкновенно развита» торговля. Это значит только, что тогда не было (или почти не было — мы сейчас увидим, какие нужно сюда внести поправки) концентрации торговли и торгового капитала. «Купец» думал тоже не о барышах, а о том, чтобы прокормиться своим ремеслом.

Уже в первой половине XVII в. в Москве отношения ее были так просты. В 20-х гг. этого столетия московское правительство, встревоженное ростом хлебных цен в столице, пыталось ввести таксу на печеный хлеб. Чиновник, которому это было поручено, стал на ремесленную точку зрения. Он высчитал, сколько стоит мука, прибавил к этому, что стоил прокорм самого хлебопека, — и получил справедливую, по его мнению, цену. Сделал он все это не зря, а весьма осмотрительно: сам закупил муку, сам сосчитал харчи работников — словом, произвел правильный эксперимент и был уверен, что под его таксу не подкопаешься. Но московские булочники подняли страшный вопль и заявили, что при такой таксе им ничего не остается, как закрыть свои заведения. Автор справедливой таксы был очень возмущен поведением булочников и обвинял их в том, что они, не довольствуясь справедливой платой за труд, «ныне хотят *прибыли* на хлебы и на калачи». Но его оппоненты не только не смутились попреком, а в своем ответе сами без зазрения совести употребили то же самое слово «прибыль». «И в том мы, сироты ваши, до конца погибли», — плакались они в своей челобитной государям — их было тогда сразу два, Михаил Феодорович да его отец, патриарх Филарет, — «и впредь нам тех хлебов



и калачей *без прибыли печь не из чего*». И тут же приводили факт, явно свидетельствующий об экономической отсталости сочинителя таксы: а что он, говорили булочники, «в той расписке (таксе) выписал за работу восемь денег, и то, государи, идет... *наймитам*, которые наймиты пироги и калачи пекут, и в квашни месят, и тесто перетирают, и валяют, и в печь сажают, пекут, и *всякую работу работают около калачей, и пирогов, и хлебов*: а нам, сиротам вашим, ни одной деньги не выложено на тягло (налоги) и *на промысел*, чем нам, сиротам вашим, сытым быти». Как видим, от ремесленнической терминологии не отделались и авторы челобитной: и они как будто хлопочут только о том, чтобы им «сытым быти» — не больше. Но это уже одни только слова: на самом деле мы видим, что пекли-то хлеба не они, а наемные рабочие, по отношению к которым челобитчики были *предпринимателями*. И «сытым быти» они надеялись от *предпринимательской прибыли*, которой такса их лишила. Их промысел заключался в том, что они устраивали заведения, чтобы эксплуатировать в них труд пекарей-рабочих. Хлебопекарный промысел в Москве Михаила Феодоровича был организован уже на капиталистических началах. Конечно, это был капитализм еще очень мелкий, и тогдашняя хлебопекарня, вероятно, недалеко ушла от *ремесленной мастерской*, где хозяин работает не один, а с подмастерьем и учеником. Но та же челобитная дает понять, что возможна была и следующая, высшая ступень концентрации капитала: в челобитной говорится о каких-то «хлебных и калачных прасолах» — как надо думать по названию, это был и люди, закупавшие хлеб и калачи оптом, для того чтобы продавать их потом в розницу.

Если пекари Москвы в 1620-х гг. представляют собою зачаток капитализма промышленного, то «хлебные и калачные прасолы» были представителями *капитализма торгового*. Торговый капитализм гораздо старше промышленного: стремление к прибыли появилось у купца гораздо раньше, чем у ремесленника. Крупные зачатки торгового капитализма мы имеем уже в Киевской Руси. «Русская Правда» уже имеет понятие о торговой прибыли: у нее для этого есть термин — *пригостить*, получить прибыль на вложенный в торговлю капитал<sup>2)</sup>. Торговля была обычным помещением свободных денег — купец «Русской Правды» обычно ведет свое дело на занятый капитал. Соответствующая статья «Правды» и поясняет нам, откуда он брал этот последний. Рассказывая о порядке взыскания

<sup>2)</sup> «Гостить» — торговать: «гость» — торговец, «гостьба» — торговля.

денег с обанкротившегося купца, «Правда», как и полагается памятнику княжеского законодательства, прежде всего оберегает интересы князя: «если будут за ним в долгу *княжеские деньги*, то взыскать наперед их, а остальное в раздел». Тут мы имеем один из самых старых источников «первоначального накопления». Как в истории древнейшего крупного хозяйства большую роль играло прямое насилие, прямой захват «челяди», открытый и наглый грабеж крестьянства — словом, «внеэкономические» факторы, так те же внеэкономические факторы еще более видную роль играли в образовании древнейшего торгового капитала. *Война* сосредоточивала в руках князей и боярства огромные количества движимости. Не говоря уже об усобицах — здесь, поскольку речь шла о князьях, дело сводилось к перекалыванию из одного кармана в другой, — походы в степь «добрых страдальцев за русскую землю» вознаграждали этих «страдальцев» весьма щедро. Как стереотипным концом усобицы в летописи является фраза «ополонишася челядью», так удачная экспедиция против половцев не менее стереотипно кончается словами: «взяли тогда скот, и овец, и коней». Это уже было приращение не имущества отдельного князя за счет другого, как в случае усобицы, — а чистый прирост княжеского достояния вообще: и мы знаем, как дорог был в Древней Руси именно скот. Отчасти, конечно, князь утилизировал свою добычу непосредственно путем раздачи скота, прикрепляя крестьян к своим землям. Но большую часть приходилось «реализовать» — сбывать на рынок: «челядь» преимущественно на граничный, а скот на внутренний. Недаром певец «Слова о полку Игореве», мечтая о военных удачах русских князей, придает этим мечтам такую своеобразную форму: «была бы тогда чага (рабыня) по ногате, а кошей (раб) по резане!». Победа означала прежде всего дешевизну живого товара — и двуногого, и четвероногого. И вот, в руках князя победителя вместо скота и людей сказывалось серебро и золото<sup>3)</sup>. В каком количестве, покажет один пример из бесчисленного множества аналогичных: в 1158 г. князь Глеб Всеславич — вовсе не из самых крупных — дал Киево-Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 гривен золота. Гривна серебра, слиток весом около полуфунта (180–200 граммов), равня-

<sup>3)</sup> В нашей литературе довольно твердо держится убеждение, что Киевская Русь знала только счет на *серебро*: была страной серебряного монометаллизма, как теперь Китай, например; это совершенно неверно: летопись и бытовые памятники, напр. Печерский патерик, на каждом шагу считают и на серебро, и на золото. Украинцы XII–XIII вв. были биметалистами.

лась по тогдашней цене металла теперешним 100 руб.: 600 гривен представляли собою нечто, соответствующее капиталу в 60 000 руб. Золото в Средние века обычно было в 10–12 раз дороже серебра: 50 гривен золота по минимальной оценке соответствовали теперешнему капиталу в 50 000 руб. Итого князь Глеб пожертвовал Печерскому монастырю 110 000 руб. на наши деньги, причем ниоткуда не видно, чтобы князь отдал при этом все свое достояние; напротив, и после его смерти княгиня-вдова продолжала жертвовать серебро и золото. Понятно, почему князья у нас были первыми банкирами, и некоторые даже специализировались в этой области, как княживший в Киеве в конце XI и начале XII в. Святополк Изяславич.

Но рассказ о кончине этого князя намечает нам и другую силу, которая могла конкурировать с князьями на денежном рынке. Когда умер этот князь-ростовщик, то в Киеве, по рассказу летописи, вспыхнули большие беспорядки. Народ разграбил двор тысяцкого, правой руки князя, погромил иноверных ростовщиков, евреев, а потом обнаружил явное намерение продолжать ту же работу над киевскими монастырями. Этого не выдержал благочестивый князь Владимир Всеволодович Мономах: он пришел в Киев, усмирил беспорядки, но тут же нашел нужным издать специальные постановления, сильно ограничивавшие ростовщичество. Пикантная позиция, занимаемая в бесхитростном рассказе летописи монастырями, давно получила должную оценку; во всей древнерусской, домосковской, литературе нет места, где экономическая роль древнерусского монастыря выступила бы ярче. В публике очень распространен взгляд на древнерусский монастырь как на рабочую общину, своего рода «коммуну». Но когда вы возьмете Киево-Печерский патерик, авторы которого отнюдь не желали писать сатиры на свою обитель, вы на каждом шагу встречаете образчики нравов, в высшей степени противоположных всякому коммунизму. В Печерском монастыре был черноризец, именем Арефа, рассказывает Патерик: «Много богатства имел он в келий своей и никогда ни одной цаты, ни даже хлеба не подал убогому, и так был скуп и немилосерд, что и самого себя голодом морил». Дальше следует назидательный рассказ о том, как за эти малопохвальные качества Арефа был наказан; но из других мест Патерика видно, что если его поведение не было образцовым в смысле добродетели, то оно во всяком случае было целесообразно и отвечало сложившимся в монастыре правам. Вот другой брат, Афанасий, вел он жизнь святую и богоугодную, а когда помер, то целый день оставался без погребения: *«был он очень беден, ничего не имел от мира сего, и потому был в небрежении*

у всех. Богатым только всякий старается послужить, как в жизни, так к при смерти, чтобы получить что-нибудь в наследство». И это правило житейского поведения так строго проводилось в Киево-Печерском монастыре, что без денег и постричься было нельзя: один брат очень хотел постричься в схиму, «но по нищете его братия пренебрегала им». Само собою разумеется, что в монастыре ничего не делалось даром когда монастырский могильщик, Марк, *ничего* не брал за рытье могил, это вменялось ему в особую добродетель, за которую он и был почтен даром чудотворения. И когда монастырский иконописец, знакомый нам Алимпий, безвозмездно писал иконы для монастыря, это тоже отмечается его биографом с похвалою: а что тот же Алимпий, как мы видели, несколько бесцеремонно обращался с «мирскими» заказчиками, это смущает биографа всего менее. И то хорошо, что хоть со своих ничего не брал. Написанные киево-печерскими иноками простодушные рассказы о чудесах подвизавшихся в древнейшем из русских монастырей угодников божиих остаются самым древним — и очень ярким в то же время — памятником буржуазного настроения и буржуазного мирозерцания в России.

Московская Русь и в этом отношении дает нам картину развития, параллельную Киевской. Еще московские князья XIV в. продолжали играть роль банкиров: в завещании Ивана Даниловича Калиты упоминаются сто рублей (около 10 000 руб. на теперешние деньги), которыми он ссудил какого-то Еску. Когда в XVI в. англичане «открыли» Россию и в московских пределах стала действовать английская торговая компания, царь принимал участие в ее оборотах, и на банкротстве одного из членов компании, Мярша, потерял 2 700 руб.<sup>4)</sup>, которые, согласно с традицией, установленной еще «Русской Правдой», были взысканы в первую голову — остальные кредиторы Мярша могли удовольствоваться остатками. При первых Романовых, царь, по словам одного иностранца, был «первым купцом своего государства». Царская казна объявила своей монополией все важнейшие статьи русского *вывоза* того времени — от мехов и шелка (торговлю шелком, получавшимся из Персии, московское правительство чрезвычайно ревниво держало в своих руках) до икры, рыбьего клея и ревеня, а когда иностранцы впервые заинтересовались русским *хлебом*, был объявлен царской

<sup>4)</sup> Рубль конца XVI в. по своей покупной силе соответствовал 60 единицам того же названия конца XIX столетия и содержал в себе *три* более серебра, чем наш рубль; отношение цены металла тогдашней и теперешней было, таким образом, 1:20.

монополией и хлебный экспорт. Так продолжалось и при Петре, когда, по словам другого иностранца, царский двор сплошь и рядом напоминал купеческую контору. И, что можно сказать о московском князе, великом князе или царе, то же можно повторить и о московском *монастыре*. Как Киево-Печерский монастырь был крупнейшим в свое время и в своем месте торговцев солью (об этом мы узнаем из того же Патерика), так в московское время ту же роль соляного прасола играли Соловки. Торговля солью была главным источником монастырских доходов: «монастырь — место невогочинное, пашенных земель нет» — плакались соловецкие отцы в своих челобитных: *«разве что соли продадут, тем и запас всякой на монастырь купят и тем питаются»*. С такую скромностью упоминаемый промысел занимал в первой половине XVII в. 700 рабочих и давал на московский рынок 130 000 пудов соли. *И роль монастыря как банкира* в Московской Руси не только не пала — наоборот, здесь мы по документам можем проследить то, о чем для Киева приходилось все же догадываться. «Еще в Киевской Руси монастырь был обычным местом „поклажи“, т. е. хранения имущества мирян», — говорит один исследователь. — «То же значение сохранил он и в XVI в.; и в это время он принимал на хранение деньги и разный домашний скарб... Но особенно важное значение имело скопление в монастырях значительных денежных капиталов, благодаря постоянному приливу вкладов на поминование и большим доходам с монастырских вотчин». Деньгам, и отданным на хранение, и собранным монастырскою казною, монастырь не давал залеживаться. Ко времени Грозного московская старая знать была опутана густою сетью долговых обязательств перед «непогребенными мертвецами»; и недаром перья боярских публицистов усваивали «непогребенным мертвецам» еще и другие, менее трагические, эпитеты — «сребролюбцев ненасытных», «жидовинов-ростовщиков». В сочинении того же исследователя можно найти необычайно выразительную картинку из истории отношений князей Ухтомских и их «молитвенника», Кириллово-Белозерского монастыря. В 1556–57 гг. кн. Дан. Дан. Ухтомский с тремя сыновьями продал монастырю село Карповское с 17 деревнями и «починками»; четыре года спустя ему же пришлось продать кириллово-белозерским отцам еще 4 деревни: а тем временем в 1558–59 гг. те же отцы купили у другого Ухтомского село Никитино и 21 деревню. И опять это был не конец: четыре года спустя этот другой Ухтомский занимает у монастыря 290 руб., «а заложил в деньгах село Семеновское с 13 деревнями и всеми угодьями». По тогдашнему залоговому праву монастырь за процен-

ты эксплуатировал вотчину: заложивший имение помещик должен был из него «вывестись», а на его место въезжал монастырский приказчик, который отныне и собирал все доходы на монастырь. Это была, таким образом, мертвая петля: через два года село Семеновское было уже полной монастырской собственностью. А еще три года спустя мы видим тот же монастырь покупающим имение еще третьего Ухтомского. Так экспроприровалась понемногу целая удельная династия, и, когда пришла опричина Грозного с ее массовыми конфискациями удельных земель, ей пришлось, в сущности, только доделывать то, что давным-давно, тихо и скромно, без казней и опал, было начато смиренными иноками.

Ближайшим, географически, к капитализму княжескому и монастырскому был тот способ первоначального накопления, который был тесно связан с древнерусской финансовой системой. Жалуясь на запустение земли, древнерусские люди, рядом с «ратями», войною, постоянно упоминают «продажи» — уголовные штрафы. Эти штрафы (о них, как об историко-юридическом явлении, будет идти речь ниже) в Киевской Руси были одним из главных источников обогащения княжеской казны, если не считать войны. Другой подобный же источник, «дань» — т. е. прямые налоги, — был в те же времена еще гораздо менее централизован. Централизация дани сделала крупный шаг вперед со времени татарского завоевания. Как раз от этой эпохи мы и имеем первый образчик «финансового» накопления. Под 1362 г. летопись рассказывает, как откупщики податей своими «резами», т. е. процентами, поработили «многие души христианские»: т. е. оказывая населению, не располагавшему большим количеством наличных денег, кредит на очень тяжелых условиях, откупщики потом без зазрения совести продавали в рабство тех, кто не мог им уплатить в срок проценты. То была ростовщическая операция очень крупного стиля, летопись говорит об этом, как об общерусском явлении. Но откупщики были «бесурмене» — на русской почве происходило накопление татарского капитала, хотя, легко может статься, он и оставался потом в России, ссужаемый «в гостьбу» русским купцам. Это было, однако же, только начало: с легкой руки татар отдача податей на откуп прочно укоренилась в Московской Руси. Особенно привилась откупная система к сбору питейного налога — продажа водки уже с Ивана III была царской монополией; но и все другие косвенные налоги, например таможенный, также сдавались крупным торговцам или на откуп, или «на веру»; разница была в том, что откупщик сам должен был запасать товар и, кроме того, обязывался внести в казну

определенную сумму — иначе говоря, должен был располагать уже порядочным капиталом, чтобы приняться за свое дело, тогда как «верный» (присяжный) сборщик получал водку от казны и не был связан строго определенным платежом — с него требовали лишь примерно такой доход, который казна привыкла получать; иными словами, «верная служба» была доступна и мелким капиталистам, не только крупным, как откупа. Но наживанию крупных капиталов «верные сборы» помогали несколько не меньше — их тоже приходится рассматривать как один из способов первоначального накопления. О размерах последнего дают понятие размеры отдельных откупов, какие нам известны. В 1630-х гг. за одним неважным провинциальным откупщиком по документам можно насчитать разных сборов до 6 000 руб. тогдашних — 35–40 тысяч руб. теперешних. Обычной нормой предпринимательской прибыли тогда было 20 %: этот средний московский буржуа «зарабатывал», таким образом, семь-восемь тысяч рублей; причем мы отнюдь не можем быть уверены, что это *весь* его доход и что в документах (податных) этот доход не показан ниже настоящего. Иностранцы дают гораздо более высокие цифры для откупных операций: по их словам, только *три* новгородских кабака давали ежегодно до ста тысяч рублей на теперешние деньги; в Москве были отдельные кабаки, сдававшиеся за десять и даже за двадцать тысяч рублей тогдашних (65–130 тысяч нынешних). «Откупщик» в Московской Руси был уже синоним «крупного капиталиста», каким он оставался почти вплоть до эпохи освобождения крестьян. Благодаря нашей классической литературе, он остается для нас таким и до сих пор, через шестьдесят лет после уничтожения откупов: читатель уже, наверное, вспомнил крыловскую басню «Откупщик и сапожник» и гоголевского Муразова.

В экономической литературе гораздо большее значение, чем всем, до сих пор перечисленным, источникам торгового капитала, придается *земельной ренте*. «Известно, что первоначальной формой капитала, в который превращаются накопленные земельные ренты, является торговый *денежный* капитал», — говорит, например, один из новейших исследователей аграрной *эволюции* России. Как раз в России, однако же, наживание этим путем шло медленнее, нежели многими другими. Земельная рента могла послужить источником образования крупного капитала в двух случаях: или когда помещик вел крупное хозяйство для рынка, или когда он посредством *оброка* извлекал денежный доход из большого числа мелких хозяйств. Но случаи крупного, предпринимательского, сельского хозяйства для XVI–XVII вв. у нас наперечет — массовым

явлением такое хозяйство становится гораздо позже, в первой половине XIX в. К этому времени торговый капитал уже давным-давно существовал и успел уже отчасти превратиться в промышленный. Что же касается денежного оброка с крестьян, то хотя он и существовал у нас в XVI и даже в конце XV в., но распространен он был только на монастырских да на «черных», государевых землях. Он тут помогал накоплению, давно уже шедшему другими путями. В светских руках оброчных имений было гораздо меньше. Там, однако же, где в одних руках сходилось оброку много, мы наблюдаем именно то явление, которого ожидают экономисты. В числе кредиторов упоминавшегося выше Мярша, обанкротившегося английского купца XVI в., мы встречаем не только государя, не только гостей и тортовых людей и монастырского старца Иону, но и бояр, и дворян. Самым крупным кредитором и был как раз боярин Борис Феодорович Годунов, предъявивший на Мярша две «кабалы» (векселя), одну на 5 700 руб., другую на 3 000. Всего Борис Феодорович вложил в предприятие неудачника-англичанина, на наши деньги, до 225 000 руб. — целое состояние даже и по теперешним понятиям. На этот капитал, как видно из кабал, он рассчитывал получить 20 % чистого барыша. Годуновские деньги взыскивались потом с Мярша так же полностью, как и царские: но это было индивидуальное исключение в пользу влиятельного царского родственника; другие землевладельцы должны были довольствоваться половиной, наравне с купцами; среди них были тоже весьма крупные кредиторы — например, дворянин Роман Пивов, давший Мяршу 2400 руб. (60 000 теперешних). Это соединение в одном лице крупного землевладельца и крупного капиталиста провожает нас и позже, через весь XVII в., вплоть до петровской эпохи. В XVII в. ярким образчиком этого типа были Строгановы, владельцы огромных вотчин и оптовые торговцы солью в то же время, вероятно, самые богатые люди тогдашней Руси: их ежегодный оборот был, на наши деньги, значительно более миллиона, а чистый доход — тысяч триста, что, по тогдашнему уровню прибыли, равнялось капиталу миллиона в полтора. Документы, на которые опирается этот расчет (податные), дают, несомненно, *минимальные* цифры: на самом деле строгановское состояние было раза в два больше. Россия времен Михаила Федоровича (цифры относятся к 1630 г.) уже знала, таким образом, настоящих миллионеров. Во времена Петра крупнейшее промышленное предприятие — шелковая мануфактура с основным капиталом до миллиона рублей на наши деньги — принадлежала также трем крупным помещикам: адмиралу Апрак-



сину, вице-канцлеру Шафирову и Петру Толстому. Можно, однако, сомневаться, чтобы собранный ими капитал был результатом накопления ими земельной ренты; скорее, он прямо или косвенно происходил из царской казны.

Всего меньше играла роль в накоплении — и всего позже начала эту роль играть — собственно *торговля*, торговый барыш. Торговля, даже заграничная, очень долго носила ремесленный характер. Для оценки ее размеров в киевско-новгородскую эпоху (XI—XIV вв.) у нас есть весьма любопытный документ. Это уставная грамота, данная князем Всеволодом Мстиславичем (внуком Мономаха) новгородской церкви св. Ивана на Опоках. Первоначальная ее редакция относится к 1135—1136 гг., но до нас она дошла в тексте конца XIV в. Ею утверждались привилегии гильдии новгородских купцов, торговавших воском и группировавшихся, как вообще группировались средневековые торговцы, около *церкви* Иоанна Предтечи — такие церкви в то время служили обыкновенно и торговыми складами. При церкви Ивана на Опоках стояли и *весы*, на которых вешали воск, — и главная привилегия «иванского» купечества в том и состояла, что исключительное право вешать воск для всего новгородского рынка принадлежало ему. Тут же, как при самой старой и почтенной купеческой корпорации, был и торговый суд, но члены его избирались не только «иванскими» купцами, а и всеми новгородскими торговцами («житьими людьми»). Так вот, из этой грамоты мы узнаем, что членом «иванской» корпорации мог быть всякий, кто в состоянии был внести 75 гривен серебра — 50 гривен как свой торговый пай, а 25 гривен — в казну св. Ивана. Гривна серебра, как мы упоминали выше, это около 100 руб. теперешних — торговый пай «иванского» купца, члена самой богатой влиятельной гильдии Новгорода, не превышал, таким образом, 5 000 рублей — вкладного пая артельщика большой биржевой артели начала XX в. Из иностранных источников мы знаем, что и капитал немецкого купца тех дней, торговавшего с Новгородом, составлял около 10 000 марок на нынешние деньги — те же 5 000 руб.: можно думать, что русский устав в этом пункте подражал заграничным образцам. С такими капиталами велась тогда *оптовая* торговля! Что представляла из себя розничная торговля, даже в несравненно более позднее время, показывают слова одного иностранца, видевшего Москву XVII столетия: «большая часть лавок так малы и узки, что продавец еле может повернуться среди своих товаров». По его же отзыву, «из одной амстердамской лавки того времени можно было бы сделать десять и даже больше — московских».

А накопление чисто купеческого капитала к XVII в. все же сделало большие успехи. Для учета московского торгового капитала времен Михаила Федоровича, 1620–40-х гг., у нас есть очень солидный источник в документах, касающихся взыскания *пятой деньги*, экстренного подоходного налога с торговли и промыслов, взимавшегося в размере 20 % с торгового оборота. Организация сбора была поручена московским «гостям» крупнейшим капиталистам в государстве: совершенно ясно, что себя «гости» оценили наивозможно дешевле — так что для крупнейшего капитала того времени мы имеем цифры минимальные и, вероятно, даже ниже минимума. Зато по всей стране данные о «пятинных деньгах» должны быть близки к действительному положению вещей, в особенности, если брать не абсолютные цифры, но отношение, сравнивая результаты пятинного сбора за разные годы. Для 1616–17 гг. сбор «пятой деньги» дал по всей России около 200 000 руб. на тогдашние деньги — около 1 400 000 руб. на теперешние. Это составляло  $\frac{1}{5}$  всего московского торгового оборота — весь он, значит, был около 7 млн на наши деньги. Восемнадцать лет спустя тот же сбор дал уже 300 000 руб. — 2 100 000 наших: другими словами, за первую половину царствования Михаила Федоровича русский торговый капитал вырос в полтора раза, торговые обороты повысились с 7 млн руб. до 10,5. На первом месте по оборотам стояла Москва — не меньше 3 150 000 руб., но надо иметь в виду, что как раз московские капиталисты имели наибольшую возможность скрывать свои обороты. На втором — Казань, с оборотами несколько ниже миллиона, на третьем — Ярославль, несколько больше полумиллиона (мы везде считаем на теперешние деньги), лишь на четвертом — Нижний, торговля которого в те дни достигала едва половины торговли Ярославля. Немного выше Новгорода Нижнего стоял Новгород Великий (до 350 000 руб. наших), и совсем низко старый торговый центр Северо-Запада, Псков, которому дорого обошлась социальная борьба, достигшая чрезвычайного обострения со время Смуты: обороты Пскова стояли ниже даже Калуги и едва превышали, на теперешний счет, сто тысяч рублей. Чтобы придать этим цифрам большую наглядность, их можно сопоставить, во-первых, с государственным бюджетом: бюджет Московского государства середины XVII столетия доходил до 1 300 000 руб. (9 млн теперешних), а обороты торговли — до полутора миллиона (более 10 млн теперешних). В конце XIX столетия обороты русской торговли несколько превышали 10 млрд руб., — а наш бюджет тогда составлял полтора миллиарда. В конце XIX в. бюджет составлял только 15 % всего торгового обо-

рота, а в середине XVII почти 90 % по минимальной оценке этого оборота и, вероятно, не менее 60 % по настоящей. Во-вторых, можно сравнить торговлю Московского государства с торговлей средневековой Европы. В XIV в., в дни расцвета ганзейской торговли, ежегодные обороты Любека составляли 4,5 млн марок на теперешние деньги, Гамбурга — 3,5 Штральзунда — более 3, четырех главных городов ганзейского союза вместе взятых — 15,5 млн марок — около 7,5 млн руб. Как видим, торговля Московского государства середины XVII в. не уступала торговле ганзейского союза XIV, и Москва торговала вдвое шибче, чем средневековой Любек. В то же время на каждого российского обывателя конца XIX в. приходилось торгового оборота на 7 руб. 70 коп., а на каждого подданного царя Михаила Феодоровича всего около 65 коп. Московское государство далеко уже не было страной «натурального» хозяйства, но *концентрация капитала в царской казне далеко превышала концентрацию его в частных руках*; и московские «гости» были представителями торгового капитализма не столько по своим личным достаткам, сколько как царские агенты или откупщики казенных доходов. Все казенные монополии фактически были в их руках — и по поводу, например, торговли хлебом, голландским уполномоченным приходилось разговаривать не столько с боярами и дьяками, сколько с «гостем» Надеем Светешниковым. «Гости — царские коммерции советники и факторы, они неограниченно правят торговлей во всем государстве», — говорит неоднократно нами цитированный иностранный наблюдатель русской торговли XVII в. (Кильбургер). — «Они рассеяны по всему государству и во *всех* местах по своему званию пользуются привилегией покупать первыми хотя бы они действовали и не за царский счет. Так как они одни, однако же, не в состоянии оправиться со столь широко раскинувшейся торговлей, то во всех городах у них есть подставные лица, в лице двух или трех из проживающих там виднейших купцов, которые в качестве царских факторов пользуются привилегиями „гостей“ хотя не носят этого имени, и ради своей частной корысти всюду причиняют различные стеснения торговле. Простые купцы замечают и знают это очень хорошо, говорят о „гостях“ плохо, и можно опасаться, что, в случае восстания, чернь всем „гостям“ свернет шею».

Как ремесленники XVI–XVII вв. были зачатком *мелкой буржуазии* в России, так «гости» были зачатком *буржуазии крупной*. В Московском государстве этой эпохи намечаются уже, таким образом, *общественные классы* — московское общество было классовым обществом. Привыкнув считать Московскую Русь исключительно

боярской и дворянской страной, историки долго не замечали нашей старинной буржуазии как общественной силы. Выходило так, что *приняли* исключительно землевладельцы, как и в древнейший период. «Посадские» (городское население) изображались как забитый, задавленный элемент общества, который только и делал, что терпел всякие напасти и всяческое угнетение от своих дворянских правителей. Теперь больше рисовать такой картины нельзя. Мы сейчас видели, что иностранцам, выдавшим Москву XVII в., «гости» представлялись угнетателями, а не угнетенными, — а еще раньше мы видели, что «гости» играли большую роль в финансовом управлении: от них зависела раскладка такого важного налога, как «пятая деньга». Люди, имевшие такое большое значение в повседневном быту, должны были явиться серьезной политической силой в критические минуты существования Московского государства. Так и было: *ни при одном перевороте в Москве, в XVI—XVII вв., и даже ранее, дело не обходится без участия буржуазии.* Уже в XIV в., при нападении на Москву Тохтамыша, город защищают «посадские» — без князя, потому что Дмитрий Иванович Донской бежал на Север; в следующем столетии захват Иваном III Новгорода сопровождался такими шагами московского правительства (перевод новгородских купцов насильно в Москву и закрытие немецкого двора), которые ясно показывают буржуазную подкладку всей московской политики в этом вопросе: недаром расправа с новгородцами была так популярна среди москвичей. Но полного расцвета влияние московской буржуазии достигает при внуке Ивана III, Иване Васильевиче Грозном. То, что раньше изображалось как результат дворцовых интриг, при ближайшем рассмотрении оказывается крупными народными движениями, причем «народ» здесь — это именно буржуазное население Москвы, московские «посадские». Опираясь на них, держались так досадившие Грозному в юности его опекуны, князья Шуйские: семья Шуйских, владевшая множеством промышленных вотчин в нынешней Владимирской губернии, всегда была тесно связана с буржуазными кругами. Когда Шуйские были низвергнуты, московский посад, в свою очередь, низверг и убил их врагов и преемников, князей Глинских: этот московский бунт 1547 г. был исходной точкой так называемых «реформ Грозного». В том перевороте 1564 г., который избавил Грозного от опеки боярства, московская буржуазия принимала самое живое участие. К ней была обращена царская грамота, обличавшая бояр в разных злоупотреблениях: летопись определенно говорит, что Грозный прислал грамоту *«к гостям и к купцам и ко всему православному христианству г. Москвы»*,

и читали грамоту «перед гостями и перед всеми людьми». Когда в результате государственного переворота 1564 г. была учреждена опричина, все крупные торговые города были причислены к ней, а вскоре после верхушки московского купечества получили и специальную награду: в 1566 г. «царь и великий князь отпустили *со своею бологодетью от своей казны* своих гостей и купцов в поморские государства» — в Антверпен, в Персию и в Англию. Это одно из первых указаний на тесные связи московской царской казны и московского торгового капитала, какое мы встречаем. При преемниках Грозного влияние крупного московского купечества еще усиливается — в 1587 г., например, «гости» вмешиваются в весьма деликатное дело о разводе Феодора Ивановича с его женою, царицей Ириною, сестрой Годунова. При неудаче этого дела некоторые из «гостей» заплатились своими головами — но самая попытка купцов вмешаться в царские семейные дела показывает, как велико было их политическое значение. Их противник в этом именно деле, Борис Годунов, сам был тесно связан с коммерческими кругами, как мы видели выше, а еще теснее был с ними связан царь Василий Шуйский. Этого и на престол посадило купечество — «купцы, сапожники и пирожники» были, по презрительному отзыву одного иностранца, главными действующими лицами при избрании Шуйского царем. Четыре года помощью «посадского» населения Шуйский держался против своих врагов, — как он сам это признал, рассылая похвальные грамоты вологжанам, белозерцам, устюжанам, каргопольцам, сольвычегодцам, тотьмичам, важанам, двинянам, костромичам, галичанам, вятчанам «и иных разных городов старостам и посадским людям». Перечень городов любопытен с точки зрения коммерческой географии Московского государства: мы видим сплошь города *северные*, расположенные по водным путям от Москвы к Белому морю. Со времени «открытия» англичанами России, в XVI столетии, и до Петра Великого вся русская заграничная торговля шла через Архангельск — Северная Двина была самым бойким торговым путем, и нынешние Архангельская и Вологодская губернии местностями наиболее развитого денежного хозяйства. В этом отношении с Двиною могла поспорить только Волга — такая же столбовая дорога на восток, к Каспийскому морю, и в Сибирь, с ее меховыми богатствами, как Двина на запад, в Европу. Когда северные города были окончательно истощены, а Московский посад бросил Шуйского, он пал, и на царском престоле временно утвердился боярско-дворянский кандидат, царевич Владислав: но и при нем «гости» продолжали держаться у власти, и «торговый мужик» Федор Андронов

был самым влиятельным лицом в государстве, к великой зависти и конфузу бояр и дворян. А во главе сопротивления Владиславу стали теперь города *поволжские*, на первом месте Нижний Новгород; они и сформировали ополчение, выгнавшее из Москвы *поляков* и посадившее на царство Михаила Феодоровича Романова. Как говорит одна современная грамота, «в Нижнем Новгороде *гости* и все земские *посадские люди*, ревнуя по боге, по православной христианской вере, не пощады своего имения, дворян и детей боярских смольян и иных многих городов сподобили неоскудным денежным жалованьем». При этом роль «всех земских посадских людей», ремесленной массы, была более пассивная: во главе движения мы всегда встречаем «гостей», откупщиков и тому подобных представителей *торгового капитала*. Политическое значение этого последнего засвидетельствовано каждой страницей истории Смуты, и самым выразительным памятником этого значения осталась присяга, данная царем Василием Ивановичем Шуйским: «...у гостей и у торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отнимать, будет с ними они в той вине невинны». Этим на московское *купечество* распространялась привилегия, которой из подданных московского царя пользовалось только *боярство*: как у боярина вотчину, так нельзя было по произволу отнять у купца его лавку<sup>5)</sup>.

Влиятельный внутри государства, торговый капитал был едва ли не еще более влиятельным во *внешней политике*. Объектом этой последней для Московского, как и для всякого средневекового, государства были или захват новых *земель* или захват *торговых путей*. В первом случае она отвечала классовым интересам землевладельцев, *бояр и дворян*: такой войной были казанские походы Грозного и все войны с Литвой и Польшей, и тогда, и раньше, и после. Если торговые интересы в них и были замешаны, то на втором плане. Но в XVI в. мы имеем большую войну, *ливонскую войну* Грозного, где торговый интерес играл самую главную роль, ибо это была война не столько за новые земли, сколько за балтийские гавани, одна из которых, Нарва, уже тогда очень много значила для русского экспорта. Но Грозный хотел захватить и Ревель, — а если можно, и Ригу. Обширность плана и была причиной его неудачи: ни Польша, ни Швеция не могли помириться с тем, чтобы юго-восточное

<sup>5)</sup> Из дальнейшего читатель увидит, что *практического* значения дарованная Шуйским гарантия не имела — ни для бояр, ни для купцов: но для нас важно, что те и другие *юридически* были поставлены на одну доску. См. часть II.

побережье Балтийского моря перешло к Москве. Последней пришлось вести не одну, а много войн, и с тою и с другою, прежде чем надежды московского купечества XVI в. стали совершившимся фактом. Но, пока этого не случилось, московская политика полтора столетия под-ряд неоднократно возвращалась к этой задаче. И величайшая из русских войн XVII—XVIII вв., так называемая Великая Северная война, вдохновлялась именно *торговой* идеей, формулированной за пятьдесят лет до нее одним торговым человеком, хотя не русским, но хорошо понимавшим коммерческие отношения, существовавшие в ту пору на востоке Европы. Этим человеком был шведский торговый агент де-Родес, еще в 1650-х гг. доказывавший своему, шведскому, правительству, насколько более было бы в интересах торгового капитала, чтобы заграничная торговля России шла через Балтику, а не через Белое море, как это тогда было на деле. На Белом море, где навигация возможна только 3—4 месяца в году, капитал мог обернуться только однажды в год, а на Балтийском, где навигация прерывается только на 3—4 месяца, капитал мог иметь в течение года двойной или тройной оборот — принимая во внимание, что и расстояние от берегов Балтики до портов западной Европы вдвое менее, чем от Архангельска. Де-Родес заботился об интересах шведской торговли, но его теория совершенно годилась и для русской, и русские сумели ее использовать в своих интересах лучше, чем шведы. По Ништадскому миру (1721 г.), и Рига, и Ревель стали русскими городами, на Финском заливе стал новый русский порт, Петербург, и старый кружной путь через Архангельск был заброшен — план де-Родеса осуществился. В то же время торговые интересы начинают не только *влиять* на русскую политику, но прямо *господствовать* в ней: при Петре Россия определенно вступает на путь *меркантилизма* — путь, наметившийся, впрочем, уже при его отце. «Во всех окрестных государствах *свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами*; остерегаются торги с великим береженьем и в вольности держать для сбора пошлин и для *всенародных пожитков мирских*», — писал в новом Торговом уставе Ордин-Нащокин в 1667 г. Действительно ли торговля — и притом заграничная, которую, главным образом, имел в виду Устав, — имела такое капитальное значение для русского народного хозяйства — «всенародных мирских пожитков» — это другой вопрос: но что русские политические деятели того времени вдохновлялись интересами торговли и были орудием в руках крупной буржуазии, это Нащокин доказал всей своею деятельностью в достаточной мере.

Но сознательное отношение к экономическим вопросам вовсе не составляло привилегии официальных кругов, к которым принадлежал Нащокин. И он далеко не был первым, кто об этих вопросах начал рассуждать. Первым, хронологически, памятником экономической мысли в России был известный «Домострой» — сочинение или по крайней мере компиляция духовника Ивана Грозного, протоппа Сильвестра. Из более интимного и несомненно принадлежащего последнему «Послания и наказания от отца к сыну» мы знаем, что протопоп был крупным коммерсантом. На него работало множество всякого рода ремесленников — «иконники, книжные писцы, серебряные мастера, кузнецы, плотники, каменщики, кирпичники, стенщики и всякие рукодельники»; он их кредитовал, а они должны были расплачиваться с ним или готовыми изделиями, как ремесленники в тесном смысле, например иконописцы, или своим трудом — как строительные рабочие. В «Послании» мы встречаем, таким образом, впервые на Руси *производство на скупщика* — ту раннюю форму промышленного капитализма, которая составляет теперь основу так называемых «кустарных промыслов». Передовой по своему времени предприниматель, протопоп Сильвестр, был, что еще более любопытно, первым насадителем у нас коммерческого и технического образования. Он обучал сирот и детей своих холопов «всяким многим рукоделиям — и иных всякими многими торговлями научил торговать». Одни из его воспитанников стали ремесленниками и лавочниками, а другие поднялись и до заграничного торгова: «многие гостьбу деют, в различных землях, всякими торговлями». С иноземцами вел торг и сам протопоп. У такого человека мы должны ожидать максимума экономической сознательности для своей эпохи. И действительно, Сильвестр много рассуждает на экономические *темы* и в послании, и в Домострое. Но эти рассуждения свидетельствуют, что практика у нас, как всюду, опережала теорию. Наш крупный предприниматель XVI в. еще с чисто средневековой пугливостью относится к кредиту: он хвастается тем, что никому не дал на себя *кабалы*, т. е. векселя. «Прасол», скупщик (а он сам был таким прасолом!) в его глазах существо зловерное, которого нужно остерегаться: у него поневоле и худое за хорошее купишь, да еще втридорога дашь. И «Домострой» настойчиво предупреждает своего читателя при каждом удобном случае, что закупать все нужно из первых рук, непосредственно у самих производителей. Но самому не следует упускать случая нажиться на перепродаже: «а коли чего изобильно запасено в де-



шевую пору, так во время дороговизны можно и продать; ино сам ел, и пил, и носил даром — а деньги опять дома!»

В общем мы, однако, не найдем у Сильвестра ясно формулированного понятия *торговой прибыли*. «Домострой» — памятник экономической идеологии городского, ремесленного хозяйства, хотя сам Сильвестр на практике был уже представителем торгового капитализма. Зато торговля ради прибыли отчетливо рисуется другому писателю, такому же самородному экономисту, как и Сильвестр, но стоящему не в начале, а в конце изучаемого периода, — современнику Петра В., *Посошкову*. Он уже не ограничивается советами — перепродавать с барышом, что дома оказалось лишним, а рекомендует торговать и тем, чего сам не употребляешь — производить исключительно ради торговли. В России можно разводить табак, так строго осуждавшийся добродетельными людьми Московской Руси: отчего бы нам не завести «табачные заводы, и столько бы нам можно его напасти, что за море кораблями можно было бы его отпускать». В России он обойдется не дороже копейки фунт, а за границей его продают по тридцати копеек: «нам так можно его размножить, что *миллионная от него прибыль будет*». И Посошков не чужд воспоминаний о ремесленном производстве: он бредит иногда «справедливой ценой», осужденной еще московскими калачниками времен Михаила Феодоровича, и с любовью вырисовывает ряд совершенно детских полицейских мероприятий, имеющих целью принудить купцов брать «настоящую цену». Но он уже не боится кредита и толкует о ссудах купцам, за 6 %, из царской казны: практически, мы знаем, такие ссуды получали купцы уже при Иване Грозном, а теория добралась до них только при Петре Великом. У него уже ясно намечается тот пункт, где *торговый капитализм переходит в промышленный*. «Кои материалы, где родятся, тамо бы и в дело происходили. Если бы лен и пеньку, за море не возя, делать тут, где что родилось, то полотно обходилось бы вдвое или втрое дешевле заморского, а люди бы *российские богатились*». Центральная мысль развитого меркантилизма — так называемого «кольбертизма», — что нужно сбывать за границу не сырье, а фабрикаты, была уже отчетливо осознана при Петре, и теория здесь опять только с трудом поспевала за практикой: изучая развитие промышленного капитализма в России, мы увидим, что вся система петровских мануфактур была направлена на завоевание заграничного рынка. И в те дни, когда сам царский двор походил на купеческую контору, совсем не новостью звучал панегирик Посошкова тому самому прасолу, от которого так пугливо сторонился еще прасол Сильвес. Но,

не новые сами по себе, слова Посошкова заслуживают того, чтобы их привести как памятник самосознания, до которого поднялась русская буржуазия на пороге XVII и XVIII вв.: «Без купечества никакое не только великое, но и малое царство стоять не может. Купечество и воинству товарищ: воинство воюет, а купечество помогает и всякие потребности ему уготовляет... Как душа без тела не может быть, так и воинство без купечества пробыть не может. И царство воинством расширяется, а купечеством украшается». Никогда эти слова не были так кстати, как во время Великой Северной войны. Только параллель Посошкова без ущерба для исторической истины можно бы перевернуть: в петровской политике роль души приходилась на долю купечества, а воинство было телом, той материальной силой, которая «уготовляла потребности» торговому капиталу.

### Библиография

Для истории русской торговли, кроме соответствующих глав в упоминавшихся выше трудах *Аристова*, *Довнар-Запольского* и *Никитского*, занимающихся торговлей домосковского периода, специально для последнего основным пособием является «Очерк торговли Московского государства» *Костомарова* (том XX «Исторических монографий и исследований»). Написанный в 1862 г., «Очерк» в смысле свежести материала стоит на одном уровне с книгой Аристова. Имя Костомарова не должно обманывать читателя, превосходный рассказчик там, где приходилось излагать события, Костомаров был совсем не мастер рисовать широкие культурные картины. «Очерк», за исключением нескольких страниц повествовательного характера, — очень сухая книга, годная более для справок, чем для чтения. Анализ совершенно отсутствует, фактический материал сведен в несколько рубрик чисто внешнего характера, напр, «предметы царства ископаемого», «предметы царства растительного» и т. п. Для отдельных сторон «накопления» о княжеских капиталах много, но не всегда удачно, *говорит проф. Довнар-Запольский*; О роли монастырей, кроме соответствующих мест в книге проф. *Рождественского* «Служилое землевладение в Московском государстве XVI в.» (Спб., 1897) (оттуда взяты приведенные в тексте примеры экспроприации монастырями удельных династий), см. особенно превосходно написанный маленький очерк *Ключевского* «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря» (написанный еще в 60-х гг., перепечатанный в «Опытах и исследованиях»: М., 1912). Ни тот ни другой не ставят себе специальной задачей исследование роли монастыря и вообще церкви, как *банкира*. О значении *земельной ренты* можно читать в книге *П. И. Лященко*: Очерки аграрной эволюции России. Т. I. Спб., 1908 (глава II — где есть и вообще о торговом капитале в Московской Руси). Данные о размерах торговых оборотов и торгового капитала в Московском государстве первой

половины XVII в. заимствованы из статьи г. *Сташевского* «Пятна 142 г. и торгово-промышленные центры Московского государства» (Журн. Минист. народн. просвещения. Апрель—май 1912 г.). Перевод цен XVI—XVII вв. на современные сделан очень приблизительно, на основании известного исследования *Ключевского* о русском рубле XV—XVIII вв. (перепечатано в названном издании «Опыты и исследования») и имеющихся в литературе данных о количестве серебра в русском рубле различных эпох, ибо у *Ключевского* дана сравнительная покупательная сила не реальных, металлических рублей, а монетных единиц, носивших название «рубль» и весивших, напр., в XV в. несколько менее четверти фунта, в XVI —  $\frac{1}{6}$  фунта и т. д., пока в начале XVIII в. они не приблизились к теперешнему весу. О Посошкове см. *Брикнера*: Иван Посошков. I. Посошков как экономист. Спб., 1876. Ценны, почти исключительно, одни цитаты. Там же и о «Домострое», во Введении. Для *заграничной торговли*, которой мы почти не касаемся в настоящем очерке, см. обстоятельное изложение *Никитского*, для древнейшей эпохи, и XIV главу тома III нашей «Русской истории с древнейших времен», для московской эпохи; кроме цитированного там исследования *Кордта* о русско-голландской торговле XVII в. (116 том «Сборника Русского Исторического Общества»), теперь можно назвать еще книгу г-жи *Любименко* об английской компании в Москве в XVI в. Из более новых работ можно назвать: *Е. З. Вулих* «Из мира торговых отношений в Москве XVII в.» (Россия и Запад. 1923, 1).

## Крепостное хозяйство

Уже к восемнадцатому веку торговый капитал в России вполне завладел процессом *обмена*. Но *производство* стало у нас капиталистическим лишь гораздо позже — не ранее второй половины девятнадцатого столетия. До этого времени, в промежутке, хронологическими границами которого являются, с одной стороны, реформы Петра (1690–1720 гг.), с другой — реформы Александра II (1860–1870 гг.), в России господствовал смешанный тип хозяйства: на капиталистических началах обменивались продукты не капиталистического ремесленного производства — преимущественно продукты крестьянского труда. Крестьянин, самостоятельный мелкий производитель, продавал добытое им сырье — хлеб, лен, пеньку и т. п. — купцу, который, сосредоточивая в своих руках массу этого сырья, являлся уже не мелким, а крупным сбытчиком. Крестьянин и раньше, как мы знаем, работал не только для собственного потребления, но и для рынка. Но это был мелкий местный рынок, на который крестьянин являлся со своими продуктами сам и продавал их тем, кто в них нуждался, без посредников: если при этой торговле и получался какой-нибудь «торговый барыш», он попадал в карман тому же крестьянину. Притом этот барыш был случайностью: как общее правило, ремесленное производство не знало прибыли. Целью всей деятельности купца была именно прибыль. Чтобы поучить ее, он должен был покупать как можно дешевле, продавать как можно дороже. Сырье, дешевое в России, было уже очень дорого тогда в Западной Европе и до 20-х гг. XIX в. все дорожало: пшеница, например, стоившая в Англии в восемнадцатом столетии средней ценою  $40\frac{2}{3}$  шилл. за квартал (около 12 русских пудов), в 1801–1810 гг. стоила уже 74 шилл., в 1811–1820 гг. — уже 87,5 шилл. и лишь к 1821–1830 гг. упала до 59,3 шилл. за квартал, т. е. все же оставалась почти в полтора раза дороже средних цен восемнадцатого века. Ниже этих последних она спустилась только к концу девятнадцатого столетия (1881–1890 гг. — 35,8 шилл.

за квартал, 1891—1885 — даже 27,9 шилл.). Совершенно естественно, что русская торговля сырьем в XVIII—XIX вв. стремилась стать все более и более *заграничной* торговлей: внутренняя торговля у нас была уже достаточно развита во второй половине XVIII в., но крупно-капиталистический характер она приобретает только с появлением парового транспорта, преимущественно после 1861 г. Ранее этого русский купец-капиталист — главным образом экспортер или человек, так или иначе работающий для экспорта. Оставаясь в пределах того же примера, *пшеницы*, мы для роста русского экспорта имеем такие цифры: 1801 г. — 6 836 000 пуд.; 1820 г. — 13 873 000 пуд.; 1830 г. — 25 506 000 пуд; затем, под влиянием падения цен с 20-х гг., вывоз начинает падать — и до 1850 г. остается на уровне 20—25 млн пуд. ежегодно; с новым подъемом цен в 40-х гг. вывоз достигает 41 911 000 пуд. в 1860 г. и 96 594 000 пуд. — в 1870 г. За семьдесят лет вывоз пшеницы из России увеличился, таким образом, *в пятнадцать раз*.

Но купцу-капиталисту нужно было, как мы сказали, не только возможно дороже продавать, но и возможно дешевле покупать: он стремился отобрать продукт у крестьянина по минимальной цене. Само собою разумеется, что было бы странно ожидать от крестьянина уступчивости в этом вопросе по его, крестьянина, доброй воле. Его нужно было заставить продавать свой хлеб за грош. Отчасти этого достигало косвенными мерами государство, — как мы видели, находившееся под сильнейшим влиянием торгового капитализма: с ведома и разрешения государства откупщики спаивали народ, пропивавший при этом не только хлеб, но и всякое вообще свое имущество. Но на подобных вспомогательных средствах хозяйство торгового капитализма держаться, конечно, не могло: ему нужна была система. Эту систему он нашел готовой в лице *крепостного права*. Помещик охотно взялся выжимать из крестьянина «прибавочный продукт» — на условии, конечно, «участия в прибылях». Помещик получал добрую долю торгового барыша в свою пользу (купцы жаловались, что даже слишком добрую — им мало оставалось), а за это поставлял на рынок до возможного предела удешевленный хлеб. Это была далеко не такая простая операция — пришлось приспособить весь механизм помещичьего хозяйства к этой цели, превратив имение в «фабрику для производства хлеба». Таким путем на русской почве сложился совершенно своеобразный тип хозяйства. Именно его застала реформа 19 февраля: когда мы говорим о «крепостном праве», именно его мы вспоминаем, как наиболее к нам близкий и нам знакомый образ-

чик крепостного права. Отсюда и будет правильно назвать этот тип *крепостным хозяйством* по преимуществу.

Когда мы теперь стараемся себе представить большое барское хозяйство крепостной эпохи, нам рисуется картина огромного предприятия — множество рабочего скота, машин и т. д., только вместо наемных батраков около всего этого хлопчут крепостные, не нанятые, а купленные владельцем предприятия. Нет спору, что мечта о таком хозяйстве не была чужда нашим старинным помещикам. Среди них встречались такие, которые не прочь были бы всех своих крестьян превратить в крепостных батраков — не оставить им ни пяди земли, поселив их всех при усадьбе и выдавая им продовольствие от себя. Такие картинки мы встречаем и в художественной литературе конца XVIII в., например у Радищева, и у тогдашних писателей-агрономов, например у Рычкова. С другой стороны, из переписки Растопчина мы знаем о попытках помещиков начала девятнадцатого столетия выписывать из-за границы усовершенствованные сельскохозяйственные орудия, машины и машинистов. Много чертежей и описаний таких машин — тогда еще не с паровым, а с конным приводом — можно найти в тогдашних «Трудах вольного экономического общества». Но все это, как и печатавшиеся в тех же «Трудах» проекты «освобождения крепостных», было исключением, а не правилом. Интенсивное крупное хозяйство, как массовое явление, не старше у нас 1860-х гг. Ранее этого помещичье земледелие было настолько мало интенсивно, что даже такая элементарная мера, как *удобрение*, применялась далеко не везде. На нечерноземном севере к этому вынуждало качество почвы; как только леса бывали сведены и подсечное хозяйство оказывалось невозможным, быстро являлся вопрос, как же заставить землю родить хлеб? Первоначальным удобрением служила зола выжженного под пашню леса: как только ее не стало, пришлось искать ей заместителей, и покупка навоза ради удобрения встречается нам в единичных случаях уже в конце XVII в. Агрономы второй половины следующего столетия говорят о ней как об обычном явлении, но еще не менее обычно было и то, что крестьянская земля, особенно дальние полосы, не удобрялась вовсе. Это в нечерноземной полосе, где хлеб, как правило, не шел дальше *местного* рынка. Но настоящим районом «хлебных фабрик» были черноземные губернии, и здесь даже в 40-х гг. XIX столетия удобрения еще не знала не только крестьянская, но и барская земля. Немецкий путешественник Гакстгаузен, ездивший по России в половине 40-х гг., подробно описывает одно образцовое имение Казанской губернии,

за квартал, 1891—1885 — даже 27,9 шилл.). Совершенно естественно, что русская торговля сырьем в XVIII—XIX вв. стремилась стать все более и более *заграничной* торговлей: внутренняя торговля у нас была уже достаточно развита во второй половине XVIII в., но крупно-капиталистический характер она приобретает только с появлением парового транспорта, преимущественно после 1861 г. Ранее этого русский купец-капиталист — главным образом экспортер или человек, так или иначе работающий для экспорта. Оставаясь в пределах того же примера, *пшеницы*, мы для роста русского экспорта имеем такие цифры: 1801 г. — 6 836 000 пуд.; 1820 г. — 13 873 000 пуд.; 1830 г. — 25 506 000 пуд; затем, под влиянием падения цен с 20-х гг., вывоз начинает падать — и до 1850 г. остается на уровне 20—25 млн пуд. ежегодно; с новым подъемом цен в 40-х гг. вывоз достигает 41 911 000 пуд. в 1860 г. и 96 594 000 пуд. — в 1870 г. За семьдесят лет вывоз пшеницы из России увеличился, таким образом, *в пятнадцать раз*.

Но купцу-капиталисту нужно было, как мы сказали, не только возможно дороже продавать, но и возможно дешевле покупать: он стремился отобрать продукт у крестьянина по минимальной цене. Само собою разумеется, что было бы странно ожидать от крестьянина уступчивости в этом вопросе по его, крестьянина, доброй воле. Его нужно было заставить продавать свой хлеб за грош. Отчасти этого достигало косвенными мерами государство, — как мы видели, находившееся под сильнейшим влиянием торгового капитализма: с ведома и разрешения государства откупщики спаивали народ, пропивавший при этом не только хлеб, но и всякое вообще свое имущество. Но на подобных вспомогательных средствах хозяйство торгового капитализма держаться, конечно, не могло: ему нужна была система. Эту систему он нашел готовой в лице *крепостного права*. Помещик охотно взялся выжимать из крестьянина «прибавочный продукт» — на условии, конечно, «участия в прибылях». Помещик получал добрую долю торгового барыша в свою пользу (купцы жаловались, что даже слишком добрую — им мало оставалось), а за это поставлял на рынок до возможного предела удешевленный хлеб. Это была далеко не такая простая операция — пришлось приспособить весь механизм помещичьего хозяйства к этой цели, превратив имение в «фабрику для производства хлеба». Таким путем на русской почве сложился совершенно своеобразный тип хозяйства. Именно его застала реформа 19 февраля: когда мы говорим о «крепостном праве», именно его мы вспоминаем, как наиболее к нам близкий и нам знакомый образ-

чик крепостного права. Отсюда и будет правильно назвать этот тип *крепостным хозяйством* по преимуществу.

Когда мы теперь стараемся себе представить большое барское хозяйство крепостной эпохи, нам рисуется картина огромного предприятия — множество рабочего скота, машин и т. д., только вместо наемных батраков около всего этого хлопчут крепостные, не нанятые, а купленные владельцем предприятия. Нет спору, что мечта о таком хозяйстве не была чужда нашим старинным помещикам. Среди них встречались такие, которые не прочь были бы всех своих крестьян превратить в крепостных батраков — не оставить им ни пяди земли, поселив их всех при усадьбе и выдавая им продовольствие от себя. Такие картинки мы встречаем и в художественной литературе конца XVIII в., например у Радищева, и у тогдашних писателей-агрономов, например у Рычкова. С другой стороны, из переписки Растопчина мы знаем о попытках помещиков начала девятнадцатого столетия выписывать из-за границы усовершенствованные сельскохозяйственные орудия, машины и машинистов. Много чертежей и описаний таких машин — тогда еще не с паровым, а с конным приводом — можно найти в тогдашних «Трудах вольного экономического общества». Но все это, как и печатавшиеся в тех же «Трудах» проекты «освобождения крепостных», было исключением, а не правилом. Интенсивное крупное хозяйство, как массовое явление, не старше у нас 1860-х гг. Ранее этого помещичье земледелие было настолько мало интенсивно, что даже такая элементарная мера, как *удобрение*, применялась далеко не везде. На нечерноземном севере к этому вынуждало качество почвы; как только леса бывали сведены и подсечное хозяйство оказывалось невозможным, быстро являлся вопрос, как же заставить землю родить хлеб? Первоначальным удобрением служила зола выжженного под пашню леса: как только ее не стало, пришлось искать ей заместителей, и покупка навоза ради удобрения встречается нам в единичных случаях уже в конце XVII в. Агрономы второй половины следующего столетия говорят о ней как об обычном явлении, но еще не менее обычно было и то, что крестьянская земля, особенно дальние полосы, не удобрялась вовсе. Это в нечерноземной полосе, где хлеб, как правило, не шел дальше *местного* рынка. Но настоящим районом «хлебных фабрик» были черноземные губернии, и здесь даже в 40-х гг. XIX столетия удобрения еще не знала не только крестьянская, но и барская земля. Немецкий путешественник Гакстгаузен, ездивший по России в половине 40-х гг., подробно описывает одно образцовое имение Казанской губернии,



хозяин которого вдобавок был немец. У него на скотном дворе стояло *всего* несколько коров для молока, — а земли запахивалось ежегодно не меньше нескольких сот десятин. Гакстгаузен не без удивления отмечает эту особенность русского образцового хозяйства и при этом добавляет, что на черноземе это везде так: нигде не держат скота для удобрения, а только ради молока или как рабочую силу. О применении машин, не в виде опыта, а постоянно, деловым образом, в крепостных имениях, мы ничего не слышим ни от Гакстгаузена, ни от других очевидцев. По справедливому замечанию одного русского агронома времен Александра I, «первым, да и единственным капиталом» тогдашнего помещика были его крепостные крестьяне. К утилизации рабочей силы этих последних сводилась вся техника крепостного хозяйства. Рост прибавочного продукта достигался не теми или другими химическими или механическими усовершенствованиями, а исключительно эксплуатацией самой *личности* крепостного работника. Кто знаком с системой Тайлора, тот может довольно живо представить себе основную черту описываемой нами хозяйственной системы. Тайлор старается, как известно, в минимум времени извлечь из работника максимум «полезного» труда — не путем усовершенствования машин и т. п., а путем «усовершенствования» мускулов и нервов самого работника так, чтобы этот последний сам, лично, представлял собою идеальный рабочий механизм. Теоретики крепостного хозяйства работали над тою же самой задачей: только они имели дело не с индивидуальным работником, а с *тяглом*, т. е. с крестьянской семьей. Ибо *опорой крепостного хозяйства*, его, так сказать, основной ячейкой, была именно крестьянская семья, иначе говоря, — *мелкое самостоятельное крестьянское хозяйство*. К более или менее искусной организации повинностей крестьянской семьи сводилась вся «наука» крепостной агрономии — этой теме в XVIII и первой половине XIX вв. посвящались целые трактаты.

В центре этих повинностей стояла *барщина*. Уже в предшествующий период часть земли в деревне пахалась крестьянами не для себя, а на барина. Но сначала эта часть была очень невелика, и барская пашня не имела никакого коммерческого значения. Собиравшийся на ней хлеб шел отчасти на потребление самого барина с его дворней, отчасти, может быть, и на местный рынок — наравне с крестьянским хлебом; но размеры барской пашни XV и даже XVI столетия ясно показывают, что речь тут шла не о «сельскохозяйственном предприятии», во всяком случае. У самого богатого боярина, какого только мы находим в новгородских писцовых

книгах, собственной запашки было всего 37 десятин. В церковных и дворцовых селах времен Грозного и его отца крестьяне пахали на барина одну десятину из пяти или даже из шести. К концу XVI в. размеры боярской пашни заметно увеличиваются и доходят, в отдельных случаях, до 50 % всей площади пахотной земли. В первой половине XVIII в. пахать «десятину на десятину» считалось максимумом: известный историк Татишев, составивший в 1742 г. «Краткие экономические до деревни следующие записки», требует, чтобы каждое тягло («муж с женою») сработало на помещика «в каждом поле по десятине» (у Татищева была четырехпольная система); «притом смотреть, чтобы не менее крестьянину досталось земли мужу с женою десятины в поле». Во второй половине этого столетия не менее известный автор мемуаров, Болотов, считал 50 % барской пашни средней нормой, если не минимумом. «По большей части почитается за правило, — писал Болотов в своем „Наказе для прикащика“, составленном около 1770 г., — чтобы крестьянин столько же земли пахал на господина, сколько он для себя вспахать может или сколько под собою имеет, и потому следовало бы то число земли разделять пополам, сколько крестьяне силами своими вспахать и надлежащим образом в год уработать в состоянии, и одну половину оставлять ему, а другую на господина. *Легче и способнее сего для них быть уже не может, ибо часто случается, что они и гораздо более половины на господина пахнут*». В Каширском уезде, где жил Болотов, барская и крестьянская пашня при этом не разделялись — та и другая лежали чресполосно, половину полос крестьяне пахали на себя, половину на барина. Об организации *производства* и речи быть не могло — барскую пашню крестьяне пахали, как и свою, своими сохами и на своих, крестьянских, лошадях: только что разве барские полосы несколько тщательнее удобрялись, чем крестьянские, иной раз никогда не выдавшие навоза.

При такой системе капитальным вопросом для агрономов того времени было *поддержание в неприкосновенности крестьянского тягла*.

Уже Татишев требовал, чтобы «каждой крестьянин муж с женою» имели у себя 2 рабочих лошадей, 2 волоча (Татишев предпочитал их лошадям: «пахать лучше на волах плугом, а не сохою на лошади»), 5 боровов, 10 овец, 2 свиней, кроме того гусей и кур; «а кто пожелает иметь больше — дозволяется, а меньше вышеписанного положения отнюдь не иметь». Но это, наравне с запрещением разделов, был еще самый элементарный и, так сказать, консервативный способ ограждения помещичьих интересов. Татишев был

очень передовой по своему времени, но и очень трезвый и практический помещик, утопиями он не увлекался. Люди с более широким полетом фантазии шли гораздо дальше. Мало не давать развалиться наличным крестьянским семьям: нужно придумать такую форму крестьянской семьи, которая бы служила верной гарантией от распада. Такою задачей занялся управитель Царского Села, надворный советник и Вольного экономического общества член Федот Удолов. Кто знает что-нибудь о военных поселениях времен Александра I, тот, читая обширный удоловский трактат, напечатанный в трудах Вольного экономического общества, под скромным заглавием «Собрание экономических правил», не без удивления увидел, что организатор поселений, граф Аракчеев, ничего нового не выдумал: его мысли уже носились в воздухе за пятьдесят лет до него. Идеал Удолова — создать своего рода земледельческую армию, которая устремлялась бы на обработку барской пашни с таким же самоотвержением, с каким настоящая армия устремляется в бой с врагом. Сравнение с армией принадлежит не нам, а самому Удолову. «Прежде всего надлежит стараться, — пишет он, — чтобы земледельцы и бобыли о своих делах рассуждали так, что они не для своей только собственной пользы упражняются в земледелии и других принадлежащих для их звания трудах: но тем обязаны служить, во-первых, государю, потом помещику и всему обществу, и быть беспрекословными данниками, не воображая никаких в своем звании невозможных случаев. А притом представлять себе в пример военных людей, которые за отечество предаются во все опасности и жертвуют самую жизнь». Тягло было самой мелкой «тактической единицей», взводом этого земледельческого войска. Этот взвод должен был состоять, всегда и неизменно, из 6 мужчин и 6 женщин в возрасте от 17 и до 65 лет — более молодые и более старые не считались. Предлагалось стараться, чтобы тягло совпадало с семьей — состояло из отца с сыновьями, родных братьев или дяди с племянниками. Но это было не обязательно: «ежели три мужчины и женщин столько же и родства неимеющие между собою согласятся и определенное число окопа объявят, тех писать особым тяглом». С другой стороны, если во время переписи в семье оказывалось более шести человек возрастом свыше 17 лет, лишних писали «на праздные места в другие тягла» или формировали из них прямо новые тактические единицы. Как при этом поступали со «священными узами» брака, сыновней и родительской любви и тому подобным, Удолов не поясняет: он не был лицемером, а к сельскохозяйственному производству все это не имело

отношения. Зато *семейная дисциплина* была для производства очень существенна и поддерживалась в земледельческой армии со строгостью, истинно военной. Хозяин тягла имел право требовать беспрекословного себе повиновения со стороны всех остальных его членов. В случае непослушания он их наказывал, а если никакие наказания не помогали, он, с ведома сотского и управителя, мог выгнать непослушного из тягла. Таких выключенных «отдавали в солдаты или в черную работу, с зачетом в рекрута», т. е. попросту ссылали на каторгу. «А женщин выключенных, если они будут безмужние, отдавать, на прядильный двор и на фабрики». Само собою разумеется, что такое же наказание ждало и того, кто посмел бы нарушить общеармейскую дисциплину, будь он сам хозяин тягла. Было, например, строго предписано, сколько изб строить на усадьбе каждого тягла и где именно, где поставить баню, где хлев, где житницы. «А если кто самовольно построит, тот лишится всего, что имеет, и отдан будет в солдаты или в черную работу с зачетом помещику в рекруты». С еще большею неуклонностью предлагалось «искоренять» «злодеев и возмутителей». А «народными возмутителями» считались главным образом те, «кто будет такие положения, которые установлены для общей пользы и многими уже исполняются, толковать людям к исполнению невозможными и разорительными», а также те, «кто станет отводить людей от исполнения земских законов или помещиковых повелений». Удолов не только предвосхитил основную идею аракчеевских военных поселений, но предвидел и их судьбу.

Любопытно, что проектируя свою каторгу, Удолов вовсе не имел в виду какой-нибудь особенно тяжелой эксплуатации своих крестьян. Назначаемая им барщина ниже средней по тому времени: каждое тягло должно было получить 27 десятин пахотной земли, а на помещика обрабатывало только 6. При этом, кроме барщины, крестьяне никаких повинностей не несли: «Во всех определенных правилах земледельцы помещику никакими податями мы обязаны, а только должны исправлять определенные работы беспрекословно и неупустительно». За всем тем Удолов надеялся иметь доходу не менее 45 руб. с тягла, т. е. 7 руб. 50 к. (35—40 руб. теперешних) с мужской души. Это был доход совершенно исключительный по тем временам, когда 5 руб. оброка с души считались уже верхом блаженства для помещика и крайним разорением для крестьян. Удолов мог на то рассчитывать потому, что он, не ограничиваясь организацией крестьянского труда, предполагал чрезвычайно интенсивную земледельческую культуру: тщательное удоб-

рение, тройную вспашку и т. д. И это во всей его утопии было едва ли не самым утопическим моментом. Тот обрусевший немец, хозяйство которого наблюдал Гакстгаузен, воспроизвел удоловскую систему тягол с такой точностью, что невольно рождается мысль о заимствовании — маловероятном, если вспомнить, что Удолов писал в 1760-х гг., а Гакстгаузен ездил по России в 1840-х. Перед усадьбой, рассказывает последний, тянется обширная деревня, построенная с правильностью, можно сказать, военной. «Широкая, прямая улица разделяет ее на две части, пересекаемые, в свою очередь, не менее правильными переулками. Каждый четырехугольник заключает в себе пять крестьянских домов, обитатели которых, по отношению к барщине, которою они обязаны перед барином, составляют особый отряд работников (*une division d'ouvriers*). Г. фон-Пирх (фамилия помещика), который имел случай убедиться в могущественное влияние, какое имеет на умы крестьян чувство родства, позаботился соединить в одном и том же отряде, насколько возможно, членов одной и той же семьи или, по крайней мере, возможно более близких родственников. Тем охотнее они помогают друг другу не только в случае опасности, но и тогда, когда требуют взаимопомощи их текущие хозяйственные работы». В то же время, как мы видели, агрономия фон-Пирха принадлежала к самому экстенсивному типу, и удобрения его земли совсем не знали. Вспашка производилась деревянной сохой, без малейшего кусочка железа, а бороной служили просто несколько переплетенных сосновых сучьев. Выжимать прибавочный продукт из крестьянских мускулов было так легко и просто, к чему же было еще удручать себя заботами о сельскохозяйственной технике?

Как настоящий утопист, управитель Царского Села пренебрегал теми элементами «порядка», которые можно было найти готовыми на барщинном имении, не предаваясь сочинительству. Создавая искусственные семьи, он шел дальше, чем нужно было. Своеобразная классовая борьба, кипевшая в крепостной деревне, приводила к тому, что крестьяне теряли охоту к образованию обыкновенной, естественной семьи. Каждая новая семья — новое тягло, а новое тягло — это новые повинности. С другой стороны, женатый, вышедший на новое тягло сын, выданная замуж дочь — одним работником или работницей меньше в своем тягле: старые повинности тяжелее. «Довольно примечается, — писал в те же годы, о которых идет речь (во второй половине XVIII в.), лучший современный агроном, Рычков, — что многие из крестьян, не желая, чтобы дети их были в тягловых работах, а шатались бы

в числе малолетних и неверстанных, о женитьбе сыновей, а еще больше о замужестве дочерей своих не стараются, и всячески от того отводят», А так как «умножение земледельцев не только для помещиков, но и для всего государства важнейшим пунктом почитается», то помещик, не только как хозяин, но и как гражданин и верноподданный, не мог оставить этого дела втуне. Рычков настоятельно советует «разумным управителям и прикащикам» взять на себя функции свадебного бюро, тщательно наблюдая за тем, «чтобы из крестьян молодые люди далее 18 лет, а по крайней мере свыше 20 лет, холостыми не шатались. Усматривая таковых, поощрять отцов и их самих к женитьбе, приискивая им девок в тех же деревнях, кои бы согласовали их возрасту, а хотя бы годами двумя или тремя и моложе...»

Другим органическим, из почвы выросшим средством дисциплинирования деревни было учреждение, хорошо нам знакомое по свежим воспоминаниям: *круговая порука*. Идея этого учреждения чрезвычайно древняя — по круговой поруке взыскивались уголовные штрафы с крестьян еще во времена «Русской Правды». Тот же принцип применялся и в XVI в.: «Если случится убийство, и убийцы не найдут, — говорит грамота переяславских рыболовов (1506 г.) — платить миру всем рыболовным дворам». Но в том же XVI столетии делаются уже попытки перенести этот принцип и в хозяйственную область: в крестьянских порядных, там, где поряжаются сразу несколько крестьян, они обыкновенно ручаются друг за друга в правильном отбывании повинностей: «а который из нас, поручителей, будет налицо, на том указ по сей записи и порука». С этой взаимною ответственностью крестьян связано и происхождение *поземельной общины*: любопытно, что древнейшие ее образчики, в том же XVI в., встречаются нами именно в *барщинных* имениях. Равное обеспечение тягол, само собою вытекало из равенства повинностей, падавших на каждое тягло, причем обеспечение этого равенства предоставлялось самим крестьянам. «А землями, и лугами, лесом, и всякими угодьями веротатися крестьянам между собою самим полосами или десятинами, на всякую выть (выть — тягло) поровну», — говорит один документ 1580 г. Двести лет спустя эта система была уже прочно укоренившимся, старинным учреждением. «Ежели крестьяне к счастью не все еще негодные, — писал один теоретик барщинного хозяйства в 1809 г., посетовав на „леность“ крепостных, — то есть еще способ иметь от всех их желаемую пользу, возложив попечение о исправлении всех их крестьянских повинностей на весь вообще их крестьянский мир. Сей способ выду-

*ман еще предками нашими...»* В действительности способа этот автор не сомневается: «Ведь и в тех поместьях, которые славятся всеми своими добротами, не без худых людей, так как в семье не без урода; но из-за других или ничего, или весьма мало своим господам бывают ощутительны. Я не думаю, чтобы трудолюбивые крестьяне не употребили тех же средств над негодными своими собратиями, как пчелы над своими трутнями, а особливо под прозорливым и благоразумным своих господ управлением». Для современного читателя, слыжавшего, что во втором половине XIX в. в общине видели чуть ли не залог самобытного русского социализма, всего любопытнее, что помещики начала прошлого столетия не сомневались в происхождении общины сверху, из нужд барского хозяйства: как и в том, что «мирское самоуправление» обслуживало, главным образом, барские интересы. Едва ли они неправильнее смотрели на дело, нежели некоторые новейшие исследователи <sup>1)</sup>.

Но обработка барской пашни брала далеко не все время барщинного крестьянина. Как бы тяжела ни была барщина (во второй половине XVIII в. встречались «такие строгие помещики, которые крестьянам и одного дня в неделю на себя работать не дают»), она в общем могла взять у крестьянина не более половины всех рабочих дней; и это по той простой причине, что сельские работы в России по климатическим условиям возможны лишь в течение меньшей половины года. В среднерусских черноземных губерниях эти работы продолжаются, считая уборку и молотьбу хлеба, месяцев 5, в северных губерниях даже только четыре и лишь в самых южных полгода. Но огромной ошибкой было бы думать, что в остальное время барщинные крестьяне «отдыхали». Всего менее! *Хлеб не только производился, но и поставлялся на рынок крестьянами.* «Возы возити на господина» обязывала крестьянина еще Псковская Судная Грамота. В XVI в. «повоз» является вместе с барщиной — и в половине этого столетия он был организован в имениях Соловецкого, например, монастыря очень правильно. Было установлено не только, сколько возов должны поставить крестьяне, но и сколько какого хлеба можно накладывать на каждый воз: ржи по четыре четверти, а овса по шести, гречневой крупы по 5 четвертей. «А пшеница, и го-

<sup>1)</sup> Примечание к *четвертому* изданию: Здесь отразилась, до известной степени, чичеринская «государственная» теория происхождения поземельной общины, которую автор еще разделял в 1914 г. Теперь он более склонен рассматривать общину как продукт разложения большой семьи — разложения, происходившего, конечно, под сильнейшим влиянием феодализации.

рох, и семя, и крупа запарная, и толокно класти противу ржи». Был установлен и масштаб крестьянских зимних поездок: за среднюю норму принималось расстояние до Вологды, где был ближайший для сел Соловецкого монастыря хлебный рынок; «а случится по-таз вести к Москве или на Белоозеро, или ближе Вологды, или дале Вологды, и крестьянам с прикащиками в том счет против Вологды» (грамота 1561 г.). Двести лет спустя все это было разработано еще детальнее, до «всесовершенной точности». Хваставшийся такую точностью помещик возил хлеб в Москву, где цены были самые выгодные: по словам Болотова, на месте продавали хлеб только крестьяне и разве самые бедные помещики; кто побогаче — возили, по крайней мере, в уездный город или на ближайшую речную пристань, за несколько десятков верст; а крупные землевладельцы не мирились меньше, чем на Москве, хотя бы у них, как у цитированного нами сейчас помещика, некоторые имения были не ближе 400 верст от Москвы. О размерах повинности можно судить по такому примеру: в одном имении Рязанской губернии каждое тягло должно было доставить ежегодно 52 пуда хлеба в Москву (эта поездка брала две недели) и по 52 же пуда к двум местным пристаням (к одной можно было обернуть в пять дней, к другой в три); значит, на перевозку барского хлеба крестьяне тратили всего 22 дня — это был средний, не особенно тяжелый для крестьян случай. Бывали условия, гораздо более тягостные. Один экономист 1840-х гг. высчитал, что подвоз хлеба к рынкам брал зимою не менее *трети* крепостного труда — другими словами, к пяти месяцам барщинной работы летом необходимо прибавить, по крайней мере, 2–2½ месяца такой же работы зимою.

Для крепостного хозяйства крестьянин с его лошадыю (едва ли нужно пояснять, что помещичий хлеб возился на крестьянских лошадях) заменял не только сельскохозяйственные машины, но и железную дорогу. Насколько выгодна была перевозка хлеба посредством натуральной повинности крестьян, видно из того, что рязанские, например, помещики отправляли хлеб в Москву, систематически избегая пользоваться водными путями — реками Окою и Москвою: по этим путям шел купеческий хлеб, но не дворянский. Как ни дешева была речная дорога сравнительно с сухопутной, но барку для хлеба нужно было купить, бурлаков нужно было кормить, а крепостной крестьянин вез барский хлеб на своей подводе и питался сам, как умел — барину до этого не было дела. Барин находил, что и за всем этим у мужика все же остается слишком много свободного времени и что это для мужика крайне вредно не только



морально, но и физически. «От праздности крестьяне не только в болезнь приходят, но и вовсе умирают, — писал Татищев, — спят довольно, едят много, а не имеют муциону». Чтобы обеспечить крестьянину «муцион» в те месяцы, когда он не был занят ни полевыми работами, ни «подводной повинностью», самое простое было выгнать его на заработки в город. В подмосковных губерниях так и делалось: по расчету одного новейшего исследователя «в конце XVIII в. около 20 % всего мужского населения Ярославской губернии уходило на заработки на сторону». То же было в Кашинском уезде Тверской губернии, в Каширском нынешней Тульской, и т. д.; экономисты екатерининских и александровских времен в один голос говорят об огромном скоплении оброчных крестьян в Москве, усматривая в этом даже некоторую опасность для земледелия — и уже, конечно, для крестьянской «нравственности». «Где он (крестьянин) научается роскоши, где вольнодумству, где высокомерию, как не в городе? — Патетически восклицает один из них. — По природной своей простоте он скорее, нежели кто другой, по самому первому побуждению к тому, имеет поползновение, а сие, я думаю, потому больше делается, что он живет не в природном своем местопребывании, но на стороне, а потому и на воле, которая, как обыкновенно, всякого почти портит». Чтобы избежать таких вредных для крестьян последствий, более дальновидные помещики старались найти им работу на месте, у себя в деревне. Самым простым и более всего ведущим к цели способом было *развитие в деревне кустарных промыслов*. Корни этого явления опять-таки уходят в глубокую старину: из одной грамоты XIV в. мы узнаем, что уже тогда этим занимались лучшие хозяева своего времени, монастыри; «а лен даст игумен в села, и они прядут», — говорит грамота. В XVIII столетии это было уже массовое явление, и крестьянский «мануфактурный» труд был правильно введен в рамки барщинного хозяйства нечерноземной полосы. В том же Кашинском уезде, где был так силен отход крестьян на заработки, не было почти ни одного помещичьего дома, «где бы не было нескольких ткачей для ткания полотен, которые в Москве продают аршин по пятьдесят и по шестьдесят копеек, *многие помещики сим большие барыши получают*». Полотняное ткачество было здесь развито так сильно, что своего, местного льна иногда не хватало, и его прикупали на ростовской ярмарке. А общее значение крепостного, кустарного ткачества достаточно иллюстрируется тем фактом, что *русские полотна в конце XVIII в. были предметом широкого сбыта за границу*: в 1793–94-х гг. их вывозили *до пятнадцати миллионов аршин*, на сумму более четы-

рех миллионов рублей тогдашних (около 10 млн руб. теперешних). Только распространение хлопчатобумажных материй в XIX в. убило эту важную статью крепостного хозяйства.

Кустарничество в наши дни вытесняется фабрикой: от крепостного кустаря один шаг был до *крепостной фабрики*. Первые образчики крупной промышленности, возникшие в России в XVII в. железоделательные заводы, работали вольнонаемным трудом. Это было возможно, потому что эти заводы в свое время были исключительным явлением: как только в связи с развитием меркантилизма крупное производство начинает принимать у нас массовый характер, свободных рабочих рук начинает не хватать, и начинаются поиски суррогатов свободного рабочего. Рядом указов, идущих с петровской эпохи, в распоряжение фабрикантов отдаются арестанты обоего пола, бродяги, нищие, проститутки и, наконец, «солдатские, матросские и разных других служилых людей жены». Но готовый источник несвободной рабочей силы был под руками — это были крепостные крестьяне. Странно было бы все время идти обходными путями и не обратиться к прямому. Шаг был сделан уже при Петре I. Законом 18 января 1721 г. было разрешено «как шляхеству, так и купецким людям» к заводам «деревни покупать невозбранно, с позволения Берг-и-мануфактур коллегии, токмо под такую кондициею, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно». Последняя оговорка была направлена против «купецких людей»: опасались, что эти последние, под предлогом заведения крепостных фабрик, начнут себе попросту покупать населенные имения и тем втихомолку присвоят себе дворянскую привилегию. Опасения оправдались — и через 40 лет, в 1762 г., был издан указ, воспрещавший купцам покупать крепостные деревни под каким бы то ни было видом: но это отнюдь не было упразднением крепостной фабрики — только последняя стала теперь, как и крепостное имение вообще, исключительно «шляхетским», т. е. дворянским, делом. В дворянских руках крепостная индустрия продолжала процветать, как хвастались представители дворянства, еще лучше, нежели в купеческих. «Дворяне, заводя фабрики, весьма умножили разные рукомерсла и трудолюбие и подали способ государству довольствоваться теми вещами своими, которые оно прежде от других народов получало», — говорил в 1767 г. Щербатов в Комиссии для сочинения нового уложения По его словам, с 1742 по 1767 г. количество суконных фабрик, благодаря дворянскому предпринимательству, с 16 увеличилось до 76, а полотняных — с 20 до 88. В начале XIX в. в списке фабрикантов мы встречаем самые гром-

кие имена русского дворянства — князей: Бярятинского, Юсупова, Шахшского, Хованского, Урусова, Щербатова, Прозоровского, гр. Разумовского, Безбородку, Салтыкова и т. д. Появились теоретики дворянских фабрик с крепостным трудом, как раньше были теоретики сельскохозяйственной барщины. Можно поверить этим теоретикам, что вотчинная фабрика могла дать помещику «второе или вчетверо» более доходу, нежели самый высокий оброк с его крестьян. Но этим последним дело представлялось, конечно, с обратной стороны. «В последние годы появилось новое несчастье для бедною русского мужика — суконные и другие фабрики», — писал декабрист Н. И. Тургенев в своей известной книге о России, изданной при Николае I за границей. «Помещики помещали сотни крепостных, преимущественно молодых девушек и мужчин, в жалкие лачуги и силой заставляли работать... Я вспоминаю, с каким ужасом говорили крестьяне об этих заведениях; они говорили: „в этой деревне есть фабрика“ с таким выражением, как если бы они хотели сказать: „в этой деревне чума“». На этой «чуме» целиком держались два производства, одно из которых имело колоссальное значение для русского народного хозяйства, другое приобрело даже значение международное. Первым было *винокурение*, сделавшееся с 1765 г. дворянской привилегией. Водка в России курилась, конечно, и раньше, — но более-менее кустарным способом. Первыми остзейские дворяне, во многом учителя русских (между прочим, и розги пришли к нам из Прибалтийского края, на смену московским «батогам», т. е. палкам), додумались до мысли, что гораздо выгоднее сбывать на рынок вино, выкуренное из хлеба, нежели самый хлеб: «одна лошадь свезет в город настолько вина, насколько шесть лошадей хлеба», — писал один екатерининских времен агроном остзейского происхождения. В Лифляндии винокурение быстро развилось до того, что эта область, в допетровские времена массами вывозившая хлеб, во второй половине XVIII в. начала его ввозить для своих винокурень. И немудрено: винокурение давало помещику до 100 % чистого дохода, а общий его сбыт на рынке доходил до 20 млн руб. на наши деньги — половина всего дохода от помещичьих фабрик. Вторым были *уральские горные заводы*, не только снабжавшие железом всю Россию, но и вывозившие его за границу миллионами пудов, причем на английском, например, рынке оно шло первым сортом. Вся уральская руда была в руках крупного дворянства — на первом месте стояли Строгановы (другая уральская династия, Демидовы, купеческая по происхождению, скоро одворянилась и слилась со знатью). Ее обработкой было за-

нято более 25 000 крепостных уже и Екатерине II, причем вольных рабочих на Урале вовсе не было. Крупнейшая индустрия тогдашней России основывалась, сплошь и без исключений, на рабском труде.

Барщинное хозяйство было наиболее прямым и непосредственным способом выжимать из крестьянина «прибавочный продукт», необходимый торговому капиталу. Другая форма, в которую складывались отношения помещика к крестьянину при крепостном праве, *оброчное хозяйство*, тоже было связано с торговым капитализмом, но с другого конца: оброк с крестьян был наиболее простым средством добывать наличные деньги для тех помещиков, которые не жили сами в деревне и непосредственно хозяйства не вели. У всей придворной знати, например, имения были на оброке — почему у Екатерины II и получилась иллюзия, будто оброчные крестьяне в России преобладают. На самом деле они преобладали только в северных, нечерноземных губерниях, где при Екатерине II оброчные составляли 55 % всех крепостных крестьян, а в середине XIX в. — 58,9 %. Здесь были губернии, где барщинное хозяйство удержалось только в мелких имениях, — это были преимущественно губернии промышленные или близкие к столицам: так, в 1850-х гг., в Ярославской губернии, в имениях, содержавших более 100 душ крестьян, на барщине было всего 9 % душ, а во Владимирской даже 8,5 %. Напротив, в черноземной полосе оброчных было в XVIII в. 26,1 %, а в девятнадцатом — 28,8 %, — почти три четверти крестьян были на барщине. Быстрый рост оброка в нечерноземной полосе связан с развитием в России промышленного капитализма — оброчные крестьяне Владимирской или Московской губернии — это фабричные или строительные и т. п. рабочие. Но было бы ошибкой думать, что с капитализмом торговым оброчная система имела только, так сказать, «потребительную» связь, доставляя помещикам деньги для жизни в городе и косвенно обогащая этим городских торговцев, способствуя развитию привоза заграничных товаров и т. д. Нет, оброк служил, и прямо, той же цели, что и барщина — доставке на рынок продуктов крестьянского труда по минимальной цене. Дело в том, что никаких норм, определявших оброк, хотя бы обычных, как это было в Западной Европе в Средние века, в России не было: помещик всегда требовал себе максимум того, что может вынести крестьянское хозяйство, и иногда больше максимума. Как энергично вели дело в этих случаях помещики, покажет один пример. В Московской губернии была Гуслицкая волость, до 1762 г. принадлежавшая к числу «государевых»: в этом году она была пожалована Наталье Лопухиной —

известной статс-даме Елизаветы Петровны, по приказу этой последней битой кнутом и сосланной в Сибирь, а при ее наследнике «амнистированной». Пять лет спустя наследники Лопухиной, умершей в 1763 г., собрали с этой волости, перевода на деньги и всякие мелкие поборы, более 16 000 руб., — а, когда волость была государевой, она платила всего с небольшим 3 000. Помещик сумел выжать из нее впятеро больше дохода, чем дворцовое ведомство. Аналогичный случай в Казанской губернии вызвал такое замечание у губернатора этой последней (тоже помещика, значит, хорошо знавшего деревенские условия): «что же затем у крестьянина оставаться может к содержанию домоводства в порядке?» Разумеется, ничего не оставалось — другими словами, крестьянин и в этом случае должен был весь прибавочный продукт, без остатка, выбрасывать на рынок, чтобы получать деньги на уплату оброка.

Отсюда разница между осенними и весенними ценами на хлеб, хорошо знакомая уже и крепостной России. В 1770-х гг. во Владимирском уезде хлеб в деревне осенью можно было купить за 90 коп. четверть ржи и за 1 руб. 80 коп. четверть пшеницы. А зимою в городе первая стоила уже 1 руб. 60 коп. четверть, а вторая — 2 руб. 30 коп. В Кашинском уезде, Тверской губернии, рожь осенью стоила 1 руб. 60 коп. четверть, а зимою поднималась до 2 руб. 20 коп. Явление это и создавалось очень хорошо современниками. Кашинский корреспондент Вольного экономического общества, приведя только что выписанные нами цифры, прибавляет, что осенняя цена «уменьшается против в весенней цены по причине сбора подушных и *оброчных* денег; но весной, когда крестьянин небольшое количество родившегося хлеба съест, оставя малую часть для посева, цена возвышается». Лет семьдесят спустя другой помещик подтвердил и обобщил это наблюдение: «При наступлении весны и даже еще раньше, — говорит он, — тот же самый крестьянин на том же самом рынке купит обратно весь свой хлеб, да еще с прибавкой... заплатит за него вдвое дороже той цены, за которую сам продал». В результате при большой интенсификации оброка для его уплаты не хватало часто всего дохода крестьянина с его надела — отход в город на заработки *являлся* для него вынужденным, иначе ему нечем было бы существовать. Таким образом, в нечерноземной полосе оброчная система приводила к последствиям, совершенно аналогичным, пролетаризации крестьянства. Тогдашние помещики это прекрасно понимали, — но в такого рода пролетаризации они не видели, по большей части, ничего дурного. Цитированный нами кашинский корреспондент Вольн. экон общества с укоризною го-

ворит о крестьянах, которые «все дома сидели и почитали за страх ходить по землям куда-нибудь в большие города работать и тем доставать себе хлеб и деньги. Напоследок, *когда многие помещики зачали их к тому принуждать*, то вступили они в поход...» А от эпохи опять-таки лет на семьдесят более поздней до нас дошел и образчик помещичьего понуждения — до того выразительный, *что* стоит его привести целиком. «Вы все для меня, крестьяне, равны, — писал своим крепостным один костромской помещик в начале 30-х гг. — за что же другие платят более, — где я живу, по 70 руб. ассигнациями. У нас, если два тягла на оброке, один отходит в Петербург или в работники, другой остается дома и все исправляет работы свои и барские, и вовремя убирается, не имея лишнего в доме. А вы летнее все время, все семейство, остаетесь дома... Чем лето лежать всем дома, не лучше ли вам, хотя и кажется трудно по глупости вашей, медведям, отойтить, где есть семейные, в дальнюю работу...» Так различалась идеология владельца оброчного имения от идеологии помещика, хозяйничавшего при помощи барщинного труда своих крепостных: мы видели, что последний считал пребывание крестьян в городе источником всяких нравственных зол, — первый, наоборот, объяснял нежелание идти в город исключительно мужицкой леностью. Дворянство по отношению к крепостному праву не представляло собой однородной массы — мы увидим, что во время крестьянской реформы эта разница сказалась с большой силой и дошла до размеров конфликта между двумя группами помещиков.

Но для того чтобы мысль об этой реформе приобрела практическое значение, необходима была огромная перемена в идеологии обеих групп. Долгое время для объяснения этой перемены привлекались к делу исключительно идеальные факторы: влияние просвещения, изящной литературы, проповеди «лучших представителей» дворянства и т. п. Получалась, приблизительно, такая картина: помещики держались крепостного права, пока были тупы, невежественны, нравственно неразвиты. По мере того как они стали умственно и нравственно развиваться, они все более начали проникаться мыслью, что крепостное право есть «мерзость» — потом долго держались этой мерзости уже только по привычке, наконец, у них хватило духу вовсе от нее отказаться. Не говоря уже о том, что объяснение это фактически неверно — на принципиальную защиту крепостного права выступали самые образованные помещики своего времени, в XVIII в. — кн. Щербатов, в начале XIX в. — Карамзин, — оно совершенно ненаучно. Основное требование науки заключается в том, что каждая перемена в той или другой категории

явлений должна объясняться прежде всего из условий *этой* категории; привлекать к делу посторонние причины можно только тогда, когда в кругу данных явлений никакого объяснения перемены найти нельзя. Крестьянская реформа есть прежде всего грандиозный *экономический* переворот: переход от крепостного хозяйства к буржуазному, проникновение капиталистических отношений из сферы обмена в область производства. Для экономической перемены нужно искать прежде всего экономические же причины: привлекать к делу вместо этого нравственное и умственное развитие — значит уподобляться средневековым людям, которые затмение Луны или Солнца объясняли людскими грехами. Какие экономические условия заставили помещиков прийти к мысли, что вольнонаемный труд на пашне будет для них выгоднее крепостного? Для ответа на этот вопрос надо прежде всего иметь в виду, что *малая производительность барщинного труда отлично сознавалась помещиками даже во время расцвета барщины*. Вполне естественно, что, с точки зрения помещика, дело объяснялось крестьянской ленью: жалобы на леность барщинных крестьян мы встречаем уже у Татищева, советуя своему читателю «всего наивысше смотреть», чтобы «летом во время работы ни малой лености и дальнего покою крестьянам происходить не могло». Представитель следующего поколения, Рычков в своем Наставлении приказчику дает очень конкретные указания насчет тех «пакостей», какие крестьяне имеют обыкновенные делать *во* время барщинной работы: «...когда пашут, то стараются сделать недопашку и завалить ее пластом или рыхлою землею, когда сеют, то зерно мечут непорядочно и делают обсевки, на которых местах хлеб уже не родится и бывают прогалины. Во время полотья и жнитва очень много втаптывают в землю хлеба так, что плутовства их распознать невозможно». К «лености», таким образом, присоединяется здесь еще «плутовство». Принадлежащий к еще следующему, дальнейшему помещичьему поколению Швитков прямо уже признает, что и «самые деятельные и самые промышленные крестьяне часто не весьма усердствуют пользе своих господ».

Побуждением к оброчному хозяйству для многих дворян и было именно то, что оброк можно было выколотить при помощи одной «строгости», а на барщине и строгость не помогала. Русским предшественникам Тайлора приходилось слиться со своим хозяйством — вставать утром на рассвете и проводить весь день на припеке в поле, с нагайкой в руках, а осень — на току, где молотят хлеб. При хорошем знании хозяйственной техники такой хозяин мог выбить из своих мужиков много, но в таком чистом виде система была

применена только в маленьких имениях. Оттого-то мелкопоместные дворяне и цеплялись с такою жадностью за крепостное право — и почти все экономически погибли на другой день реформы 19 февраля. В крупном, даже среднем имении довольно рано должна была явиться мысль о создании для крестьян каких-либо иных побуждений к труду, кроме голого принуждения. Для детальной истории помещичьего хозяйства представляют огромный интерес те эксперименты, которые делались в этом направлении различными помещиками первой половины XIX в. Наиболее оригинальными из них были попытки известного славянофила Хомякова, который обрабатывал свои поля наемным трудом своих же оброчных крестьян, оброк на которых был наложен в таком размере, чтобы они никак не могли существовать, не нанимаясь в батраки к своему барину, и не менее известного агронома своего времени Стремоухова, отдававшего крестьянам  $\frac{2}{3}$  урожая: интенсивность работы получалась такая, по его словам, что остававшаяся  $\frac{1}{3}$  помещику была больше того, что можно было получить от трехдневной барщины «при самом строгом присмотре». В конце концов к 50-м гг. взяло верх самое простое решение задачи: замена крепостного работника на барской пашне вольнонаемным.

Насколько последовательно была проведена эта мысль и что из этого получилось, мы увидим в следующей главе. Но прежде, чем перейти к перевороту 1861 г., необходимо ответить на вопрос, который давно уже, наверное, поставил нам читатель: что же задерживало переворот, раз его основная идея — невыгодность барщинного труда — давно вошла в сознание помещиков? Для ответа на этот вопрос придется несколько осложнить картину, с которой мы начали наш очерк крепостного хозяйства: картину русского *экспорта*. Мы говорили о значении, которое имел вывоз русского сырья за границу, и привели в пример пшеницу. Но именно с вывозом русского хлеба дело обстояло не так просто и благополучно, как может показаться. Чтобы не тратить много слов, позволим себе предложить вниманию читателя небольшую таблицу 4.1.

Мы видим, что за двадцать лет, с 1820 по 1840 г., хлебные цены в Западной Европе росли очень медленно; в то же время вывоз хлеба из России за границу увеличился очень незначительно. С 40-х гг. цены на хлеб растут все выше и выше — все быстрее и быстрее растет русский хлебный вывоз. И скоро даже небольшое падение цен оказывается не в силах его остановить. В эволюции хлебных цен и заключается ответ на вопрос: почему крестьянская реформа задержалась у нас на 30 лет — на все царствование Николая



Таблица 4.1

Вывоз хлеба из России (тысячи пудов)			Цены на хлеб на берлинском рынке (в марках за центнер)		
Года	Пшеница	Рожь	Десятилетия	Пшеница	Рожь
1820	13 873	3924	1821–1830	6,07	4,46
1830	25 506	8669	1831–1840	6,91	5,16
1840	18 091	1409	1841–1850	8,38	6,30
1850	26 166	5592	1851–1860	10,57	8,48
1860	41 911	20 247	1861–1870	10,21	7,93

Павловича, с 20-х по 50-е гг. При низких ценах на хлеб за границей не окупались издержки вывоза, а, раз русский хлеб не имел доступа на мировой рынок, помещичье хозяйство не имело повода расширять производство хлеба далее известных границ. Даже при барщинном хозяйстве Тамбовская, например, губерния, николаевского времени страдала от *перепроизводства* хлеба; какой же был смысл увеличивать это производство? По расчетам Гакстгаузена за 3 года, 1834, 1835 и 1836 (читатель заметит, что середина тридцатых годов — как раз разгар аграрного кризиса), в Тамбовской губернии было собрано от 80 до 90 млн четвертей различных хлебов. Вычитая из них 34 млн, пошедших на семена, на продовольствие, на винокурение, на прокорм скота, в запасные магазины и т. п., мы получаем остаток по меньшей мере в 45 млн четвертей, который мог бы быть вывезен, а на самом деле за эти три года вывезено было из тамбовских пристаней по Цне всего 7 % млн четвертей, да еще цнинскими пристанями пользовалась не одна Тамбовская губерния, но и соседние уезды Пензенской и Саратовской. Если бы не периодические неурожайи, быстро истощавшие хлебные запасы, накопленный тамбовский хлеб просто сгнил бы и был поеден мышами. Неурожайи выравнивали хлебный баланс, но неурожайи сами были результатом экстенсивной культуры. Интенсифицировать эту последнюю значило, помимо всего прочего, закрывать последнюю дверь, через которую можно еще было спастись от кризиса.

Картина резко изменилась, как только кризис стал проходить. Был прямой расчет усилить производство до последних возможных пределов. Вспоминая старые времена, беспокоились только об одном: можно ли вести хозяйство в России наемным трудом, найдутся ли работники? Ведь при Петре их даже для фабрик не удавалось

найти, — а теперь речь идет не о нескольких десятках фабрик, а о всей земледельческой Росши. Гакстгаузену часто приходилось слышать эти опасения (естественно было, что прусский барон вращался среди помещиков) и под влиянием помещичьих разговоров он высказывается за то, что радикальная крестьянская реформа, освобождение сразу всех крепостных, — рискованная мера. Но если бы он доверял своим глазам больше, нежели рассказам помещиков, он мог бы успокоить своих собеседников на основании своих же наблюдений во время путешествия. Ему приходилось видеть по дороге не только земледельческие казармы и лагеря во вкусе фон-Пирха, а и совсем другие картины. В Никольском уезде, Вологодской губернии, он — с огромным интересом, как он сам признается, — наблюдал образчики чисто-буржуазного хозяйства. Он останавливался во дворе одного местного «крестьянина», состояние которого оценивалось во 100 000 руб. ассигнациями (на теперешние деньги, принимая в внимание изменение цен, это составит тысяч 75 руб.). У него было «очень обширное хозяйство». Он держал восемь батраков, в том числе 4 годовых, и пять батрачек; у него было 8 лошадей и 25 коров. Таких ферм была в уезде не одна — и все они были «в очень цветущем состоянии». Никольский уезд был населен государственными крестьянами — крепостных в нем почти не было. Немецкий путешественник, видимо, с крайним любопытством приглядывался к совершенно новой для него в России фигуре «сельского буржуа» — и недаром, смотря на него, он вспомнил о Вестфалии. Но ему пришлось сейчас же познакомиться с оборотной стороной этой европеизации. За столом у крестьянина-помещика, правда, подавали портвейн — да только ничем не накормили проголодавшегося путника, заставив его с тоскою вспомнить «настоящих» крестьян — бедных, но гостеприимных...

Итак, хозяйство с наемным трудом было возможно и выгодно в 1840-х гг., даже в нечерноземной полосе России. Там, где производство хлеба по климатическим условиям было главным местным промыслом, да еще когда кризис прошел, и *хлебные* цены «отвердели», оно было необходимо — помещик с его привычками там не мог хозяйничать. В Новоузенском уезде, Самарской губернии, одном из тех мест, откуда несся на мировой рынок поток лучшей в Европе пшеницы, помещику, по его собственной оценке, ничего не оставалось делать, как сдавать землю в аренду. А тамошние крестьяне в это время говорили: «Тот не мужик, у кого на два тягла нет девяти лошадей», и нанимали по 50 и по 100 десятин земли в прибавок к своей надельной. Пахали здесь исключительно плугом, причем

у зажиточных было плуга по четыре. А вопрос о рабочих руках был центральным экономическим вопросом для своего края. «Если вы хотите видеть край, где хозяин связан по рукам и ногам, а рабочий диктует ему свои условия, которые тот со смирением принимает, — приезжайте сюда во время жатвы», — писал один новоузенский помещик за год до крестьянской реформы. И хотя этот помещик не без опасения говорит о последствиях освобождения крестьян, но это уже «голос крови», в своем роде: никакого следа крепостного хозяйства во всей его статье вы не найдете. Хлебный экспорт давно его здесь убил.

### Библиография

Чтобы найти яркую и рельефную картину крепостного хозяйства, приходится обращаться к беллетристике; «Пошехонская Старина» *Салтыкова* (IX том полного собрания сочинений), в особенности очерк «Образцовый хозяин», имеет всю цену хороших исторических мемуаров. Но мемуары — все же лишь материал: в деле разработки материала наша научная литература далеко отстала от беллетристики. Основной работой пока является довольно уже старая книга *П. Струве* «Основные моменты в развитии крепостного хозяйства». Его же журнальные статьи (в «Мире Божьем»: 1901. X—XII) так же, как работа кн. *Волконского* «Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве» (Труды рязанск. учен. архивн. комиссии. 1897. Т. XII. В. 2—3) представляют собою лишь первоначальные разведки, чрезвычайно ценные в свое время, когда историко-экономическое понимание крепостного хозяйства совершенно отсутствовало, но далеко не исчерпывающие вопроса. Связь крепостного хозяйства с торговым капитализмом хорошо освещена в цитированной уже книге *П. И. Лященко* «Очерки аграрной эволюции России» (Т. I; есть новое изд. 1924 г.). Главным недостатком книги является то, что автор, следуя традиции, прочно укоренившейся в нашей экономической литературе со времен *Кеппена* (статистика 40-х гг.), не придает значения заграничному вывозу, как фактору эволюции крепостного хозяйства. Кеппен для своего времени был прав как раз в те годы в этом вывозе наступил застой, как было указано выше в тексте. Но странно в XX в. на всю полуторавековую эволюцию смотреть сквозь очки 40-х гг. Уже для конца этого десятилетия взгляды Кеппена оказались устаревшими, а для 50-х, 60-х гг. и т. д. — тем более. Наконец, обширный материал читатель найдет в работах, посвященных истории крестьянства: *В. И. Семевского* «Крестьяне в царствование Екатерины II» (Т. I. Изд. 2, испр. и доп. Спб., 1903) и *И. И. Игнатович* «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» (Спб., 1902; есть более новое издание). Первый труд является классическим для истории русского крестьянства XVIII в., второй носит более беглый характер, но для читателя-неспециалиста дает достаточный и достаточно хорошо подобранный материал. Надо только иметь

в виду, что оба автора интересуются не крепостным хозяйством, как известной стадией экономического развития, а крестьянством, как известной социальной группой. Соответствующие факты у них разбросаны, поэтому, в различных местах и взяты не под тем углом зрения, какой нужен историку-экономисту. Желаящие иметь более цельную картину хорошо сделают, если прочтут цитированные в тексте «Экономические правила» *Удолова* и два «Наказа для прикащика» *Рычкова* и *Болотова*: напечатаны в «Трудах Вольного экономического общества» (Т. XV и XVI). Никаких почти предварительных сведений для своего понимания эти работы не требуют, но, конечно, они не принадлежат к художественной литературе, как очерк *Салтыкова*, и удовольствия их чтение доставить не может. Для начальной фазы буржуазного сельского хозяйства см. замечательные «Письма из деревни» *Кавелина*, во II томе собрания его сочинений (С. 663–688); это, наоборот, почти беллетристика, но, как и у *Салтыкова*, основанная на подлинных наблюдениях и потому исторически необычайно ценная. О крепостном труде в промышленности см. *Пажитнова* «Положение рабочего класса в России» (Т. I. Период крепостного труда. Изд. «Былое», 1923).

## Глава 5

### Промышленный капитализм

Как мы видели в предшествующей главе, крепостное хозяйство ставило росту прибавочного продукта довольно тесные границы: иначе говоря, было малопродуктивно. Мы видели также, что факт этот, более или менее отчетливо, более или менее смутно, сознавался и руководителями крепостного хозяйства, помещиками, владельцами барщинных имений. Пока эти имения по тем или другим причинам располагали лишь незначительным рынком сбыта, можно было довольствоваться барщинным трудом. Расширение рынка, открытие для русского хлеба с конца 40-х гг. девятнадцатого века рынка международного должны были сделать барщинный труд явно невыгодным для помещиков — поставить вопрос о ликвидации крепостного хозяйства. Для понимания крестьянской реформы 1861 г. этого было бы совершенно достаточно, но картина развития капитализма в России была бы неполна, если бы мы ограничились только этим. Современный капитализм зародился у нас не в барщинном имении, а на *фабрике*: первым типом крупного капиталистического производства было у нас, как и всюду, промышленное производство, а не сельскохозяйственное. Аграрный капитализм у нас, как и всюду в Старом Свете, даже и не достиг до революции 1917 г. своего полного развития: целый ряд причин этому мешал, как мы это увидим далее. Промышленный капитализм является везде не только самым ранним, но и самым полным и законченным типом капиталистического производства.

Это последнее характеризуется, как известно, двумя главными, основными признаками. Во-первых, громадной *концентрацией* самого процесса производства: ремесленную мастерскую с 2–3, максимум 10 работниками, сменяет предприятие, где этих последних 100, 200, даже 1 000 человек. В России 1909 г. треть всех рабочих была занята в предприятиях, имеющих более 1 000 рабочих каждое. Но этого признака — одного, самого по себе — было бы еще недостаточно: в барщинном имении тоже могли работать на поле сразу

сотни крепостных. Но каждый из них работал на своей лошади, своей сохой или бороной — теми самыми, при помощи которых он возделывал и свое собственное поле. Тысячи рабочих современной капиталистической фабрики работают орудиями, принадлежащими фабриканту: им самим ничего не при надлежит, кроме их собственных мускулов. Притом эти орудия не имеют никакого отношения к домашнему хозяйству рабочего, если оно у него имеется: в России начала XX в. возможны были случаи, что отец семьи на фабрике состоит при электрическом моторе, а остальные ее члены в это время обрабатывают в деревне свой надел при помощи сохи, в которой «нет ни одного кусочка железа». Итак, полное «открепление» рабочего от орудий производства — иначе говоря, *полная пролетаризация рабочего* — вот второй основной признак капиталистического производства. Полноте этой пролетаризации нисколько не мешает тот факт, что у отдельного рабочего могла быть сотня—другая рублей в сберегательной кассе, на черный день, или свой маленький надел в деревне; достаточно, чтобы у него не было ничего собственного в том производстве, в котором он занят и которое дает ему средства к жизни. Идеальный пролетарий, у которого так-таки совсем ничего нет, кроме ежедневного заработка, такая же отвлеченная категория, как и идеальный буржуа, который занят исключительно извлечением предпринимательской прибыли из своих рабочих — и ничем более.

Большинство авторов прибавляет к этим двум признакам еще третий: *рабочий капиталистического общества — человек свободный*, работающий по «добровольному» соглашению с хозяином. Но этот признак требует уже гораздо более значительных оговорок. Если под свободой понимать отсутствие *юридической* обязанности данного рабочего работать непременно на данного хозяина, это совершенно правильно: этим капиталистическое хозяйство отличается от крепостного, но не отличается еще от ремесленного — потому что ремесленный подмастерье тоже не прикреплен к данному хозяину-мастеру. Но обыкновенно понимали «свободу» в более широком смысле. Так как впервые объектом научного наблюдения капиталистическое хозяйство сделалось в Англии, а в этой стране очень рано развились начала индивидуальной свободы, то с капиталистическим производством связывали, как нечто неизбежное, *политическую* свободу рабочих.

Дальнейший ход развития, однако же, наряду с более основательным изучением истории самого английского рабочего класса, показали всю ошибочность такого представления. Во-первых,

и в самой Англии рабочим пришлось завоевывать эту свободу — рабочие союзы 1820-х гг. были нелегальные, полная легализация рабочих союзов имела место не ранее 1870-х гг. А во-вторых, это было в Англии возможно только благодаря тому исключительному, монопольному положению на мировом рынке, какое завоевала себе во 2-й половине XIX в. английская промышленность: сверхприбыль, которую получал английский фабрикант от эксплуатации отсталых стран, позволяла ему подкармливать своего рабочего и тем осуществлять радовавший взоры мелкобуржуазных «социалистов» «социальный мир». Как только, благодаря германской конкуренции, в начале XX в. монополия английской промышленности на мировом рынке была сломлена, «социальный мир» в Англии исчез, отношения между предпринимателями и рабочими стали портиться, и рабочему пришлось защищать свои права и интересы тем же путем, каким это делалось на континенте — путем *стачки*. Английский рабочий понемногу стал расставаться с демократическими иллюзиями и понимать, что никакие дарованные буржуазией права не могут его обеспечить — это может быть достигнуто лишь переходом власти к рабочему классу. На континенте этих иллюзий с самого начала было меньше — а с переходом мирового капиталистического хозяйства в *империалистическую* стадию (см. ниже) сеяние этих иллюзий стало просто одним из средств буржуазии в ее борьбе против социалистической революции.

Зато исторически будет вполне правильно присоединить еще один признак — не наиболее, пожалуй, существенный, но наиболее показательный, наглядный. Мы указали, что современное капиталистическое производство — это прежде всего производство крупное. Притом, чем далее, тем оно все становится крупнее: на английских бумагопрядильнях, например, среднее число веретен на одну фабрику в 1850 г. составляло 155, а в 1885 г. — уже 213. Это все возрастающее укрупнение производства не есть какая-либо таинственная врожденная черта капитализма: оно связано с совершенно определенным материальным условием — применением *машин* в новейшем производстве. *Машина тем экономнее, т. е. тем производительнее, чем она крупнее*. Впервые с этой истиной пришлось познакомиться английским ремесленникам после изобретения паровой машины. Все попытки сердобольных людей спасти мелкое производство при господстве пара имели самые жалкие результаты. Пробовали, например, устраивать один центральный паровик среди целой деревни ткачей, каждый из которых получал паровую силу на дом (т. н. *cottages-factory*). За 12 лет разорилось более 300

таких предприятий, и затею пришлось бросить. Когда появились двигатели непаровые (газовые, электрические, керосиновые и т. п.), надежды защитников мелкого производства оживились: новый тип двигателя, казалось, допускал дробление энергии в очень широких размерах. Памятником этого отношения в нашей русской литературе остался один очерк Глеба Успенскою, изображавший самыми розовыми красками будущий промышленный рай, где вольные самостоятельные кустари будут работать каждый у себя дома, пользуясь электрической энергией, «нанятой» на соседней станции. Опыт и здесь скоро заставил разочароваться. Бюхер в своей статье об упадке ремесла в Германии приводит такой расчет сравнительной стоимости одной лошадиной силы в 1 час в зависимости от размеров двигателя (переводим цены на русские деньги):

Таблица 5.1

	1 сила	3 силы	6 сил
Пар .....	15 коп.	9 коп.	7½ коп.
Электричество .....	23	18½	—
Газ .....	12	8½	7½
Керосин .....	30	14	11

Итак, чем крупнее двигатель, тем дешевле обходится 1 сила: электричество и газ несколько не ласковее к ремесленнику сравнительно с паром. Если капитализм не дает автоматически свободы, то совершенно автоматически он все более и более увеличивает размеры предприятий. С 1904 по 1909 г. в России число рабочих на фабриках, имевших менее 100 рабочих, уменьшилось, имевших от 100 до 500 рабочих — увеличилось лишь весьма незначительно, а число фабричных в предприятиях более чем с 1 000 рабочих каждое возросло на 20 %. В эти годы застоя мелкое производство в России сократилось, среднее застыло на одном уровне, а крупное продолжало расти как ни в чем ни бывало: настолько выгодны для него были условия конкуренции.

Крупное промышленное производство существовало в России задолго до нашего времени: на отдельных мануфактурах петровского времени бывало по 700, 800, даже по 1 000 рабочих. Но современный капитализм в России ведет начало не от этих петровских мануфактур: они, напротив, почти все исчезли в течение XVIII в., вместо



них народились новые — и также исчезли. Причиной такой недолговечности отчасти был спекулятивный характер предприятий. При Петре, например, в одной Москве возникло целых пять шелковых мануфактур: в расчете на дешевизну шелка-сырца, на очень выгодных условиях получавшегося прямо из Персии, у нас надеялись завалить всю Европу русскими шелковыми товарами. Попытка оказалась очень наивной: по качеству русские шелковые ткани далеко уступали западноевропейским, и наши шелкоткацкие фабрики лопнули одна за другой. Но одною этой причиной объяснить дела нельзя. Исследователи отмечали любопытный факт: на месте погибших мануфактур XVIII в. во многих местах у нас возникли *кустарные промыслы*. Кустарное ткачество полотен в Шуйском уезде ведет свое начало от основанной в петровские времена фабрики Тамеса, в селе Кохме. Главным центром льняного ткачества вообще является село Великое, Ярославского уезда, но раньше кустарей мы находим там фабрику Затрапезного. По-видимому, особенное значение имели помещичьи фабрики, где рабочие набирались принудительно из определенного района и где почти все взрослое мужское население должно было пройти через мануфактурную выучку. Полотняное ткачество села Никольского, например, той же Ярославской губ., обязано своим возникновением вотчинной фабрике Салтыковых: фабрика их закрылась в первые годы XIX в., и с этого времени «в крестьянских избах всего окружающего района быстро распространяется „самостоятельное“ кустарное ткачество». Один исследователь 30-х гг. даже всю льняную промышленность Ярославского района сводил к влиянию помещичьих фабрик — преувеличение, которое самую свою возможностью ясно показывает, насколько факт был распространен.

Но тут необходимо на минуту остановиться, — ибо читателя, наверное, уже поразили два факта. Во-первых, крупное производство, оказывается, может спастись перед мелким, да еще производство капиталистического типа перед ремесленным, каким обычно представляется нам кустарное. А во-вторых, ведь это ремесленное кустарное производство есть результат дальнейшего развития «народных» промыслов, искони веков существовавших в той или другой местности и только расширившихся с течением времени, по мере расширения рынка. Кустари так и зовут иногда свой промысел «искобиной»: «искобине» искаженное «искони бе», т. е. «всегда было». Насколько можно полагаться на «крепкую народную память» — этот вопрос, впрочем, разрешить всего легче. Сукноделы Владимирской губернии вполне искренно считают

свой промысел исконным в этой местности: «Тыщи лет назад наши прадеды и прапрадеды работали шерсть, — говорят они, — и нас обучили». Но мы имеем точные сведения, что первое прядильное колесо было занесено сюда *одним* крестьянином, Савелием Селезнем, во второй половине XVIII столетия, из Москвы, где Селезень работал на фабрике. Обучившись у Селезняка, местные прядильщицы и чесальщики артелями стали отходить в голодные годы на заработки в Москву; позже они стали брать материал от московских фабрикантов и пряли уже у себя на дому. Сложнее два другие вопроса. Убеждение, что кустарное производство есть органический продукт народной жизни, далеко не столь твердо теперь, как оно было в 90-х гг.; но окончательно разбитым этот предрассудок не приходится считать и ныне. И теперь не будут поэтому бесполезными несколько примеров, иллюстрирующих то положение, что *кустарное производство есть особая разновидность крупного капиталистического производства* — русская параллель той форме этого последнего, которая в Англии получила название «домашней системы». Во-первых, действительно ли, как правило, кустарные промыслы развились из домашнего производства крестьян? Ведь владимирские сукноделы могут быть и исключением, их пример доказывает только, что на воспоминания самих кустарей<sup>1)</sup> нельзя полагаться. Но вот что говорит о кустарных промыслах подмосковного района историк русской фабрики: «Самым распространенным ткацким промыслом Центральной России является бумажное ткачество. Хлопчатая бумага — иноземный продукт, в России никогда не добывавшийся; ситцы начали выделываться в России в более или менее значительных размерах в конце XVIII в.; вначале они были дороги (бумажная пряжа по цене почти равнялась шелковой) и употреблялись только высшими классами общества. То же следует

---

<sup>1)</sup> Слово «кустарь» принято объяснять искажением немецкого Kunst, Kunstler; объяснение это едва ли верно в деловом языке и в местных говорах первой половины XIX в. оно имеет и более распространенную форму «кустарник». Если можно понять исчезновение носового звука в середине слова, то откуда могло взяться чисто русское окончание? Притом один из авторов того времени прямо указывает что это — не термин, а насмешливое прозвище, данное мелкому домашнему промышленнику фабрикантом. Фабриканты (начала XIX в., не забудем этого) постоянно жаловались на конкуренцию кустарей и объясняли ее, во-первых, тем, что последние занимались промыслами, не платя гильдейских пошлин, а во-вторых — их недобросовестностью в работе. Применяясь к этому объяснению, можно толковать прозвище так, что «кустарь» — тот, кто промышляет украдкой, незаконно, «из-за куста». Может быть, тут оказало свое влияние и знакомое московским документам XVI—XVII вв. название мошенника вообще — «костаря».

сказать и о шелкоткацком промысле. И этот промысел возникает в Центральной России (преимущественно в Московской губернии) только в XVIII в., и шелковые ткани отнюдь не были предметом крестьянского потребления. Если мы возьмем список различных промыслов, зарегистрированных земскими статистиками, то во многих случаях уже по самому характеру промысла вполне очевидно, что промысел этот не возник из домашнего производства. Возьмем, например, патронный промысел (клеение гильз для папирос), дающий занятие в Московской губернии 8 тысячам работниц. Ведь нельзя же думать, что крестьяне выделывали папиросные гильзы сначала для собственного потребления, а затем стали пускать их в продажу? То же можно сказать и о шитье лайковых перчаток (этим промыслом занято в Московской губ. более 3 тысяч работниц): когда же крестьяне носили лайковые перчатки? Или, например, позументное ткачество — выделка офицерских и солдатских погонов, галунов и т. д. Разве это предметы крестьянского потребления?» Всего из 141 тысячи крестьян, занятых в Московской губ. в мелком производстве, не менее 82 тыс., т. е. 59 %, были заняты в промыслах, которые никак не могут быть выведены из условий первоначального, «натурального», хозяйства.

Но обратимся к промыслам, которые по внешности имеют вполне «крестьянский» характер. Возьмем, например, сапожное производство: существование сапога на Руси засвидетельствовано летописью для времен Владимира Святого. Оставим Московскую губернию — она столичная, и этой особенностью может объясняться характер ее промыслов. Возьмем сердцевину нашего черноземного района, Курскую губернию. Здесь очень распространен сапожный промысел, и, казалось бы, где искать большей «искобины», нежели не на этой исторической окраине русской земли? Но местные статистики, люди совершенно беспристрастные и не зараженные зловредным «марксизмом», очень категорически заявляют, что о сапожном промысле до конца XVIII в. здесь ничего не было слышно. Были, конечно, отдельные сапожники, как и всюду, но промысла не было. Главным типом «народного производства» здесь было тогда «винокурение» и тесно связанный с ним *бондарный* промысел. Объясняется это тем что тогда южные уезды нынешней Курской губернии причислялись к «Малороссии» и пользовались правом свободно гнать вино, что в остальной России составляло прерогативу одних дворян. Народное производство поддерживалось здесь, очевидно, сбытом водки (тайно, контрабандным путем, конечно) в соседние великорусские губернии, где торговля вином

составляла казенную монополию и была в руках откупщиков. В это время куряне «прямо-таки лопатой загребали золото», по словам старожилов. Но в 1773 г. право свободного конкурента было отнято у украинских губерний, и винокуры, как и бондари, обратились в сапожников. Такая метаморфоза «народного производства» может ошеломить с первого взгляда: не стали же крестьяне вместо водки употреблять сапоги? Но ларчик легко откроется, если прибавить, что сапоги носили не те, кто их шил, и даже не их соседи. Один наблюдатель 1860-х гг., священник Левицкий, дал нам такую картину тогдашнего сапожного производства Курской губернии, которая удовлетворяет самым строгим требованиям экономиста-историка. «Все кожевенное сапожное производство ведется здесь по подряду, — пишет этот исследователь. — Здесь не делается так, чтобы каждый кожевник-сапожник, выделавши кожи и пошивши сапоги, продавал их у себя на базаре или на ближайших ярмарках. Ольшанских (Ольшанка — центр курского сапожного производства того времени) кожевенно-сапожных изделий на месте стороннему покупателю и приобрести невозможно — разве только у самого торговца, и то по высокой цене. Происходит это оттого, что все производители работают круглый год не для себя и не из своего материала, а исключительно для торговцев и по их заказам... Что же касается подрядчиков, то сами они не имели у себя на дому кожевенных и сапожных заведений. Они только привозили сюда сырые кожи, закупая их целыми партиями в далекой Украине, в Екатеринославской, в Херсонской губ., в области Войска Донского, и затем, по приезде домой, отдавали их производителям в работу».

Итак, не курский сапожник-кустарь постепенным расширением производства создал для себя рынок, а рынок создал курского кустаря. В 40–60-х гг., когда все украинские ярмарки были завалены здешним сапожным товаром, хозяйственное положение кустаря было довольно сносное. Но создавший его рынок и погубил его, когда изменились условия этого рынка. С проведением Курской железной дороги в Украину хлынул кимрский и московский сапог, своими качествами сразу же забивший местное производство. «Крупные капиталисты-подрядчики, ворочавшие прежде всем производством и державшие в нем постоянно по 10–30 тысяч рублей, бросили это занятие и взялись за коммерческие предприятия другого рода: обратили свои капиталы в хлебную и земельную торговлю, так как это оказалось более выгодным». С уходом капиталов «народное производство» сразу рухнуло. Отвыкший от земледелия, не имевший большею частью даже лошади, кустарь должен был или

стать сельским рабочим-пролетарием, продавать свой груд в местных крупных экономиях, или уйти куда глаза глядят — обыкновенно дальше на юг, где еще была надежда применить свои промышленные навыки. В Ольшанке, которую описывал в 60-х гг. свящ. Левицкий, считалось 508 семей, занятых кожевенно-сапожным производством: в 1888 г., когда ту же Ольшанку описывал Добротворский, там осталось всего 230 семей сапожников.

Итак, победа кустаря над «фабрикой» отнюдь не была победой докапиталистического мелкого производства над крупным капиталистическим: это была борьба *двух различных форм промышленного капитализма*. Точнее говоря, это была борьба промышленного капитализма в собственном смысле этого слова с торговым. Почему последний — форма более ранняя, более архаическая как будто — сказался сильнее? Мы недаром только что поставили в кавычки «фабрику»: все сокрушенные кустарем крупные предприятия держались *ручным трудом* — были *мануфактурами* в точном смысле этого слова. Но преимущества мануфактуры перед домашним производством вовсе не так велики. Их видят обыкновенно в том, что в мануфактуре допустимо очень большое и очень сложное разделение труда: производство одной вещи разбивается на несколько мелких процессов, каждый из которых сосредоточивается в руках одного рабочего, так что фабрикат на пути к окончательной отделке проходит несколько рук. Но, во-первых, эти процессы могут производиться и в отдельных помещениях: шварцвальдские часы — характерный образчик западно-европейского кустарного производства — никогда не делаются целиком одним ремесленником; одна семья, или даже одна деревня, занимается обтачиванием колесиков или сборкой внутреннего механизма, другая prepares только коробки для часов, третья расписывает циферблаты. А во-вторых, число этих рук вовсе не особенно велико: классическая булавочная мануфактура, использованная, как пример, Адамом Смитом, делила все производство булавок не более чем на 10 частей. Чтобы оценить, как еще недалеко ушла в этом направлении мануфактура, возьмем пример из области машинного производства: механическая обувь есть результат 64 различных процессов над сырым материалом, а машинное производство часов состоит из 370 самостоятельных процессов. Такого сложного мастерства домой не перенесешь, а большинство мануфактурных производств легко это допускало. Лишний раз мы убеждаемся, *какое громадное значение для развития современного капиталистического производства имеют машины*. Если прибавить к этому, что в отношении производительности между

ручным трудом и машинным невозможна никакая конкуренция (достаточно привести один пример: в XVIII в. при ручном производстве для очистки 1 фунта хлопка от семян требовался целый рабочий день; благодаря изобретению в 1793 г. машины для этой цели стало возможно очищать в один рабочий день 100 фунт.), то мы поймем, когда должен был пробить смертный час «домашнему производству»: когда в данной отрасли промышленности машины окончательно брали верх над ручной работой. Это прекрасно сознавали современники описываемых нами фактов. Около 50-х гг. прошлого века в наших промышленных кругах начинают слышаться жалобы на плохую работу и «недобросовестность» кустарей. Последние становятся, очевидно, не нужны. Почему же? Один автор-фабрикант дает на это определенный ответ: «Одно средство избавиться от всех этих неприятностей, — говорит он, — механические ткацкие заведения». В 1846 г. поддалась в России первая механическая бумаготкацкая фабрика; в это время большинство ткачей работало еще на дому. Двадцать лет спустя таких фабрик было уже 42: только  $\frac{2}{3}$  ткачей продолжали работать на дому, остальные на фабрике. К концу 70-х гг. на домашнюю промышленность приходилась уже только *четверть* рабочих, занятых в бумаготкацком производстве, — три четверти работали на фабриках. Один статистик того времени писал: «В Серпуховском и Коломенском уездах еще двадцать лет назад почти во всяком крестьянском доме работали миткаль — в настоящее время там нет ни одного миткалевого стана».

Из этого примера видно, однако же, что машинное производство развивалось в России в первой половине XIX в. довольно медленно. В самом деле, первая паровая фабрика вообще появилась у нас еще в конце XVIII столетия. Это был петербургский машиностроительный завод Бэрда, существующий и до сих пор (бывший завод Франко-русского общества). Он строил шаровые машины, пароходы и брал на себя оборудование фабрик. Последней цели служила также казенная Александровская мануфактура, основанная в 1798 г.: от нее получали машины первые русские механические прядильни, которые появились в 1808 г., а к 1812 г. их насчитывалось уже более десятка. В первой четверти XIX в. русский промышленный капитализм переживал период сильного подъема. «Не только многие богатые коммерсанты а дворяне, но из разного состояния люди приступили к устройству фабрик и заводов равного рода, не щадя капиталов и даже входя в долги», — писал в 1820-х гг. автор одной докладной записки, носившей витиеватое заглавие «Патриотическое рассуждение московского коммер-

санта о внешней российской торговле». «Рассуждение» доказывало необходимость для России покровительственной системы и высоких таможенных пошлин. Достоверность его фактических показателей подтверждается с разных сторон — в том числе из источников, не имеющих ничего общего ни с российским патриотизмом, ни с российской коммерцией. В 1811 г. французский посланник Коленкур доносил Наполеону, что в России открывается одна фабрика за другой — то суконная, то шелкопрядильная, то свеклосахарный или винокуренный завод. В 1812 г. в России считалось 2332 фабрики, в 1814 г. — уже 3253, в 1828 г. — 5244.

Особенно росло хлопчатобумажное производство — и на это была вполне определенная причина. До начала XIX в. Россию, как и весь европейский континент, снабжала хлопчатобумажными тканями Англия. В 1806 г. Наполеон, желая подорвать английскую промышленность, установил т. н. *континентальную блокаду*: торг с Англией был запрещен как во Франции, так и во всех союзных с ней и зависевших от нее странах. По Тильзитскому миру 1807 г. Россия должна была присоединиться к «континентальной блокаде»: ввоз английских товаров к нам почти прекратился. Но хлопок в сыром виде получается не из Англии, а из Америки — и ввоз его в Россию стал расти с головокружительной быстротой: от полумиллиона фунтов в 1809 г. он дошел почти до 10 млн фунтов к 1811 г. В это время ни одна европейская страна не ввозила столько хлопка, как Россия (германский, например, ввоз немного превышал два миллиона фунтов). Так как «разного состояния люди» не имели своих крепостных, подобно старым суконным и полотняным фабрикантам или железозаводчикам, то на вновь основывавшихся хлопчатобумажных фабриках преобладали вольнонаемные рабочие: к 1825 г. из 210 тысяч рабочих на русских фабриках и заводах 114 тысяч, более половины, были нанятые. *Рост заработной платы* в это время служит еще новым доказательством промышленного подъема. В первые годы XIX в. вольнонаемный рабочий получал в России от 6 до 10 руб. в месяц. В 30-х гг., по словам одного официального издания, «хороший ткач шелковых материй» мог приобрести в Москве по 3–4 рубля в день. Правда, что этот рубль — ассигнационный — сильно упал в цене и стоил теперь 27–28 копеек; правда и то, что официальный автор, вероятно, прикрашивал действительность: но если даже произвести соответственный учет на цене рубля и понизить, кроме того, показание этого автора вдвое, мы все же получим увеличение заработной платы, по крайней мере, на 50 % (10 и 15 руб. в месяц). Наблюдения над колебаниями заработной пла-

ты в отдельных предприятиях дают увеличение, за первые двадцать лет XIX столетия, % на 25. По следам знакомого нам Гакстгаузета «ни в одной стране заработная плата (фабричных рабочих) не достигала такой высоты, как в России».

«Даже денежная заработная плата в России, в общем, выше, чем в Германии. Что же касается до реальной платы, то преимущества русского рабочего перед иностранным в этом отношении еще значительнее» — потому, конечно, что все съестные припасы в России 40-х гг. стоили гораздо дешевле, чем в Германии.

Здесь мы имеем не только яркий симптом роста русской промышленности в первой половине XIX в., но и объяснение сравнительной медленности этого роста и долговечности кустарных промыслов. В самом деле, «вольные» рабочие русских фабрик в начале XIX столетия были в действительности *крепостными крестьянами, отпущенными по оброку*. Встречались, конечно, между ними и государственные крестьяне: были и рабочие, прикрепленные к фабрикам (т. н. «посессионные»). Но непроизводительность фабричной барщины была еще более общим местом, нежели барщины полевой. Свеклосахарные заводы, работавшие крепостным трудом, давали едва 3 % чистого дохода; тогда как Гакстгаузен купцы, применявшие на фабриках вольный труд, уверяли, что в России никто не станет затрачивать капитала на промышленное предприятие, если оно дает менее 20–25 % барыша, и по отношению к купеческим фабрикам это была правда. В то время как в Англии в 30–40-х гг. на каждого работника выплавлялось в год 3 122 пуд. чугуна, у нас на Урале, где работники были крепостные, — всего 144 пуда. Если в сельском хозяйстве могли быть споры относительно вольнонаемного труда, тут даже и споров быть не могло. Недаром наши фабриканты-помещики были первыми господами, которые ввели заработную плату для своих крепостных рабочих, фабриканты-купцы, владевшие своими фабричными на «посессионном» праве<sup>2)</sup>, поспешили избавиться от посессионных рабочих при первой возможности. Эту возможность им доставил Закон 18 июля 1840 г., вызванный многочисленными ходатайствами и петициями самих фабрикантов. В этих петициях фабриканты жаловались министерству финансов — в ведении которого они находились — что «производство на фабриках работы посессионными людьми не только

<sup>2)</sup> «Посессионные» рабочие были прикреплены к фабрике, но работали все же не даром, а за плату, размер которой, ввиду их закрепощенности, всецело определялся, разумеется, произволом владельца.



неудобно, но и наносит постоянно важные убытки», что «производить работы посредством посессионных фабричных, *коих содержание сравнительно с вольнонаемными обходится слишком дорого*, совершенно невыгодно». Эта «совершенная невыгодность» крепостного труда и приводила к тому, что еще до Закона 1840 г. более половины (54 %) рабочих на русских фабриках были вольнонаемные.

Но «вольнонаемный», повторяем, не значит «вольный»: вольнонаемные были те же оброчные крепостные крестьяне, по большей части. В их заработной плате заключался оброк, который они должны были платить своему барину. Косвенно фабрикант, таким образом, обязан был выплачивать помещику, под видом *заработной платы* рабочим, часть его *поземельной ренты*: вот секрет высоких заработных плат первой половины XIX столетия. *Поперек дороги развитию обрабатывающей промышленности стояло крепостное право*. Его упразднение было необходимо в интересах развития промышленного капитализма в России вместо более раннего капитализма торгового. А так как — мы это увидим впоследствии — промышленный капитализм в России до начала XX столетия гораздо больше опирался на привозный, западноевропейский, капитал, нежели на результаты местного «накопления», — туземное накопление до последнего времени росло в России медленнее, нежели наш промышленный капитализм, — то находит себе известное оправдание странная и на первый взгляд совершенно нелепая легенда, циркулировавшая среди мелких помещиков после Севастопольской войны. Легенда эта гласила, будто секретной статьей Парижского мира 1856 г. Александр II обязался между прочим дать в России свободу крестьянам. Само собою разумеется, что *фактически* ничего подобного никогда не было — никаких секретных статей этого рода парижский трактат в себе не содержал. Но он закрепил победу над николаевской Россией буржуазной капиталистической Европы; тотчас после Крымской войны начался приток в Россию заграничных капиталов — основанное в 1857 г. «Главное общество российских железных дорог» было созданием парижского банкира Перейры. «Освобождение» труда в России было логическим последствием этого факта — мужика нужно было открепить от барина и, хоть отчасти, от земли, чтобы создать «резервную армию» пролетариата, без которой не может существовать капиталистическое производство. И недаром в числе чествовавших Александра II за его освободительную инициативу на московском банкете 28 декабря 1857 г. мы на первом месте встречаем виднейшего тогда представителя русского капитализма — откупщика Кокорева.

Мы понимаем теперь, почему обслуживавший интересы промышленников «Журнал мануфактур и торговли», первое из официальных изданий, начал развивать в 1830-х гг. идею о преимуществах «вольного» труда перед барщинным, натверживая своим читателям мысль, что «всякая работа, в которой *принуждение* есть единственная пружина, никогда не будет производиться успешно». И мы видим, где эта идея должна была встретить наибольшее себе противодействие. Не среди владельцев барщинных деревень: эти последние давно на опыте проверили эту идею. Только низкие цены на хлеб мешали им сделать последний шаг. Но по мере роста их сознательности росло и число попыток хозяйничать по-новому. Тут любопытно совпадение двух рядов явлений: размножение в России *обществ сельского хозяйства*, с одной стороны, случаев применения *сельско-хозяйственных машин* — с другой. В 1765 г. было основано Вольное экономическое общество в Петербурге, и с тех пор до 1819 г. в собственной России не возникло ни одного общества этого рода. В этом году основано Московское общество сельского хозяйства, в 1828 г. — Южно-русское (в Одессе), в 1832 г. — Ярославское, в 1838 г. — Пензенское, в 1839 г. — Казанское, в 1847 г. — Лебедянское, в 1849 г. — Калужское, в 1858 г. — Смоленское и Ссимбирское. Параллельно с этим в 1832 г. возникает в Москве первый в России завод для изготовления сельскохозяйственных машин — знаменитая фирма «Бутеноп»; до 1860 г. ею было продано своих изделий на миллион с лишком рублей; в конце 50-х гг. она выпустила первые в России *локомобили* — в иллюстрированных изданиях тех дней можно видеть рисунки этого удивительного изобретения с восторженными описаниями. Все это кажется очень наивно и некрупно теперь, когда локомобили в России считаются десятками тысяч, а десятками миллионов рублей — *годовое* производство земледельческих машин и орудий: восемьдесят лет назад знаменательно было уже то, что место мужицких мускулов стали занимать пар и железо.

Не менее знаменательна была и другая перемена. Крепостное хозяйство, мы видели, держалось на *крестьянском* инвентаре — отсюда заботы барщинных помещиков о сохранении в неприкосновенности крестьянского тягла. К половине XIX столетия помещики находят выгодным для себя снабжать крестьян своим инвентарем — в Харьковской, например, губернии перед 1861 г. до половины крестьян не имели своих волов и лошадей и получали их от помещика. А последний зато отбирал у крестьянина большую часть его надельной земли: в Полтавской губернии около  $\frac{2}{3}$  крепостных, в Черни-

говской —  $\frac{1}{3}$  в ту же эпоху не имели ни десятины пахотной земли. Земля в барщинном имении начинает цениться дороже, чем обрабатывавшие ее крестьяне: так невысока была, в глазах тогдашнего помещика, ценность крепостного работника. Любопытный образчик этих новых отношений и взглядов приводит в своей статье только что упоминавшийся нами Кокорин. «Я недавно купил в Орловской губернии 2 200 десятин земли, без крестьян, у гр. Р. за 100 000 руб. серебр., — рассказывает он, — и отдал эту землю в аренду за 9 000 руб. в год, тогда как имение с крестьянами никогда не может дать таких процентов. В той же губернии мне предлагает кн. О. 3500 десятин земли по той же расценке, как я купил у гр. Р., но я не мог на это согласиться потому только, что на этой земле живут 500 крестьян, значит, и нет возможности приобрести эту землю купцу, а владение под чужим именем никому не по нутру. *Надобно вам сказать, что за 500 лиц крестьян никакой не полагалось цены*». Кн. О., таким образом, весьма не прочь был бы просто прогнать на все четыре стороны «500 лиц крестьян», обитавших в его имении, — но, на его беду, устаревшее законодательство, не признававшее освобождение без земли, мешало ему это сделать. Что ход мыслей кн. О. должен был быть именно такой и что он отнюдь не представлял собою исключения среди своих собратьев, черноземных помещиков, показывает одно дошедшее до нас письмо одной помещицы, как раз той же Орловской губернии, о которой трактовала и статья Кокорева. «В Орловской губернии земля очень ценна, — говорится в этом письме, — ибо *ненаселенное имение считается вдвое выгоднее населенного, а работники дешевы*»; дворяне охотно согласятся «взять всю землю себе... Здешние помещики до того ослеплены, что не видят возможной опасности в конечном разорении народа... Говорят, что именно дорога власть сослать в Сибирь по капризу, отдать в солдаты, висечь и проч. Но сослать и отдать в солдаты стоит денег, а без земли можно просто без расходов уморить с голоду, выслав со всею семьей из дому. Следовательно, власть казнить остается при помещиках».

Итак, те помещики, у которых крестьяне были на барщине, — т. е. те, которые сами вели хозяйство в своих имениях (а к таким принадлежало большинство помещиков черноземной полосы), перед 1861 г. ничего не имели против освобождения крестьян. Оговорку надо сделать только по отношению к самым мелкопоместным — владельцам десятков «душ», которые эксплуатировали личность своих крепостных, продавая их в рекрута в более богатые имения, торгуя «на вывод» крестьянскими девушками и т. п.: эти, конечно,

потерпели бы убыток от упразднения самого «крепостного права», в тесном смысле слова. Но социальное значение этой группы было ничтожно — никакого влияния она не имела и ничему помешать не могла. Для более же крупных вопрос шел не о том, освободить или не освобождать, а о том, «с землей или без земли»? Около этого должен был бы разгореться бой, если бы в России все имения покрупнее были на барщине. Если в истории «освобождения» оказались «крепостники», то потому, что в России большое количество имений было на оброке (цифры мы приводили выше, с. 117) и в нечерноземной полосе таких имений было большинство.

На первый взгляд это звучит парадоксом — оброчные имения представляются нам более близкими к свободе, менее крепостным, чем барщинные: недаром Онегин «ярем барщины старинной оброком легким заменил», чем и стяжал благословение своих «рабов». Правда, «легкий» оброк существовал больше в литературе: на практике, во времена Пушкина, оброк в 60 руб. (ассигнациями) с тягла считался «еще не великим», — и крестьяне многоземельных имений могли с ним справиться; а это на наши деньги около 45 руб. в год с семьи, где могло быть не больше 2–3 взрослых работников. Только, если имение было малоземельное, крестьянам приходилось иногда прибегать для уплаты оброка к экстренным мерам, вроде воровства соседнего казенного леса, а помещику для взыскания — к продаже крестьянских коров и лошадей. Но за всем тем оброчное хозяйство чисто экономически было ближе к свободному крестьянскому хозяйству, нежели барщинное; и именно потому, что здесь крепостного *права* было гораздо больше, чем крепостного *хозяйства*, юридическую границу было труднее переступить. «Особенно заботит меня имение новоторжское, — писал при первых слухах о крестьянской реформе один помещик нечерноземной полосы, — потому что *оно оброчное* и запашки (барской) в нем нет... *земля ничего не стоит*, и крестьяне ходят все в Петербург, следовательно, платят оброк не за землю...» Что бы стал делать помещик этого имения после освобождения его крестьян по «черноземному» образцу, т. е. даром, но без земли? Завел бы барскую запашку на земле, которая «ничего не стоила» и, очевидно, при обычном экстенсивном хозяйстве никакого дохода давать не могла? А чтобы завести интенсивное хозяйство, нужен был капитал. Перед владельцами оброчных имений оставалось два выхода: или добиваться получения капитала путем выкупа у них казною самих крепостных — этой дорогой предполагал идти автор только что цитированного мною письма. Он проектирует такой расчет: «У помещика 100 душ, каж-

дая душа работает 100 дней, итого 10 000 дней. Считая рабочий день по 20 коп., 100 душ дают 2 000 руб. Крестьянам будет предоставлено право внести помещику капитал, который, считая 6 %, дал бы такой доход, следовательно, 33 000 руб.» Расчет, как видим, весьма «умножительный» — крестьянская душа фактически работала в Петербурге, а не в новоторжском имении, и с экономической точки зрения «выкупать» ей было решительно нечего. Но без этого помещик оброчного имения при реформе потерял бы все — вот почему расчета новоторжского помещика с различиями в оттенках держались все «либералы» нечерноземной России, начиная с шедшей в авангарде освободительной армии тверских дворян. Такой же выкуп, в сущности, личности крестьянина лежал в основе и знаменитого проекта Кавелина. Но «либералы» за деньги пытались дать крестьянам по крайней мере настоящую свободу. Была другая группа оброчных помещиков, политически несравненно более влиятельная, которая решала вопрос консервативнее. «Знатные и богатые помещики», употребляя терминологию одной официальной записки 1859 г., желавшие «создать у нас поземельную аристократию, подобно английской», рассчитывали просто-напросто сохранить выгодную для них экономическую комбинацию, поступившись только в угоду времени юридической терминологией. Они соглашались, чтобы крестьяне были объявлены свободными, — но требовали, чтобы они не получили при этом пахотной земли, во-первых, и были прикреплены к этой не перешедшей в их собственность земле, во-вторых. К этим двум пунктам — обезземелению и прикреплению к земле крестьян одновременно — сводился в основных чертах проект «освобождения», выработанный в 30-х гг. Киселевым, и он же лег в основу знаменитого рескрипта 20 ноября 1857 г., с которого официально началась крестьянская реформа Александра II. По этому рескрипту, в собственность к крестьянам поступали только их *усадьбы* — наделы же переходили только в их *пользование*, причем первая уступка делалась «в видах предотвращения вредной подвижности и бродяжничества в сельском населении». Нет надобности говорить, что и проект, и рескрипт возникли именно в среде «знатных и богатых помещиков», которые заседали в николаевских секретных комитетах по крестьянскому делу и в «Главном комитете» 1857 г. Среди них были люди, лично близкие к Александру II и пользовавшиеся громадным придворным влиянием; социальной же опорой этого влияния служил тот факт, что *почти половина дворянских земель была именно в руках таких владельцев*. По 10-й ревизии (1857–1859 гг.) 44 % всех крепостных принадлежали помещикам, владевшим каж-

дый более чем 500 душ, а сами эти помещики составляли всего 4 % дворян-землевладельцев. 37 % были в собственности помещиков, имевших от 100 до 500 душ каждый — и составлявших 20 % всей дворянской массы. И лишь 19 % принадлежали мелкопоместным владельцам менее чем со 100 душами каждый, а эти владельцы давали % всего числа помещиков. Мы видим, как социально ничтожна была группа, заинтересованная в сохранении неприкосновенным крепостного права, но и средние помещики располагали немного более, чем *третью* всей дворянской собственности. Большинство этой последней — если не абсолютно, то относительно — принадлежало «знатным и богатым»: экономически совершенно естественно, что крестьянская реформа приняла такой вид, какой был нужен им — остальные группы должны были удовлетвориться уступками, но целиком того, что им было нужно, не получили.

Главную из этих уступок была нарезка крестьянам земли в собственность — мера, в нечерноземной полосе России безусловно необходимая для помещиков всех разрядов, «знатные и богатые» восставали здесь против нее исключительно по своему экономическому невежеству. По словам же одного из лучших знатоков вопроса в то время, Кошелева, освобождение по проекту знати «разорило бы в край половину помещиков, т. е. почти всех имеющих свои земли в промышленных губерниях, ибо крестьяне, *лишенные* своей вековой оседлости, ушли бы в страны более хлебородные». Помещики, собиравшиеся переходить к интенсивному хозяйству, потеряли бы при этом своих батраков, но и те крупные землевладельцы, которые сами хозяйничать не собирались, а искали в «освобожденных» крестьянах прочных и невольных (именно потому и прочных, что невольных) арендаторов, также лишились бы всех своих доходов. Дальнейшей уступкой в пользу среднего землевладения нечерноземной полосы (уступкой, само собой разумеется несколько не задевавшей интересов «знатных и богатых помещиков») была преувеличенная, почти двойная оценка тех земель, которые отошли к крестьянам, — т. е. тех наделов, какими владели крестьяне при крепостном праве. Рыночная стоимость всех этих наделов составляла в 60-х гг. 180 млн руб., а получили за них помещики 342 млн. В их руках оказался, таким образом, капитал в 162 млн руб. на переход к интенсивному хозяйству.

Обыкновенно эта цифра цитируется, как образчик жадности помещиков, — и, само собою разумеется, об их бескорыстии она не свидетельствует. Но, благодаря тому, что реформу вели не помещики-хозяева, а группа, не заинтересованная в получении капи-

тала на хозяйство, с крестьян взяли меньше, чем предполагалось прожектерами этого лагеря. Мы сейчас видели, что крестьянская земля была оценена почти *вдвое* выше ее действительной стоимости, другими словами, в каждом рубле выкупной платы только 50 % шли собственно за землю — остальным крестьянин выкупал свою «душу». Но, по расчету Кавелина, крестьянская «душа» в нечерноземной полосе стоила *втрое* дороже крестьянской земли: если бы установить выкупные платежи по этому расчету, крестьянину пришлось бы платить 25 % за землю и 75 % за «душу», т. е. заплатить помещикам не 342, а около 700 млн руб. Что кавелинские вычисления не с неба упали, а были взяты из практики, показывают расценки крестьянского надела, проводившиеся «губернскими комитетами» нечерноземных губерний во время крестьянской реформы. Комитеты эти, состоявшие, как известно, исключительно из дворян, в большинстве выбранных местными помещиками, а в меньшинстве назначенных правительством, ценили крестьянскую землю гораздо дороже, чем «редакционные комиссии» составившиеся из чиновников и дворян, назначенных правительством. Ярославский, напр., комитет, оценивал крестьянские наделы своей губернии, смотря по местности, от 166 до 270 руб., а комиссии не считали возможным назначить больше 75–166 руб. Между тем и комиссии ценили не самую землю по ее рыночной стоимости, а выводили стоимость крестьянского надела из платимого крестьянами оброка, капитализируя его из 6 % — т. е. помножая на  $16\frac{2}{3}$ . Но мы знаем, что оброк в нечерноземной России крестьяне платили не за землю — оброк был выше дохода с земли. Помещики желали, однако же, получить слишком вдвое выше даже этой повышенной оценки. Только тогда, по их расчету, у них оказался бы в руках капитал, достаточный для перехода к интенсивному хозяйству. Но «знатные и богатые» их собратья не думали ни о каком интенсивном хозяйстве — они ценили в освобождаемом крестьянине будущий источник земельной ренты, будущего арендатора барской земли, и не видели никакой выгоды для себя в том, чтобы разорить этого будущего «фермера» окончательно. Экономическая отсталость тех что стояли во главе крестьянской реформы, оказалась на руку крестьянам. Владельцы больших оброчных имений лучше знали жизнь двора и петербургских канцелярий, нежели деревенское хозяйство. Им казалось, что они оберегли интересы помещика как нельзя лучше и что слышавшиеся из деревни вопли среднего землевладельца свидетельствуют только с строптивости этого последнего. На самом же деле, помимо своего сознания и ведома,

они помешали ему провести реформу так, как это было нужно помещикам, и оставили мужику больше, нежели этого требовали дворянские интересы.

Если, таким образом, даже две группы оброчных помещиков не могли столкнуться между собою, еще глубже должно было оказаться противоречие между «знатными и богатыми» владельцами оброчных имений и владельцами барщинных имений черноземной полосы. На поверхностный взгляд может показаться, что обе группы стремились к одному и тому же — к обезземелению своих крестьян. Но это было бы недоразумение: обезземеление каждая из них понимала по-своему. Барщинному помещику нужен был безземельный батрак, который бы не имел своего хозяйства и экономически вынужден был наниматься работать в барской экономии: сельский пролетарий, одним словом. Лэнд-лорду английского типа, привыкшему жить оброком со своих крепостных, такой пролетарий был совершенно не нужен, а по воспоминаниям о некоторых событиях в Западной Европе (1848 г. был в свежей памяти) он был ему страшен. Он не желал дать крестьянину земли *в собственность*, чтобы тот вынужден был арендовать барскую землю. Но, чтобы арендовать эту последнюю, крестьянин непременно должен был *сохранить свое хозяйство* — свой инвентарь и хотя небольшой клочок земли — ибо нельзя же было представить себе сельского хозяина с инвентарем, висящего в воздухе. Вот отчего первоначальные руководители крестьянской реформы и соглашались оставить крестьянину даже весь его прежний надел, но не на правах собственности, а лишь «в пользование», т. е. за тот же оброк, но увековеченный под именем «установленных законом повинностей». Когда выяснилось, что во имя интересов самих же дворян нечерноземной полосы надо поступиться принципом дворянской «собственности» (крестьяне сами всегда считали свои наделы своей крестьянской собственностью, как-то противоположная точка зрения составляла именно дворянскую особенность), надел согласился «уступить» крестьянам и совсем, а не только «в пользование». При этом его сильно обрезали, правда, отняв у крестьян от 20 до 40 % их земли, по разным черноземным губерниям различно (максимум в Самарской — 44 %, минимум в Курской — 22 %), и оценили на 20 % дороже его действительной стоимости (по рыночным ценам земля стоила 284 млн руб., а заплатили за нее крестьяне 342 млн), но черноземный крестьянин все же сохранил свой надел и свое хозяйство. Того, что было нужно черноземному помещику, безземельного батрака, он не получил — и опять-таки крестьянина спасла экономическая



отсталость тех, кто вел реформу: «знатным и богатым помещикам» был нужен арендатор, а не батрак.

Не может быть сомнения, что в крестьянофильской политике придворных и высших бюрократических кругов известную роль играл прямой политический расчет. Опасения крестьянской революции настойчивее всего слышались из этих кругов. С другой стороны, либерализм передовых помещиков — либерализм, отлично сочетавшийся с крайней жадностью по отношению к крестьянской земле и к крестьянскому грошу, — должен был возбудить против них вражду тех, кто составлял правительство, т. е. именно «знатных и богатых». Во внешней истории крестьянской реформы конфликт на этой почве играет очень видную роль — не учитывая его, нельзя понять многих шагов правительства. Но уже в основе этого конфликта лежала не политическая случайность, а глубокая экономическая логика. Прогрессивный помещик, надеявшийся вести хозяйство на буржуазных началах, был и политически ближе к буржуазии, нежели к старому, феодальному дворянству: недаром из рядов этих прогрессивных помещиков раздались первые требования бессословного суда, бессословного земства, а позже, в отдельных случаях, даже и требование отмены дворянских привилегий. При консервативности русской промышленной буржуазии до начала XX столетия (причины этой консервативности мы сейчас увидим) либеральный помещик, «левый земец», сделался у нас даже типом буржуазной оппозиции вообще. Но и независимо от этого конфликта, поведение владельцев больших оброчных имений не могло быть иным — тут была экономическая логика еще более глубокая. Они стремились сохранить как можно больше из крепостного хозяйства, пожертвовать как можно меньшим. Но крепостное хозяйство помещика держалось на крестьянском тягле — на самостоятельном крестьянском хозяйстве. Кто хотел вообще спасти страну, должен был спасать и тягло, и всячески предотвращать образование сельского пролетариата. Руководители крестьянской реформы, творившие волю правительства, это самое и делали. И, чтобы не оставалось сомнения, что они руководятся не интересами крестьянина как мелкого земельного собственника, а именно экономическим консерватизмом, вместе с тяглом они спасли и перенесли в пореформенную Россию другое учреждение, некогда специально использованное для обеспечения того же крепостного хозяйства: поземельную общину. Какие бы чаяния и ожидания не связывала с этим учреждением тогдашняя радикальная интеллигенция, сами деятели крестьянской реформы смотрели на него со строго «истори-

ческой» точки зрения. «Общинное устройство теперь, в настоящую минуту, для России необходимо, — писал Александру II генерал Ростовцев, председатель редакционных комиссий, — народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика. *Без мира помещик не собрал бы своих доходов ни оброком, ни трудом*, а правительство — своих податей и повинностей». Тут была та же логика, что и в сохранении в деревне другого устоя крепостного хозяйства — телесных наказаний. Все должно было остаться, по возможности, по-старому — перемены не должны были выходить из области слов или в крайнем случае писаной бумаги. Это не был лозунг *всего* дворянства, как часто думали: передовое дворянство готово было идти навстречу буржуазным отношениям гораздо радикальнее, чем это случилось. Но это был лозунг руководящей группы, от которой зависел «ход и исход крестьянского вопроса».

Для «знатных и богатых» результат реформы получился именно тот, какой был им нужен. Крупнейшее землевладение и после 19 февраля 1861 г. осталось господствующим, как оно было до него. По статистике 70-х гг. 10 % помещиков, владевших каждый более, чем 1 000 десятин земли, принадлежало  $\frac{3}{4}$  всей дворянской земельной собственности, причем  $\frac{3}{5}$  этой крупной собственности было в руках крупнейших владельцев, имевших более 5 000 десятин на каждого. Наоборот, трем четвертям всей дворянской массы принадлежало всего 14 % общего количества дворянской земли. Гибли и разорялись именно мелкопоместные — крупные имения, за индивидуальными исключениями, благополучно дожили до 1905 г. Арендные цены росли, как и предсказывал в свое время Кокорев, и с начала 60-х до начала 80-х гг. поднялись в  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{2}$  раза местами даже и гораздо больше, в 8–10 раз. «Арендатор» оказывался гораздо выгоднее «оброчного мужика» — и хлопот с ним было меньше. Сохранение крестьянского тягла оказалось очень мудрой мерой — освобожденный от обработки барской земли крестьянин мог лучше заняться своей землей, и урожайность крестьянской пашни, как надельной, так и арендованной, повысилась: по семи черноземным губерниям средняя урожайность в эпоху реформы была 3,8, а в 70-х гг. — 4,7. На душу населения в эпоху реформы приходилось 3,32 четверти чистого сбора, а в 1870–79 гг. — 3,88 четверти. Зато надежда тех средних помещиков, которые мечтали об интенсивном хозяйстве, развеялась, как дым, особенно в нечерноземной полосе. Уцелевшее крестьянское хозяйство оказалось грозным конкурентом помещичьего — и конкуренция эта давала себя чувствовать самыми различными и подчас неожиданными

ными способами. Расчет на дешевые рабочие руки оказался мифическим — руки в деревне были дешевы, когда был неурожай, т. е. когда и на барской пашне делать было нечего: при хорошем урожае крестьянам было достаточно работы на своих наделах, и они «ломили» цену, от которой барин приходил в ужас. Оборотного капитала было мало — полученные за крестьянские наделы выкупные свидетельства были проедены в переходный период, в то же время «знать и богатые» не позаботились организовать дешевого казенного кредита для своих среднеземельных собратий — даже существовавшие в крепостное время кредитные учреждения были закрыты; частный же кредит при огромном спросе на капиталы для постройки железных дорог был непомерно дорог (не менее 7 % годовых номинально — фактически еще более).

Наконец, само проведение железных дорог, мера, о которой прогрессивные помещики и их представители в литературе хлопотали уже с конца 30-х гг., дало совершенно неожиданные результаты. Ближайшая цель — оживление отношений с европейским рынком и поднятие хлебных цен — была, правда, этим достигнута: вывоз хлеба с 8 780 000 четвертей в конце 50-х гг. поднялся до 18 154 000 четвертей в конце 60-х; четверть пшеницы поднялась с 5–6 руб. до 8, четверть ржи — с 2 руб. 50 коп. или 3 руб. до 4–5. Но от этого выиграли не те губернии и не те слои населения, которые возлагали на железные дороги такие большие надежды. С проведением юго-восточных железных дорог, главным образом, линии Орел—Царицын (1870 год), за границу хлынул поволжский хлеб. Ранее отсюда вывозились, ввиду дороговизны транспорта, только самые ценные сорта хлеба — пшеницы-белотурка, например, — теперь пошла и русская пшеница, и даже рожь. В результате в то время как в Саратове хлебные цены поднялись на 100 %, в Орле они поднялись только на 66 %, а в Рыбинске — даже только на 50 %. Между тем в Нижнем Поволжье земля продолжала еще давать урожаи при очень экстенсивном хозяйстве, без больших предварительных затрат, — тогда как в нечерноземной полосе экстенсивное хозяйство уже не давало урожаев: конкуренция была невыносима. И в довершение своих бед как раз от проведения железных дорог помещик центральной России потерял главное свое преимущество, всей выгоды которого он и не сознавал при крепостном праве: монополию сбыта хлеба на рынке. Только располагая сотнями даровых крестьянских подвод, можно было доставить хлеб туда, где стояли выгодные цены — на один из главных рынков. Теперь, где была железнодорожная станция, там был и рынок, из любого захолустья

хлеб шел без перегрузки в Ригу или Одессу. Вместе с железною дорогой появились рои мелких агентов, которые покупали хлеб у кого угодно — у помещика, у крестьянина, у мелкого местного скупщика. Прежде мужик должен был терпеливо дожидаться, пока продаст свой хлеб барин, да еще возить барский хлеб в город на своей лошади — теперь барин должен был равняться под «мужицкие» цены. Но мужик, не знавший наемного труда и интенсифицировавший свое хозяйство при помощи своих мускулов, которые он в простоте души считал даровыми, — всегда мог продавать дешевле помещика.

В результате всего этого помещичье хозяйство Средней России после крестьянской реформы стало чуть ли не более еще экстенсивным, чем было ранее. «Почти все владельцы нашею околотка остались, как и крестьяне, при прежних сельскохозяйственных порядках, которые были еще пригодны, пока пашни давали хорошие урожаи без удобрения и существовал крепостной труд, но которые с истощением почвы и при вольнонаемном труде ведут к неизбежному разорению, — писал Кавелин о Тульской губернии начала 70-х гг. — Место прежнего расчета и, если хотите, своего рода теории, заступила рутина, в которой никто не отдает себе отчета, которой следуют только по привычке», «После Положения (19 февраля) прошло уже 12-лет, — писал в то же время о Смоленской губернии Энгельгардт, — но система хозяйства осталась у большинства все та же. Сеют по-старому рожь, на которую нет цен и которую никто не покупает, чуть у крестьян порядочный урожай, овес, который у нас родится очень плохо; обрабатывают поля по-старому, нанимая крестьян с их лошадьми и орудиями; косят также плохие лужки, скот держат, как говорится, для навоза, кормят плохо и считают скот хорошо содержанным, если коров по весне не приходится подымать». Оба автора дают явлению субъективное объяснение, т. е. объясняют дело ленью, инертностью, непредусмотрительностью помещиков, которые не хотят «стряхнуть» с себя крепостнических привычек. На самом деле, явление было объективно необходимо: крупное земледельческое хозяйство могло держаться в Средней России только при том искусственном подчинении ему мелкого, которое и называлось крепостным правом. Как только оба хозяйства, мелкое и крупное, стали в одинаковые условия конкуренции, мелкое при данной обстановке должно было взять верх. Оставалось поступить наоборот: поставить крупное хозяйство в зависимость от мелкого, т. е. отдавать барскую пашню в аренду крестьянам. Большинство помещиков так и делало и, пока на хлебном рынке держались «твердые» цены, кое-как выпутыва-

лось из затруднений. Настоящий кризис начался лишь тогда, когда цены на международном хлебном рынке упали<sup>3)</sup>; тогда уже никаким путем, даже посредством отдачи в аренду, нельзя было извлекать дохода из своих земель, и понадобились меры политические, известные под именем «контрреформ» Александра III. Но прежде чем перейти к ним, надо посмотреть, какие результаты дало падение крепостного права для развития промышленного капитализма вне области аграрных отношений.

Пролетаризованный работник нужен был не только владельцам черноземных имений: он нужен был также и фабриканту. Задержав пролетаризацию крестьянства, «знатные и богатые» помещики разрушили надежды не только своих среднеземельных собратьев, но и промышленной буржуазии. Под первым впечатлением реформы 19 февраля русская обрабатывающая промышленность не только не пошла вперед гигантскими шагами, но едва ли не попятилась назад. *Количество выплавленного в России чугуна с 1860 по 1867 г. упало с 20 1/2 млн пудов до 17 1/2 млн*; количество обработанного на русских фабриках хлопка застыло за этот же период времени почти на одной цифре — около 3 млн пудов. В самую первую минуту даже расчет на понижение заработной платы казался лопнувшим. Получив земельные наделы в нечерноземной полосе — довольно порядочные по размерам, все те оброчные крестьяне, которых загнала на фабрики барская воля (мы помним, как заботились помещики о развитии отхожих промыслов), а не их собственный интерес, поспешили оттуда уйти. Фабрикантам, чтобы удержать остальных, пришлось повысить заработную плату — и если после этого она опять скоро начала прогрессивно падать, то не столько в связи с теми или другими результатами крестьянской реформы, сколько благодаря *введению машин*, гнавших вниз заработную плату и до 19 февраля. В то же время, сохранив в деревне добуржуазные отношения — главным образом общину с ее круговой порукой, реформа не оправдала надежд на расширение внутреннего рынка. До 19 февраля этот последний туго развивался, между прочим, и потому, что крестьянство барщинных име-

<sup>3)</sup> Цена гектолитра пшеницы во франках:

Годы	Франция	Англия	Пруссия	Италия	Соед. Штаты
1862—1871	20,67	21,96	22,98	21,03	20,17
1891—1890	16,80	12,11	15,48	17,88	8,97

ний, почти не видя денег (где бы оно их зарабатывало?), поневоле жило в условиях полунатурального хозяйства — старалось почти ничего не покупать, удовлетворяя свои искусственно пониженные до минимума потребности собственными, домашними, средствами. Фабрика обслуживала городскую Россию и оброчное крестьянство, жившее отхожими промыслами. После 19 февраля в этом отношении дело мало изменилось. Черноземный крестьянин на своем «кошачьем» наделе по-прежнему сводил свои потребности к минимуму и не оставлял приобретенной в крепостное время привычки покупать как можно меньше. С этой точки зрения *любопытно* сравнить бюджеты крестьян Воронежской губернии — типичной черноземной — 80-х гг. прошлого столетия: в то время как у крестьян-собственников, т. е. получивших наделы, денежная часть составляла менее *половины* бюджета, у крестьян-«дарственников», фактически-пролетаризованных<sup>4)</sup>, деньгами покрывалось *три четверти бюджета*; лишь четверть того, что они потребляли, они извлекали из собственного хозяйства. Мы видим, какие преграды развитию денежного хозяйства в деревне ставило пресловутое «освобождение крестьян с землей», которым так хвастались творцы реформы 19 февраля и их поклонники, т. е. в действительности сохранение крестьянского тягла, ибо земли-то как раз крестьянам было дано в обрез.

Совершенно естественно, что в первые десятилетия после реформы промышленный капитал в России рос довольно медленно. Из общей суммы капиталов акционерных предприятий, возникших в России между 1861 и 1873 гг., всего 111 560 0000 руб., только 128,9 млн руб. было вложено в различные промышленные предприятия (в том числе на прядильные и ткацкие фабрики приходилось только 6 млн), тогда как в банки и кредитные учреждения было вложено 226,9 млн руб., а в постройку железных дорог — 698,5 млн руб. Мы видим, кто больше всего выиграл от реформы: давний и верный союзник крупного феодального землевладения, *торговый капитал*. Ибо создание сети *железных дорог*, крупнейшее капиталистическое предприятие пореформенной России, в первую голову служило интересам именно торгового капитала. Этим интересам отвечал прежде всего план сети, как он возник еще в конце 50-х гг.: по этому плану «непрерывным через 26 губерний железным путем» должны были соединиться «три столицы (Петербург, Москва и Варшава),

<sup>4)</sup> В виде «поправки» к реформе помещикам было предоставлено право ликвидировать свои отношения к крестьянам, уступив им *даром* 1/2 надела, без выкупа — т. е. фактически их обезземелив.

главные судоходные реки наши, *сосредоточие хлебных наших избытков*, и два порта на Черном и Балтийском морях, почти весь год доступные (Либава и Феодосия): *облегчится сим образом вывоз заграничный*, обеспечится привоз и продовольствие внутреннее». От этого плана были потом частичные уклонения, но основная его идея — соединение хлебородных губерний с вывозными портами — проводилась неуклонно. Хлебные грузы составили главную категорию русских железнодорожных грузов, и % их все рос: в 1870 г. они составили 27,5 % всей массы товаров малой скорости, а в 1876 г. — уже 42 %. На отдельных дорогах хлеб достигал 73 % и даже 88 % всех грузов. В то же время облегчение «хлебных наших избытков» путем выбрасывания все больших и больших масс хлеба за границу производилось с такою же неуклонной правильностью. Понятие об этом может дать следующая табличка, где сопоставлены: рост железнодорожной сети, рост нашего хлебного вывоза и процентное соотношение этого вывоза к чистому сбору хлебов:

Таблица 5.2

Годы	Длина железных дорог (верст)	Вывоз (тыс. четвертей)	Процентное соотношение к сбору
1871—1875	10 202	22 483	12,2
1876—1880	17 626	32 185	18,0
1881—1885	21 155	33 441	17,0
1887—1890	24 229	46 585	22,0
1891—1896	27 093	50 345	22,0

Так как население все это время росло (по последней, 10-й, ревизии дореформенной эпохи в России считалось 74 млн жителей, а по переписи 1897 г. оказалось 130 млн), то, несмотря на рост производства хлеба (со 184 млн четвертей в пятилетие 1871—1875 гг. до 288 млн четвертей за пятилетие 1890—1895 гг.), остатка на душу населения за вывозом получалось все меньше и меньше: в 1870 г. этот остаток был 2,4 четверти, а в 1895 — менее 2 четвертей (1,99). При этом пуд пшеницы в начале этого периода стоил 1 руб. 44 коп., а в конце только 74 коп., пуд ржи упал с 78 коп. до 54. Основная задача крепостного хозяйства — доставка на рынок все большего и большего количества все более и более дешевого хлеба вполне удовлетворительно разрешалась, таким образом, и после реформы, как до нее. Только работа выжимания из крестьянина приба-

вочного продукта, ранее выполнявшаяся индивидуально каждым отдельно помещиком, теперь была централизована: место помещичьих оброка и барщины заняли теперь правительственные *подати*. По известным вычислениям проф. Янсона, в 70-х гг. прямые налоги всяких наименований составляли от 120 до 200 % чистого дохода с крестьянского надела в черноземной полосе и от 200 до 270 % в нечерноземной. Крестьянин *вынужден* был для покрытия податей продавать свой хлеб, едва тот поспел, как можно скорее и не стесняясь ценой: отсюда общеизвестный факт, что *осенние* цены на хлеб в России тотчас после урожая всегда были ниже весенних: в среднем (по данным за 1888—1900 гг.) на 10 %, а иногда и гораздо более.

Но так как теперь, после 19 февраля, крестьянин был юридически свободен, то эффект действия податного пресса был несколько иной, чем пресса барщинно-оброчного. Этот последний разорял крестьянство, опуская его жизненный уровень до минимума в барщинных имениях, часто и ниже минимума в оброчных; но, как общее правило, он не лишал крестьянина его хозяйственной самостоятельности — на тягле держалась вся система, с исчезновением тягла исчезла бы и она. Реформа сохранила тягло, но теперь на местах некому было о нем заботиться. Администрация, взыскивавшая подати, зависела не от положения крестьян на месте, как зависел от него помещик в своем бюджете, а от петербургских настроений: помещику важно было свести концы с концами, а чиновнику важно было угодить начальству. Находились же администраторы, которые на уплату податей продавали не только крестьянский скот, но и крестьянские постройки. То, чего так старалось избежать правительство императора Александра II в 1861 г., *пролетаризация крестьянства*, под влиянием податной политики этого самого правительства шла медленно, но неуклонно — и притом, чем дальше, тем быстрее. За промежуток с 1888 по 1893 г. в девяти центральных черноземных губерниях число лошадей, главного рабочего скота, у крестьян упало на 931 тысячу при общем числе в начале периода, в 4 с небольшим миллиона, т. е. уменьшилась почти на 25 %. А число лошадных дворов, т. е. дворов, способных к самостоятельному хозяйству, «тягло» в старом, крепостном, смысле, упало на 116,8 тысяч из неполных 2 млн — на 4,5 %. Фактический рост пролетариата был, конечно, гораздо сильнее, чем можно подумать, имея в виду только эти цифры. Во-первых, пролетаризация имела место не только в земледельческой полосе, но и в центральных промышленных губерниях: хотя характерным образом пролетаризация этого рода, увеличение числа безлошадных дворов, слабее выражена в промыш-



ленном районе, чем в земледельческом. В первом население менее зависело от хлебного рынка. А во-вторых, значительная доля населения на черноземе фактически была обезземелена, как мы знаем, еще во время реформы, благодаря «дарственному» наделу. Если причислить к «дарственникам» всех получивших «низшие» наделы, доход с которых, по Янсону, был втрое ниже казенных податей, то процент пролетаризованных на черноземе в 1861 г. поднимается до 20–25 % всего крепостного населения. Этого было мало, чтобы снабдить батраками все имения, до 19 февраля состоявшие на барщине, но, само по себе безотносительно, это была крупная цифра. Исследователи конца XIX в. приблизительно определяли количество пролетариев в России цифрой в 10 млн; перепись 1897 г. насчитала 9 156 080 человек, живущих наемным трудом, — блестяще подтвердив таким образом гадательный расчет исследователей-марксистов. Около половины этого количества, 5 млн, приходилось на сельский пролетариат. Но другая половина должна была находить применение своему труду в промышленности.

Промышленный капитал не мог бы теперь пожаловаться на недостаток рабочих рук. Но накопившейся, вопреки всем предвидениям и мерам предосторожности, резервной армией труда воспользовался не столько русский капитал, сколько *капитал заграничный*. Завоевание России европейским (главным образом францужско-бельгийским) капиталом составляет один из существеннейших моментов в истории развития капитализма в России: без него не было бы той русской промышленности, которую мы находим перед войной 1914 г. Дело в том, что как раз в то время, когда стал расти понемногу русский пролетариат и расширяться, благодаря отчасти именно пролетаризации крестьянства внутренний рынок, русское туземное накопление, наоборот, пошло медленнее. Так как единственным товаром, который сбывала Россия, был хлеб, то накопление капитала в России тесно связано с хлебными ценами: а они к концу XIX столетия, как мы видели, стали резко падать. Только когда с самых последних лет этого века цены на хлеб начали вновь «крепнуть», стало расти наше туземное накопление (табл. 5.3).

Но довольно долго туземное накопление не могло догнать притока иностранного капитала в Россию (табл. 5.4).

Как видим, только в самые последние года перед войной капитализм в России стал опираться почти исключительно на русские капиталы. Задолго до этого русская обрабатывающая промышленность уже росла в гигантской пропорции. Выплавка чугуна в России с 31 млн пудов в 1885 г. поднялась до 87 млн в 1895 г. и до 166 млн

Таблица 5.3

Годы	Накопление туземного капитала (млн руб.)	Ценность рус. вывоза (то же)	Цена ржи на берлинском рынке (в марках за тонну)
1893–1896	103,7	661,4	122,5
1897–1900	111,8	700,5	141,2
1901–1904	209,4	907,4	138,0
1905–1908	339,1	1055,2	173,0

Таблица 5.4

Годы	Капитал (млн руб.)	
	туземный	заграничный
1893–1896	103,7	144,9
1897–1900	111,8	450,7
1901–1904	209,4	181,6
1905–1908	39,1	370,7
1909–1911	913,1	284,0

пудов в 1905 г.; в 1910 г. она составляла более 185 млн пудов. Количество переработанного хлопка с 8 млн пуд. — в 1890 г. до 16 млн — в 1900 и до 22 млн пуд. — в 1910 г. В то же время самый *тип* производства становился все более и более «современным». Кустарь все больше уступал место фабрике. В 1866 г. из всего числа рабочих, занятых в хлопчатобумажном производстве, приблизительно  $\frac{3}{5}$ , 95 тысяч, работами на фабрике — остальные 66 тысяч у себя на дому; в 1895 г. на 242 тысячи фабричных приходилось уже только 20 тысяч кустарей. В новейшее время это таяние «домашней системы» шло еще быстрее: в 1904 г. домашние рабочих считалось еще 90 тысяч, к 1909 г. их число сократилось до 75 тысяч. При этом фабрика прямо и непосредственно вытесняла кустарное производство. «Вновь открытые фабрики выстроились в тех же районах, где раньше действовали раздаточные конторы (откуда кустари получали пряжу), — пишет владимирский фабричный инспектор в своем отчете за 1906 г., — и ручные ткачи, кустари, создали главный контингент рабочих этих фабрик. Обучение и приобретение навыка к механическому ткачеству миткалей, требуя не более 4–6 недель,

не могло служить препятствием к такому переходу, который ввиду вдвое большего заработка механических ткачей сравнительно с ручными был для них крайне желательным». Но и мелкая паровая ткацкая фабрика, возникающая на месте кустарной «светелки» (иногда буквально на том же месте: построят рядом со светелкой сарай для паровичка — и «фабрика» готова) являлась лишь переходным типом: ее самое быстро вытесняло предприятие-гигант с сотнями и тысячами рабочих. В 1909 г. более *трети* всех рабочих в промышленных заведениях, подчиненных фабричному надзору, было занято в предприятиях, имевших более 1 000 рабочих каждое (672 тысячи из 1788 тысяч); если взять соответствующую цифру 1904 г. за 100, то 1909 г. даст 120 — тогда как вообще число фабричных рабочих за это время увеличилось только на 7 %.

Но к этому времени *промышленный* капитализм в России уже начал перерождаться в капитализм *финансовый* — перед 1914 г. Россия вступила уже в *империалистическую* стадию развития.

Переход от промышленного капитализма к империализму Ленин определяет так: «Концентрация производства; монополии, вырастающие из нее; слияние или сращивание банков с промышленностью — вот история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия».

Но при этом приходится делать различие между теми странами, которые являются очагами империализма, — в Европе такими были Англия, Франция и Германия — и теми странами, куда эти патриархи империализма вывозили свои «излишки», т. е. те капиталы, которые с достаточной выгодой для предпринимателей не могли уже быть «вложены в дело» у себя дома. Вывезенные капиталы применялись там, где дешевле сырье и рабочие руки. Непосредственным местом назначения вывоза служили *колонии*: но не всюду в колониях экономические отношения созрели настолько, чтобы переход к капиталистическому производству там был возможен: из австралийского негра и из бушмена не сделаешь сразу промышленного рабочего. Поэтому наряду с колониями капиталы вывозились и вообще в отсталые, но быстро развивающиеся страны. Если там существовал уже туземный капитализм или его зачатки, тем лучше — ввезенный капитал находил уже вспаханную почву.

Туземное накопление, таким образом, не только не мешало ввозу капиталов, но до некоторой степени даже подстрекало его. Только ввоз этот принял другую форму: вместо того чтобы ссужать, как это раньше делалось, государству — или непосредственно ввозить сам капитал для постройки фабрик, покупки машин и т. д.,

субсидировали опирающуюся и поднявшую голову русскую буржуазию, снабжая капиталами *русские банки*.

Банки росли в России в этот период с быстротой еще более чудовищной, «ежели предприятия-гиганты. Их наполняло прежде всего туземное накопление — результат объединенного действия русского хлебного вывоза и „окрепших“ хлебных цен. Количество вывезенного хлеба увеличилось с 418,8 млн пудов в 1900 г. до 847,1 млн пудов в 1910 г., а его ценность — с 304,7 до 735,3 млн руб.» Количество вывоза увеличилось на 102 %, а стоимость — на 145 %.

Соответственно с этим *вклады* в банках росли в такой прогрессии:

Таблица 5.5

Годы	Млн руб.
1909	976
1910	1262
1911	1875

Но *собственные капиталы банков росли гораздо быстрее вкладов*: в то время как последние возросли с 976 млн руб. в 1909 г. до 2538 млн руб. в 1914 г., первые увеличились с 222 до 836 млн руб. Вклады за 5 лет выросли на 160 %, а собственные капиталы банков — на 276 %.

Но эти «собственные капиталы» банков были главным образом заграничными капиталами. Один близко стоявший к практике банковского дела автор, определяя всю «мощь» петербургских (ленинградских) банков 1914 г. в 8 % млрд руб., считает, что 55 % этой «мощи» распоряжались французские банки, 35 % — германские и 10 % — английские. Сравнительно небольшие иностранные капиталы, сложенные в русские банки «иностранными» (а по существу мировыми) банками Парижа, Лондона и Берлина, отдавали в руки международного капитала почти всю русскую промышленность. Упомянутый сейчас автор утверждает, что примерно 40 % всей банковской «мощи» предвоенной России было вложено в промышленность — преимущественно металлическую, текстильная была гораздо более «национальной». Другой, новейший, автор дает вот какую таблицу распределения различных отраслей промышленности перед 1914 г. между различными комбинациями нерусских капиталов.

Таким образом, «национализацию» русского капитализма не следует понимать в смысле его независимости от мирового капи-

Таблица 5.6

Происхождение капитала	Железо	Кам. уголь	Нефть
	% ко всему производству		
Французский .....	54,6	74,3	—
Франко-германский.....	10	10,5	11,5
Английский.....	4,8	—	18,5
Франко-английский.....	—	—	44,5
Германский .....	22	13,1	—

тала (табл. 5.6): это была лишь независимость русского капиталиста от царского казначейства. Русская буржуазия стала экономически, а стало быть, и политически независимее внутри страны — но зато она все более и более входила в шеренгу европейского империализма. Капитализм отсталой России был захвачен общим перерождением капитализма более передовых стран — и царскую политику гораздо больше определяли мировые, чем местные причины. В 1913 г. французская биржа прямо заказывала царскому правительству постройку военных железных дорог против Германии, ссужая его деньгами. И когда дело дошло до боя за мировую монополию между империалистскими колоссами Запада, Россия не могла не принять в нем участия, хотя *местных* причин для ее вмешательства в бойню 1914 г. было не больше, чем для Италии, например, или Японии. Объектом борьбы для России был Константинополь, но он был объектом вождлений царской политики в 1880-х и в 1890-х гг. — начать, однако же, из-за нею войну с Германией и Австрией не хватало духу ни у Александра III (оттого он и попал в историю с титулом «Миротворец»), ни у Николая II в первые два десятилетия его царствования. Только на поводу у финансового капитала Европы Николай решился на эту авантюру.

Вопрос о том, что вызвало приток иностранных капиталов в Россию, начиная с конца 80-х гг. прошлого столетия, лежит вне пределов истории *русской* культуры. На него, впрочем, едва ли можно ответить одинаково для *всех* стран, ввозивших к нам свои «сбережения». Так, для Франции, которой принадлежала львиная доля ввоза, решающим условием было совпадение краха ее колониальной политики (неудача Тонкинской экспедиции 1883 г.) со слабым развитием ее собственной индустрии: по выплавке чугуна еще в 1900 г. Франция стояла на одном из последних мест в Евро-

пе, притом ниже России<sup>5)</sup>. Общими для всех европейских стран условиями была необыкновенная дешевизна капиталов на Западе в 90-х гг. (деньги можно было достать под наиболее солидное обеспечение из 3%, — французская трехпроцентная рента стояла выше номинальной цены), с одной стороны, и необыкновенная высота русских таможенных пошлин — с другой: русский тариф 1891 г. пошлину на чугун, например, поднял с 7 коп. за пуд до 45–52 коп., на бумажную пряжу — с 4 руб. 81 коп. до 7 руб. 20 коп. Это создавало для, русских предпринимателей исключительно выгодные условия и сулило им такие барыши, каких нигде уже в Европе получить было нельзя; понятно стремление многих французов, бельгийцев и немцев стать «русскими» предпринимателями. Повышение таможенных пошлин отчасти было предпринято сознательно, именно с целью привлечь в Россию иностранные капиталы, но отчасти это было автоматическим последствием работы того налогового прессы, о котором говорилось выше. Жали со всех сторон, и в области прямых налогов и в области косвенных, должно было подняться и таможенное обложение.

В 1891 г. пресс казался завинченным так туго, что стране, по-видимому, грозила смерть от задушения в самом близком будущем. Неурожай этого года, о котором понаслышке знает и теперь всякий, представлялся началом агонии. На деле оказалось, однако же, что русское народное хозяйство способно вынести и еще большее давление. Гнет казался максимальным для низких хлебных цен; стоило начать подниматься этим последним, и даже в крестьянском хозяйстве (а уже из него ли не выкачивали в десятки рукавов?) стали возможны прогрессивные тенденции. Уж около 1900 г. деревянная соха на черноземе была вытеснена железным плугом, и крестьяне, до тех пор неуклонно терявшие лошадей, стали их прикупать. «Вся рабочая сила накинута на хлебопашество», — писал один современный наблюдатель. Но крестьянство в районе старой крепостной России было так крепко сжато, что здесь далеко дело пойти не могло. Гораздо резче сказывались новые тенденции в хозяйстве помещичьем или у крупного крестьянства русских окраин, вроде Новороссии, Кубанской области и т. п. Самым главным показателем перехода к капиталистическому строю в этой области было *потребление сельскохозяйственных машин*. Еще в 1876 г. их продавалось в России на сумму менее 4 млн руб. ежегодно: к 1890 г.

<sup>5)</sup> Примечание к четвертому изданию. Теперь (1924 г.) Франция на *втором* месте в Европе, уступая только Англии, и то незначительно.

эта цифра выросла больше чем вдвое — до 72 млн: а по данным за 1912 г. Россия потребляла ежегодно сельскохозяйственных машин на 110 млн руб., за двадцать лет капитализм в сельском хозяйстве вырос в 15 раз. За то же время (1876–1912 гг.) производство сельскохозяйственных машин в России увеличилось в 23 раза (с 2,3 млн руб. до 56 млн).

Колоссальнейший мировой кризис, захвативший «империализированную» Россию в 1914 г., резко оборвал эту линию развития — посрамив тем всякие «эволюционные» теории. Прежде всего под влиянием войны стала резко понижаться *урожайность*:

Таблица 5.7

Годы	Урожай в России:	Пшеницы	Ржи
		(млн пудов)	
Средн. 1909–1913		1156,2	1355,4
1915		1066,1	1341,0
1916		718,8	1285,0
1917		616,8	925,2

Так подействовала империалистская война, которая велась в же на окраинах и сердцевину страны могла затрагивать только косвенно. Когда в 1918 г. началась война гражданская, охватившая кольцом всю Среднюю Россию и переносившая военные действия временами под Ленинград, иной раз даже и под Моск (Ярославское восстание июля 1918 г.), и особенно тяжело ударившая по основным сельскохозяйственным базам старой «империи» по Украине, Поволжью и Северному Кавказу, дело, конечно, никак не могло поправиться — как ни настойчиво требовали это начавшие войну белогвардейцы от взявших власть в руки большевиков. Чтобы читатель на минуту живее представил себе влияние Гражданской войны на народное хозяйство, напомним, что одних железнодорожных мостов было взорвано 3 672 (из них к весне 1922 г. не восстановленными осталось только 40). Такое разрушение транспорта и вместе с ним внутреннего рынка должно было усугубить влияние разрухи, созданной войной империалистской. Это сказалось и на размерах посевной площади, и на размерах урожая (табл. 5.8).

Таблица 5.8

Годы	Посевная площадь (млн десятин)	% сокращения к 1913 г.
1913	98,5	—
1916	96,0	2,5
1917	93,5	5,0
1920	86,0	12
1921	76,0	22,6
1922	64,5	34,5
1923	75,8	23,0

Только через два года по окончании Гражданской войны (ноябрь 1920 г.) размеры посевной площади снова пошли вверх. То же было и с урожаем (табл. 5.9).

Таблица 5.9

Сбор зерновых хлебов и картофеля (в переводе на зерно)

Годы	Млн пудов	% к 1916 г.
1916	4107	—
1920	2550	62
1922	3440	84
1923	3386	82,4

Чего стоила Гражданская война сельскому хозяйству, еще нагляднее можно судить по количеству скота, оставшегося в распоряжении населения к 1923 г. Принимая опять-таки 1916 г. за 100 %, в 1923 г. у населения осталось: лошадей 69,9 %, коров 81,7 %, овец 53,1 % и свиней 47,6 %.

Так как Гражданская война была отчасти попыткой загнать обратно вырвавшуюся из огненного круга империалистской бойни страну (т. н. «воссоздание восточного фронта» в 1918 г.), отчасти мстью за уход и «дурной пример» большевизма (деникинщина и врангелевщина 1919–1920 гг.), то все эти цифры иллюстрируют последствия русского империализма.

Еще более тяжелый «выкуп» за право «выписаться» из чина империалистских стран заплатила русская промышленность. Ее валовая продукция была очень увеличена войной — с 5,6 млрд



в 1913 г. до 6,8 млрд руб. в 1916 г. По мере того как война замирала, эта искусственная полнота сжималась в такт с сужением внутреннего рынка, разлагавшегося вместе с разрухой транспорта.

Таблица 5.10

Годы	Валовая продукция (млн зол. руб.).
1917	4344
1918	1941
1919	1447
1921	1921,929
1922	1471,2
1923	1793,5

(За первое полугодие 1924 г. намечается увеличение еще на 20–22 % — общая продукция этого года должна, таким образом, составить более 2 млрд зол. руб.)

Мы не даем анализа нового хозяйства СССР — социалистического (термин, который пока приходится считать условным, поскольку элементы социализма переплетаются еще у нас со старыми и иногда очень примитивными капиталистическими формами). Это не прошедшее, а будущее. Настоящим является только политико-юридическая база социализма: отсутствие частной собственности на землю и (не в принципе, но фактически) на орудия крупного промышленного производства, включая транспорт. Пока удовлетворяемся тем, что выход из империалистского кольца кончился не экономической гибелью — о которой пророчествовали все «разумные» люди, — а несомненным, никем не отрицаемым возрождением. Старая «Россия», самая отсталая страна Европы, оказалась первой страной, живущей по сю сторону империализма. Лишь для нас он — прошлое. Для всего остального мира он пока настоящее. А наше настоящее — для всего мира пока будущее.

### Библиография

Дать сколько-нибудь полный обзор существующей литературы по «промышленному капитализму» в России еще менее возможно, нежели исчерпать литературу по крепостному праву. Ограничиваемся главнейшим. Основным пособием для конца XIX в. является всем известная книга

Вл. Ильина (Н. Ленина). «Развитие капитализма в России» (Собр. соч. Т. III. СПб., 1899.). Более специальные работы Ленина посвящены *аграрному вопросу* («Агр. вопрос в России к концу XIX в.», а «Агр. вопрос в Русской революции» др. — все собраны в IX томе собрания сочинений). Для *промышленности* предшествующего времени см. «Русскую фабрику в прошлом и настоящем» М. Туган-Барановского (Т. I. СПб., 1900 г., — 2-е издание; и есть 3-е), где историческая часть гораздо сильнее глав, посвященных новейшему времени. Что касается *крестьянской реформы*, то юбилей 19 февраля, в 1911 г., вызвал к жизни чрезвычайно обширную литературу, опирающуюся, за немногими исключениями, на давно известный печатный материал и не сходящую с традиционной точки зрения на реформу, как на удар мечом сверху по гордиеву узлу; насколько этот взгляд живуч, показывает повторение его в очень упрямой форме в цитированной на с. 139 книге Струве. Архивная разработка вопроса только что начинается? между тем лишь она может внести нечто существенно новое. Пока этого не случилось, мы недалеко ушли от старой работы покойного И. Иванюкова «Падение крепостного права в России» (М., 1882; есть новое издание), которую и приходится рекомендовать начинающим, как вполне удовлетворительную *внешнюю* историю реформы, внутреннюю же нужно считать просто еще не написанной. Для аграрных отношений после реформы см.: П. П. Маслов. Аграрный вопрос в России (несколько изданий). Роль железных дорог обстоятельно рассмотрена в названной неоднократно работе П. И. Лященко «Очерк аграрной эволюции России» (Т. I). Для положения иностранного капитала в русском хозяйстве см. книгу д-ра Ischhanian «Die auswärtigen Elemente in d. russischen Volkswirtschaft» (Berlin, 1913), а также ст. С. Ж. Прокоповича в «Современнике» (июль 1912). Обширный статистический материал по истории народного хозяйства в России в конце XIX в. см. в соотв. отделах статьи «Россия» словаря Брокгауза и Ефрона (полутомы 54–55 и 4-й дополн.). Для XX в. основные данные по *аграрным* отношениям читатель найдет в книжке С. Дубровского «Очерки русской революции» (Вып. I. Сельское хозяйство. Изд. 2. Новая Деревня. 1923). См. также: проф. Кондратьев. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. Об империализме см.: Ленин И. Империализм как новейший этап капитализма // Собр. соч. Т. XIII); Бухарин Ж. Мировое хозяйство и империализм (несколько изданий). Специально для *русского империализма* см.: Ванаг Ж. Финансовый капитал в России накануне мировой войны. 1905. Для *революционной эпохи* см.: Крицман Л. Героический период Великой Русской Революции. М.: Гиз, 1924.

## Часть II

# Государственный строй

<b>Глава 6</b>	
Военно-финансовая организация	166
<b>Глава 7</b>	
Суд	199
<b>Глава 8</b>	
Центральная власть .	222

## Глава 6

# Военно-финансовая организация

Первобытный коммунизм не знал государства, как особого учреждения. И в большой семье, как раньше в орде дикарей-собираателей, «общество» и «государство», аппарат хозяйствования и аппарат управления, сливались. Первые государственные образования могли возникнуть, таким образом, только уже в *феодальном* обществе, когда одни семьи разорились и попали в зависимость от других, более богатых, главным образом инвентарем — скотом, как мы видели; о земле, как богатстве, в те дни говорить еще не приходилось. Первым государством должна была стать феодальная вотчина того, примерно, типа, какой мы встречаем на русской почве в XIII–XIV вв. Но какой бы то ни было исторический процесс крайне редко попадаете нам в чистом виде. И гораздо раньше «туземного» феодализма мы уже встречаем у нас государство, основанное на *завоевании*.

Завоевателями явились те самые норманны, о которых нам уже приходилось говорить (см. главу «Первобытное хозяйство»). В поисках «товара» они не только мимолетно грабили восточных славян, но и осаживались прочно, создавая правильный приток «меновых ценностей» к их стоянкам. Между ними и населением установились отношения *господства*.

На первых порах господство выражается в том, что господа, победители, отбирают в свою пользу часть продуктов, производимых побежденным: *собрать дань* — самый простой способ властвовать. В языке это сохранилось до наших дней: *подданный*, это тот, кто «под данью», кто платит дань. Итак, *цель* первоначальной принудительной организации, как надо догадываться, была *финансовая*: принуждение впервые понадобилось для сбора налогов победителями

с побежденных. А для того чтобы достигать этой цели, приходилось фактически или только в виде угрозы повторять акт завоевания: если не рубить мечом снова, то по крайней мере показывать меч. Древнейший сборщик податей — всегда человек военный; древнейший способ сбора податей — хождение князя с *дружиною*, т. е. со своими военными слугами, на «полюдье». Первоначальная, древнейшая, принудительная организация — *военно-финансовая*. И если не в смысле фактической точности, то с точки зрения исторической логики летопись глубоко права, приурочивая «начало русского государства» к появлению на Руси норманнов. Вполне возможно, что у нас были зачатки «государственности» и раньше норманнов: летопись упоминает о туземных князьях у древлян. Ибо суть дела, конечно, не в норманнах, а в подчинении одного племени другому, а это могло случаться и между славянскими племенами. Вероятнее всего, однако, что тут слово «князь» имело иное значение. Но варяжское нашествие — самый крупный случай иноплеменного завоевания, какой мы встречаем на заре нашей истории; притом норманны завоевали все племена восточных славян; так что общерусской государственной организации во всяком случае положили начало они <sup>1)</sup>.

Основу этой организации составляла упомянутая сейчас княжеская «дружина», «своим появлением положившая начало русскому государству», по справедливому определению новейшего историка Киевской Руси. Князья были только предводителями этой дружины, без ее согласия ничего не предпринимавшими <sup>2)</sup>. В ближайшую к нам эпоху, единственно доступную изучению, дружина уже не имела племенного норманнского характера: состав ее был международный, в самом обширном смысле слова, с крупной долей восточных степных инородцев. Но имена древнейших дружинников, до нас дошедшие, показывают, что ядро ее составляли некогда варяги. Дружина была *конным войском*: на русской равнине морской викинг стал наездником, как стал он конным рыцарем на равнинах Северо-Западной Франции и Англии. В этом было стратегическое превосходство дружины над местным, славянским племенным

---

<sup>1)</sup> Читатель видит, что мы не придаем никакого исторического значения летописной легенде о призвании первых варягов править Русью. Легенда эта (или странствующее сказание, аналогичные легенды мы встречаем и у других народов) попала в летопись очень поздно, вероятнее всего, уже в XII в., со специальной целью облагородить княжескую династию и возвысить моральное значение княжеской власти вообще.

<sup>2)</sup> Подробнее об этом см. ниже (глава 8).

ополчением, *воями*, которых «сгоняли пешце», а если с лошадьми, то для обоза. Выше мы указывали, что в древнейший период лошадей у населения было и не очень много, так что у иностранцев явилось представление, будто лошадей на Руси имеет только князь. Это представление находит себе поддержку и кое в каких известиях нашей летописи. В 1068 г., когда княжеские дружины были разбиты половцами и в Киеве была паника, киевляне требовали у князя «оружия и коней»; значит, своих коней, по крайней мере боевых, у киевлян не было. С другой стороны, из показания летописи, приуроченного к еще более раннему времени (княжению Владимира Св.), мы узнаем, что уголовные штрафы, — виры, платившиеся князю (о них см. ниже — глава 7 «Суд») — должны были идти главным образом на покупку коней и оружия, кони опять являются княжеским достоянием по преимуществу. При господстве исключительно холодного оружия и отсутствии военной дисциплины в современном смысле этого слова перевес конницы над пешим ополчением был громаден.

Только при столкновениях с тоже конными ополчениями степных кочевников дружины одной оказывалось мало, и князьям приходилось привлекать к делу городские полки, устроенные и организованные, как нужно думать, по образу дружинного ополчения и прежде всего тоже конные. Вооруженное *купечество* — вот та сила, которая являлась ближайшим резервом дружины в «национальных» войнах того времени, в походах на половцев, например. Если мы припомним характер торговли древнейшей эпохи, торговли «разбойничьей», нам не понадобится большого напряжения мысли, чтобы понять, почему торговый класс Древней Руси был организован по-военному, почему купцы делились на сотни, подобно позднейшим казакам, и имели во главе «тысяцкого», т. е. полковника. Военное значение древнерусского города нам еще понадобится впоследствии, им объясняется ближайшим образом независимая, иногда даже командующая, позиция городского веча по отношению к князю. Пока для нас важно, что, будучи ближайшим товарищем дружины в военном строю, город не был объектом дружинной деятельности: *город*, как правило, *дани не платил*; если на город накладывалась дань, это имело такое же значение, как современная военная контрибуция. Дань платилась *смердами*, крестьянами, и для них это положение казалось до такой степени естественным, что на языке летописи «смерд» и «данник» — синонимы. В деревне конное рыцарство у нас, как и на западе Европы, было силой абсолютно, вне всякого возможного сравнения, преоб-

ладающей. И, если не считать прямых грабежей, с одной стороны, уголовных штрафов — с другой, древнерусская деревня была главным источником, откуда пополнялась княжеская казна. Пользуясь методом переживаний, мы можем составить себе весьма наглядное представление о древнейшей дани и способах ее собирания. В глухих уголках Полесья долго после киевской эпохи, под властью уже литовских князей, в XV, даже XVI в., сохранились те самые финансовые отношения, обрывки которых там и сям мелькают перед нами в «Русской Правде» и летописях; между тем как для Литовской Руси мы имеем уже довольно богатый документальный материал. Чрезвычайно архаична прежде всего самая дань, в ее «конкретной форме: подчиненные литовским князьям полешуки платили ее *медом*, знакомство с которым предков теперешнего населения Европы мы можем проследить, как мы помним, за пределы даже арийской древности. Но эта „медовая дань“ обросла уже более новыми наслоениями, к ней прибавилась в Литовской Руси (судя по некоторым указаниям летописи, уже и в Киевской) дань „грошовая“, по литовско-русской терминологии, т. е. *денежная*. Затем, — в Литовской Руси это был уже только старый обычай, в Киевской — самая серьезная, главная часть дани, — население обязано было доставлять князю и его слугам *меха и воск*. Сохранился и древний термин *полюдье*, „полюдование“, для обозначения экспедиции за данью. Как в древнейшее время племена восточных славян, так и литовско-русские данники XVI в. собирать дань обязаны были сами. „Медные“ и „серебряные“ *старцы*, отдаленные потомки» племенных старшин каких-нибудь древлян или радимичей, обязаны были заготовить все уложенное количество меду, воску, денег и мехов ко времени появления в волости «ездок», непременно военного человека, дружинника, посланного князем для сбора дани. Он ездил из волости в волость, кормясь за счет населения и на его подводах. Но, если дань платили исправно, он не смел оставаться в волости больше, чем было необходимо нужно: он приезжал к обеду и, переночевавши, на другой день после обеда уезжал, увозя с собою собранные населением деньги и припасы. Только в том случае, если последние поступали медленно и неисправно, на волость посылали «лежня», карательную экспедицию, в виде дружинника, который должен был «лежать» в волости, жить там за счет населения пока то не исправится и не заплатит, что следует. В XVI в. и в Полесье все это мелко и обыденно: но древнейшие экспедиции этого рода к могучим племенам обросли легендой в народной памяти, и летопись дает нам трагическую иллюстрацию к смешноватому на первый взгляд обы-

чаю, рассказывая, как князь Игорь заплатил головой за попытку «полежать» у древлян.

В Северо-Восточной Руси не сохранилось таких выразительных остатков киевской старины, как в западной, вероятнее всего, потому что в основу московских податных порядков легла *татарская финансовая организация*, стершая или по крайней мере закрывшая все предшествовавшее. Одной этой финансовой организации было бы достаточно, чтобы опровергнуть ходячее мнение, будто татарское нашествие было разгромом культурной страны дикими кочевниками. Татары, во-первых, были родоначальниками русской податной статистики, они начали с того, что «положили в число», переписали все податное население, показав этим, что их интересовало не только то, сколько *нужно* взять дани, но и сколько ее *можно* взять. Древнерусские князья с их дружинниками, по-видимому, знали только две нормы — размеры собственного аппетита и обычай; вопрос о «платежеспособности» населения перед ними не вставал. Поэтому и дань ими накидывалась сразу на целую область, жители которой разверстывали податную тяготу между собою, как хотели и умели. Татарская работа была гораздо тоньше. В основу податной разверстки они положили отдельное хозяйство, «соху», т. е. двух работников, так объясняет старинный текст. Впоследствии *соха* приравнивалась трем работникам. Созданное татарскими переписями «сошное письмо» провожает нас через всю московскую историю, до XVII в. Московское правительство разработало эту систему до большой виртуозности, как мы сейчас увидим, предшествовавшие же московским царям удельные князья Северо-Восточной Руси, кажется, и не пытались поправлять своих учителей, исходя из татарской статистики, как из чего-то установленного однажды навсегда. Так как за аккуратность сбора татарской дани отвечали именно князья, то они тщательно наблюдали, чтобы «письменные» или «численные» люди не уходили из того княжения, где застала их татарская перепись. «А численных людей блюсти нам за один», — говорят междукняжеские договоры, и о том же наставляют князья своих наследников в своих духовных грамотах. Эта была своеобразная круговая порука не населения (та существовала своим чередом), а его «хозяев» — порука в нерушимости татарской старины. Принять к себе «численного» человека из чужого удела — значило спутать статистические основания татарской дани, а основания эти свято береглись даже после того, как дань давно перестали платить татарам, и она поступала уже в карманы самих князей. Нет спора, что и при сборе своей дани —



сосуществовавшей, само собою разумеется, с татарской — князя руководились тою же сошной раскладкою. Организация взимания, разделение платящего населения на сотни, с сотниками во главе (которых не следует смешивать с военными делениями и военными начальниками купеческого ополчения), по всей вероятности, тоже татарского происхождения. Здесь по крайней мере терминология оказалась еще долговечнее «сошного письма», и «цоцкай» чеховского рассказа до наших дней напоминает нам, как прочно строили «дикие монголы».

Увеличили ли они податное бремя, лежавшее на «смердах», своими финансовыми мероприятиями? В одном отношении, несомненно, да: в дотатарской Руси платило одно крестьянство — в татарское «число» писались горожане и сельчане одинаково; даже Великий Новгород, как ни была ему тягостно и обидно, стал данником. Тяжелее ли стала дань сельского населения — у нас нет материалов, чтобы судить об этом вопросе, если не считать неопределенных жалоб летописей на тяжесть татарской дани да восстаний населения, как подтверждения этих жалоб: по восстаниям шли обычно из городов. Ясно одно, что к дани татары прибавили еще новые налоги, оказавшиеся не менее долговечными, чем «сошное письмо»: то были «ям» и «тамга». Зачатки *таможенных сборов*, пошлин с провозимых товаров, мы встречаем и до татар — под именем *мыта* (откуда классический «мытарь» и название села «Мытищи» под Москвою). Тамга была попыткой обложить товары пошлиною не случайно, по тем или другим местным условиям — потому, например, что в данном пункте был мост или переправа, — а всюду, где они продавались, на всех рынках; это была попытка централизации таможенных пошлин по всей Руси, и этой попытки опять хватило надолго; татарская тамга перестала собираться только в XVII в. Нет надобности прибавлять, что уже с XV она шла не в пользу татарского хана. Но наиболее выразительным памятником организационной деятельности монголов остался ям: татары первые устроили в России за счет и средствами местного населения правильные почтовые сообщения. Они, по-видимому, пользовались ямской повинностью сначала исключительно для своих надобностей: русские ямщики обязаны были возить татарских чиновников. Но пример и тут оказался чрезвычайно кстати: по образцу татарского яма была организована ямская гоньба всей Московской Руси, и только опять-таки в XVII в. у нас появилась почта на западноевропейский образец.

Древнейшие основы русской финансовой организации были, таким образом, результатами двух завоеваний. Они отвечали военным потребностям — но не самой России, а ее завоевателей. Два следующие этапа в развитии этой организации, реформы середины XVI и начала XVIII вв., тоже непосредственно отражают собою военные интересы, но уже туземные. Господство чужого племени сменилось господством *класса* — если придирается к этнографическому его составу, тоже не совсем «своего»: по «подсчету Ключевского, в рядах московского дворянства XVI–XVII вв.». «русские», т. е. великорусские, фамилии составляли всего 33 %, «немецких», т. е. западноевропейских («варяжских», сказали бы в киевское время), было 25 %, а восточных, «татарских» — 17 %. Как бы то ни было, политически это не было чужеземное владычество. Как мы уже видели в певрой части, командующее положение этой разноплеменной массы имело своей основой крупное землевладение. Так как земля первоначально обрабатывалась или своими руками, или рабским трудом, то крупным землевладельцем раньше всего становился тот, у кого было много рабов, а больше всего их бывало у военных людей, у тех же дружинников, тем более у князей; первыми крупными землевладельцами и были поэтому князья и дружинники. Мы видели, в связи с какими хозяйственными процессами произошла демократизация этой массы землевладельцев в XVI в. Одной из сторон этой демократизации было то, что право носить оружие и пользоваться им — военная «служба» — стало при Грозном доступно каждому землевладельцу крупнее крестьянина. Это было именно *право* или, если угодно, привилегия; *повинностью* военная служба стала только гораздо позже, к концу XVII в. К этому последнему моменту дворянство успело обжиться в своих поместьях и неохотно шло в ряды новой, регулярной армии, с ее томительной муштрой и принижающей дворянское достоинство дисциплиной. Прадеды бегавших от службы петровских помещиков, наоборот, любили войну: период наиболее активной внешней политики Грозного, борьба за Ливонию, приходится как раз на то время, когда у власти стояли наиболее демократические слои дворянской массы, — на время опричины.

Но, конечно, они вели войны не за свой собственный счет — как и прежние дружинники, их социальные предки, они имели в виду разбогатеть на войне, а не разориться из-за нее. Военные расходы должно было нести на себе население не вооруженное, *тяглое*. Расходы эти настолько увеличились, что ни дани, ни тамги, ни яма, ни поборов, унаследованных от варягов, ни оставленных в наслед-

ство татарами уже не хватало; отсюда середина XVI в. ознаменована установлением целого ряда новых налогов, сами названия которых чрезвычайно характерны. Мы встречаем тут *стрелецкую подать*, *пищальные деньги* (пищаль — старинное фитильное ружье), *ямчужные деньги* (ямчуг — *селитра*), *полоняничные деньги*. Наиболее, пожалуй, любопытна последняя подать, введенная Постановлением Стоглавого собора 1551 г.: специальный налог для выкупа пленников мог явиться, только как отражение той острой нужды в рабочих руках, которая в ту же эпоху повела к установлению крепостного права. Причем работники были нужны, конечно, помещикам, а платили «полоняничную» подать, как и другие, разумеется, крестьяне. Остальные налоги едва ли нуждаются в пояснениях: их названия точно показывают, в чем было дело. В половине XVI в. приходилось от холодного оружия переходить к огнестрельному — стрельцы были у нас первой пехотой, вооруженной «огненным боем»: Но содержать приходилось не только их, служилые землевладельцы тоже не имели в виду служить даром и — одни чаще, другие реже — получали за службу от государя «жалованье». Необходимость снабдить этим последним сравнительно огромную массу народа — служилое ополчение в конце XVI в. считало до 70 000 человек — привело к самой крупной финансовой реформе Грозного: уничтожению *кормлений*. Пока дружина была немногочисленна, князья предоставляли дружинникам самим выбирать свое «жалование» с плательщиков. Та или другая волость давалась «в кормление» тому или другому дружиннику. Последний наезжал туда со своими слугами, заменявшими ему мелких финансовых и полицейских агентов, и собирал все причитавшиеся князю доходы — судебные штрафы, таможенные и иные пошлины, разные другие налоги, часть, обыкновенно половину, отсылая в княжескую казну, остальным «кормясь» сам.

Кормленщика довольно удачно — в смысле литературной метафоры удачно — сравнивали с арендатором современного крупного имения: только роль хозяйственных статей играли различные отрасли «государственного» дохода. Кормленщицкое правление постоянно вызывало жалобы местного населения — и тем больше, чем экономически развитее была та или другая местность. Кормленщик был не столько вреден этому населению, сколько совершенно и очевидно бесполезен: заботясь о своем кармане, он «ходил и своего прибытка смотрел», по выражению одного тогдашнего документа; ни на что другое он не обращал внимания. Между тем общество уже не представляло собою в московской провинции однородной массы, связанной прочным племенным обычаем. Оно расслаивалось

на классы. Землевладелец не довольствовался уже трудом своих холопов и начинал крепостить крестьянина. Зарождавшаяся торговая буржуазия начинала эксплуатировать выделившихся из крестьянской массы ремесленников. Этом «организаторам народного труда» нужен был элементарный полицейский порядок — а кормленщики и его не могли обеспечить. Вот отчего одновременно с повышением социального значения буржуазии и переходом политической власти из рук бояр в руки дворян царь Иван Васильевич Грозный «кормлениями пожаловал всю землю». Кормленщики были выведены из волостей, и собиравшиеся ими разнообразные доходы были заменены круглой суммой *денежного* ежегодного оброка, доставлявшегося выборными от населения в Москву, царским казначеям. В то же время полицейско-судебные обязанности и полномочия были возложены на местных помещиков (об этих *губных учреждених* см. ниже, главу «Судебная организация»). Хотя реформа (т. н. «Земская реформа Грозного») не имела повсеместного характера, не коснувшись более отсталых областей, тем не менее только с этого времени можно говорить с некоторым правом о финансах московского государства: раньше была княжеская казна, но общегосударственного финансового управления не было, и большая часть местных сборов до центральной кассы никогда не доходила. Для самого правительства Ивана Грозного главным во всем деле было увеличение дохода, чего оно и не думало скрывать, мотивируя в уставных земских грамотах реформу тем, что «наши дани и оброки» от плохого кормленщицкого управления «сходятся не сполна». В Москве виднее всего была непосредственная нужда в деньгах, созданная новой шейной организацией; на местах представляли себе дело сложнее, и очень характерно, что в «земской реформе Грозного» провинция руководила Москвою: кормления были отменены по челобитьям местного населения, которое само же и предложило план новой финансовой организации. Москве оставалось только согласиться.

«Реформ Грозного» хватило приблизительно на сто лет: до середины следующего, XVII, столетия мы не встречаем ничего принципиально нового. Основания же самой податной раскладки были все это время еще старше и Грозного: татарская «соха» дожила до первых Романовых. Но это не значит, чтобы экономическая эволюция прошла бесследно для русских финансов. Присматриваясь ближе, мы видим, что под прежними формами — можно бы даже сказать «под прежними словами» — скрывается совершенно новое содержание. Татарская соха была *единицей хозяйства*: когда мы читаем,

что в XVII в. на соху клалось *столько-то посадских* (городских) *дворов*, мы чувствуем, что, кроме звуков, тут нет уже ничего, напоминающего ордынское «число». Московская соха XVI—XVII столетий — не единица хозяйства, а только *единица обложения*; экономическое же содержание, соответствующее этой финансовой форме, может быть весьма различное. Даже там, где терминология еще всего ближе в экономической действительности, в деревне, в кругу аграрных отношений, соха второй половины XVI в. не имеет никакой связи с количеством рабочей силы. Соха — это известное количество *четвертей* земли, количество, менявшееся, в зависимости от того, о какой земле шла речь: о монастырской, дворцовой или помещичьей, хорошей, средней, «худой» или «добре худой». «Четверть земли» — это *четверть сева*, та площадь, на которую высевалась  $\frac{1}{4}$  ржи, тогдашняя четверть, составлявшая ровно половину нынешней. На десятину сеялось обыкновенно 2 четверти зерна, почему впоследствии (в XVIII в.) четверть и уравнивалась к полудесятине. По руководству податной раскладки середины XVI в. (т. н. «книге сошного письма»), в соху клалось «доброй земли» 800 четвертей, если она была помещичья, и 600, если она была монастырская: монастырь был обложен на 30 % выше, нежели дворянин; «худой земли» считали на соху 1200 четвертей у помещика и 800 у монастыря. Это были нормы, установившиеся, по-видимому, в эпоху финансовых реформ Грозного. Они намечали только начало дворянских привилегий: в 90-х гг. XVI в. барская пашня в помещичьих имениях была совершенно изъята из податной раскладки, а в первой половине XVII в. «соха» для помещичьих земель была заменена новой раскладочной единицей, «живущей четвертью». Буквально — это название обозначало действительно распаханную землю в противоположность всей вообще площади имения, — где мог быть и перелог, и «дикое поле», земля заброшенная или никогда еще не пахавшаяся. Так как после Смуты количество перелога в опустошенных областях России очень увеличилось, то *предлогом* — заменить счет на сохи счетом на живущие четверти, послужили именно опустошения, произведенные Смутой. Но классовое значение этой меры становится для нас совершенно ясно, когда мы сравним положение «черных земель» Русского Севера, где не было помещиков и крепостного права, и помещичьей Средней России при новой системе обложения, «С одной четверти, т. е. с полудесятины, — черносошный крестьянин Русского Севера должен был платить столько же, сколько землевладелец остальной России платил с 7–10 крестьянских дворов», — говорит историк русско-

го государственного хозяйства: так как и «живущая четверть» очень скоро утратила значение реальной, конкретной меры пахотной земли и стала условной единицей обложения, как ее предшественница, «соха». Только в нее клали уже не саму землю, а дворы сидевших на земле крестьян, которые все больше превращались в «капитал» помещичьего имения, и ценность последнего стали определять уже количеством дворов, в ожидании еще более реалистического и простого счета, на крестьянские души. Переход от татарской сохи в 3 работника к московской во столько-то четвертей земли отметил собою переворот в сельскохозяйственной технике: смену подсечного земледелия, когда землю не имело смысла мерить единицами площади, ибо на ней не оставались и ее было, сколько хочешь, перелогом и трехпольем, когда землю уже приходилось мерять, так как количество ее было уже ограничено. Переход от сошного счета к подворному отметил перемену в положении крестьянина, ставшего частью живого помещичьего инвентаря. В обоих случаях мы не выходим еще из области *аграрных* отношений. Но с XVII в. все более и более дает чувствовать свое влияние *торговый капитал*; нельзя ожидать, чтобы эта новая стадия экономического развития не отразилась на военно-финансовой организации. Наиболее непосредственно торговый капитализм дал себя почувствовать двумя неудачными финансовыми мероприятиями: *соляной пошлиной* 1646 г. и *медными рублями*. Первая открыла собою серию попыток положить в основу бюджета вместо *прямых* налогов, как это было испокон веку, со времен варяжской дани, *налоги косвенные*; предвосхитить то, что осуществилось, как известно, в начале XX в., когда прямые налоги составляли не более 8 % государственного дохода, а косвенные — 21 %, а вместе с «регалиями» (винной монополией и т. д.) — значительно более половины. Царский указ предписывал «со всей земли и со всяких людей наши доходы, стрельцкие и ямские деньги сложити и заплатити... теми соляными пошлинными деньгами». Соляная пошлина была при этом повышена вчетверо. Для того чтобы понять экономическое значение меры, нужно вспомнить, что торговля солью приняла крупно-капиталистический характер раньше, чем каким бы то ни было другим предметом первой необходимости; в XVII в. уже сотни тысяч, если не миллионы, пудов соли сосредоточивались в одних руках. Перенос на соль всех государственных налогов давал крупному капиталу случай к спекуляциям в совершенно неслыханных до тех пор размерах, тем более что и оборот соляной пошлины, как всех косвенных налогов, был, конечно, в руках крупных капиталистов,

московскими «гостями» во главе (см. выше, с. 94). Но капитал размахнулся шире, чем мог захватить. Легко было повысить сразу цену на соль в несколько раз, труднее было организовать торговлю солью на новых началах: народные массы остаются без главного предмета питания, соленой рыбы, и взбунтовались. Затею пришлось бросить — соляная пошлина не прожила и двух лет.

Несколько лет спустя была сделана другая попытка предвосхитить далекое будущее. Удачная порча серебряной монеты — иностранные деньги перечекивались в русские рубли с «прибылью», доходившей до 50 %, причем на внутреннем рынке это (по крайней мере в первое время) заметно не отразилось — навела на мысль выпустить деньги, совершенно лишенные самостоятельной ценности, покупная сила которых обеспечивалась бы исключительно поставленным на монете правительственным штемпелем. Мера не была так дика, как это казалось некоторым новейшим историкам, не представлявшим себе иных отношений, кроме сложившихся в наши дни в Европе. На самом деле материал денег довольно безразличен — все может служить деньгами, от раковин (некогда самая распространенная валюта во всех тропических странах) до кусков камня. Несомненно, что если бы медных рублей было начеканено столько, сколько требовалось оборотами тогдашнего московского рынка, они были бы не хуже всяких других ассигнаций с принудительным курсом, — а такими ассигнациями большие страны, в том числе и Россия, жили впоследствии десятилетиями при условиях гораздо более развитого хозяйства. Но тогдашний крупный капитал и здесь ухватился прежде всего за спекулятивную сторону дела. Пользуясь своим финансовым влиянием, московские гости скупали медь и превращали ее в монету, не стесняясь количеством. В результате медная копейка (наиболее ходячая тогда монета — рубль был счетной единицей) упала до  $\frac{1}{17}$  цены копейки серебряной. Все рыночные цены повысились в той же пропорции — а жалованье служилых людей осталось прежнее. Одного этого было бы достаточно, чтобы финансовое нововведение провалилось: бунт, вспыхнувший из-за «медных рублей», — в котором видное участие приняли мелкие служилые — был скорее поводом, нежели причиной их отмены.

Но попытка завести ассигнации не только технически связана с торговым капитализмом — она была результатом его влияния и в чисто-политическом отношении. Медные рубли стали чеканить потому, что нужны были деньги для войны с Польшей и Швецией:

но ничто не может быть характернее для новой эпохи русского народного хозяйства, как большие войны XVII в. Мимоходом мы уже касались этого вопроса в главе «торговый капитализм». Северная война Петра I не свалилась с неба — она была лишь заключительным звеном целого ряда попыток захватить в русские руки торговые пути на Запад: только эти попытки имели на первых порах такие же результаты, как медные рубли и соляная подать. *Военная реформа XVII—XVIII вв.*, закончившаяся созданием в России постоянной армии по европейскому образцу, — косвенно такое же дело торгового капитала, каким медные рубли были прямо — только дело более удачное; а эта военная реформа повела к ряду финансовых реформ, поставивших русское государственное хозяйство на те рельсы, по которым оно катилось до 1861 г.), и отмеченных опять-таки уже непосредственной печатью торгового капитализма. Военно-финансовую историю России со времен Алексея Михайловича до Николая I приходится рассматривать как один цельный отдел. Рекрутчина, подушная подать и откупа являются такими же характеристическими метками этого отдела, как «служилые люди» и «сошное письмо» для предшествующего.

Дворянское ополчение, составлявшее основу русской военной организации до Смутного времени включительно, уже в первой половине XVII в. годится только для оборонительной службы. Его собирают для того, чтобы сторожить южную, степную границу от татарских набегов. А когда пристепная полоса, непрерывно колонизировавшаяся, достаточно заселилась, его (с 1640-х гг., примерно) перестают собирать и для этой цели, предоставив оборону местным силам. В государственном бюджете уже Михаила Федоровича эта старая московская армия играет незначительную роль: она стоила не дороже 130 000 руб. тогдашних — менее миллиона теперешнего, ежегодно. Несколько дороже (до 145 тыс. руб.) стоили *стрельцы* — главная *полицейская* сила эпохи, столь обильной бунтами, являвшимися отпором закрепощаемого крестьянства и эксплуатируемого мелкого ремесла помещику и крупному капиталисту. Стрелецкое войско, если не появившееся, то получившее окончательное устройство при Грозном, представляло собою *городскую* часть служилого ополчения, как помещики — *сельскую*. Стрельцы не были похожи на современных солдат, живущих на всем готовом и по отношению к хозяйству являющихся только потребителями. У каждого стрельца было свое хозяйство — это были по большей части мелкие ремесленники и торговцы. Специалистами военного дела они были лишь отчасти — и чем дальше, тем



меньше. В 1630-х гг. они годились уже больше для ловли «разбойников» (имя, в то время охватывавшее чрезвычайно разнообразных нарушителей существующего порядка, как и имя «воров» — равнозначительное новейшему «злоумышленники») или для укрощения уличного бунта. На войну шли теперь *солдатские* полки, вымученные по западноевропейскому образцу и сменившие в поле стрельцов, как помещицы ополчения сменили *рейтары* (кирасиры) и драгуны. Эта настоящая, военная армия стоила гораздо дороже прежней. По одной смете второй половины XVII ст. одни «рейтары» должны были обойтись в 400 000 руб.: только один род оружия новой армии стоил в три раза дороже всей армии старого типа. Общий расход по «военному министерству» вырос за XVII в. *вдвое*, если не *втрое* (275 тысяч и 700 тыс. руб.). По отношению к общей сумме бюджета 1680 г. (1 125 тыс. руб.) военные расходы составляли более 60%; таково цифровое выражение активной политики торгового капитала. В 1701 г. армия Петра I стоила уже более 1 800 тыс. руб. и поглощала более 80% всего бюджета; к 1705 г. первая цифра поднялась до 3 200 тысяч, что по отношению к общей массе расходов составляло уже 95%. Так как от 2 до 3% бюджета тратилось на дипломатию и не менее этой цифры приходилось на «финансовые операции», т. е. на расходы для того чтобы добыть денег, то выходит, что *внешняя политика исчерпывала почти весь бюджет*. Надо было откуда-нибудь достать средства на покрытие двойных, если не *тройных*, расходов: военная реформа опять вела за собою *финансовую*.

Мы видели, как торговый капитал сначала пытался достать денег на новые расходы. В государственном хозяйстве он прибегнул к тем приемам, какими увеличивал свою частную прибыль: к спекуляции. Но в области широкой спекуляции он был слишком малоопытен — дело кончилось крахом. Из каталога спекуляционных средств вошло в нравы одно, самое простое — *порча монеты*. Из этого источника петровское правительство еще в 1701—1702 гг. извлекало более, чем 700 тыс. прибыли в год. Но именно энергия, с которой велась «операция», быстро иссушила источник: в 1709 г. прибыли на перечеканке монеты была уже немногим более 150 тыс. руб., потому что вся полноценная монета прежнего чекана была уже испорчена, — а спуститься прямо до медных, или почти медных, рублей боялись. Ближайшим следующим средством после спекулятивных мер была эксплуатация плодов чужой спекуляции — *эксплуатация торгового барыша*. Такой смысл имели знакомые нам *пятинные деньги* — 20% налога с торгового оборо-

та; к этому средству прибегли тотчас после Смуты и применяли его неустанно в течение всего XVII в. За двадцать пять лет только — с 1654 по 1680 г. — «дважды собиралась пятая деньга, пять раз 10-я, один раз 15-я»<sup>3)</sup>. С первого взгляда может показаться, что торговый капитал в данном случае облагал самого себя: мы уже знаем, что этого не было. Раскладка «пятой деньги» поручалась самым крупным капиталистам государства — московским гостям, — а платить приходилось мелкому провинциальному купечеству, которое и бежало от налога в разные стороны. Подать носила, таким образом, определенный *классовый характер* и доканчивала то, что было начато торговой конкуренцией: концентрация капитала, поглощение мелких торговых предприятий крупными. По мере завершения процесса, разорения провинциального купечества, иссякал и этот источник. Эксплуатацию мелкого капитала приходилось дополнить эксплуатацией всего *свободного* населения. Оклад стрелецкой подати с «сохи» в 1630 г. составлял 95 руб., а в 1670 г. — 822 руб. Старый военный налог вырос почти в 9 раз.

В 1679 г. и была сделана первая попытка — объединить все старые прямые налоги (дань, ямские, полоняничные и т. д.) в *одной* военной подати: *подворная стрелецкая подать* этого года, по 1 руб. 30 коп. с двора, должна была заменить все их. Прообраз будущей подушной подати Петра I был дан, таким образом, за 40 лет до ее введения. Но, хотя и подворная, новая стрелецкая подать собиралась как и старая, посошная, только с городов и северных уездов, где не было крепостных. Раскладка новой подати весьма характерно была поручена «гостям». Высосав мелкий торговый и ремесленный люд, высасывая свободное северное крестьянство, торговый капитал подошел теперь вплотную к самой крупной после него силе страны. Перед ним оставались только помещики с их крепостными: тронуть этих последних — значило тронуть самих помещиков. Для того чтобы решиться на это, нужен был *большой* подъем; его дала Северная война. Положить в равный со всеми податной оклад не только крепостных крестьян, но и *холопов*, до тех пор не плативших никаких податей, решилось только правительство Петра Великого. В 1717 г. Петр приказал рассчитать, «со скольких работных персон может содержан быть один человек пеший со всем, что к нему надлежит, в год, также конный, лошади, палатки, телеги и прочее». В следующем году была назначена первая поголовная перепись населения, — а в 1722 г., ввиду недостаточности результатов

<sup>3)</sup> Миллюков П. Госуд. хозяйство России и реформа Петра В. С. 77.

переписи, ее пересмотр, *ревизия*, давшая, действительно, на миллион душ больше, чем сама перепись. Так как дальнейшие переписи по мере увеличения населения являлись проверкою проверки, то название «проверки», «ревизии», так и осталось за переписями «податного» населения вплоть до их отмены (последняя ревизия была в 1857, г.). По табели 1720 г. петровская армия стоила уже 4 млн руб.: один кавалерист — 40 руб. 50 1/2 коп., а один пехотинец — 28 руб. 52 1/2 коп. Считая, приблизительно, 5 млн душ населения (считались только «работные персоны», под чем разумели мужчин — но всякого возраста, для простоты), на каждую «душу» приходилось 80 коп. подушной подати, в таком размере она и была введена Указом 11 января 1722 г.

Уже через год она была понижена до 74 коп., а немедленно по смерти Петра — до 70 коп. Предлогом было то, что первая ревизия дала больше 5 млн податного населения (5570 тысяч душ). Фактическая причина была другая — она вскрывается историей подушной подати за весь XVIII в. Помещичий крестьянин, обложенный в 1725 г. 70-копеечной податью, семьдесят лет спустя, в 1794 г. платил всего *рубль*; между тем *цена денег за это время упала в 4 раза*, и рубль 1794 г. равнялся *четвертаку* 1725 г. Норма подушных для черносошных, не помещичьих, свободных крестьян и приспособлялась к изменениям в цене денег: в 1725 г. они платили 1 руб. 10 коп., в 1794 г. — 4 руб. Подушная подать помещичьих крестьян в течение всего XVIII в. уменьшалась, фактически и это уменьшение, начавшееся на другой день после введения самой подати, было результатом *дворянской реакции*, очень скоро после смерти Петра принявшей такие острые формы (попытка ограничить самодержавие в 1730 г.), что не считаться с нею не могло ни одно правительство XVIII в. Вопреки довольно распространенному мнению, все эти правительства не были, «дворянскими», т. е. *среднепомещичьими*, как и правительство Петра I, они были коалициями крупнейшей земельной знати с крупным торговым капиталом. Но от дворян зависели все они — а весна торгового капитализма, давшая такой пышный цвет в реформах начала XVIII в., не повторялась более<sup>4)</sup>. Приходилось придумывать такие формы эксплуатации народного труда, которые не очень задевали бы интересы непосредственного эксплуататора, владельца крепостных душ.

Размер тяжести, которая упала на этого последнего тотчас после введения подушной подати, иллюстрируется двумя цифрами:

<sup>4)</sup> Подробнее обо всем этом см. ниже — в главе 8 «Центральная власть».

в знакомом нам бюджете 1680 г. прямые налоги составляли 33,7 %, в бюджете на 1724 г. они дали уже 55,5 %, в том числе 54,1 % приходилось на подушную подать. Семьдесят лет спустя эта последняя давала только 38 % государственного дохода, падая иногда, в течение восемнадцатого столетия, и до 33 %; зато *питейные, соляные и таможенные сборы* составляли в бюджете этой эпохи не менее 40 % — а иногда до 45 %.

В этом числе одни питейные сборы заполняли 25 % всего бюджета. Типичным финансовым предприятием для этой эпохи и является *винный откуп*. За время с 1724 по 1765 г. питейные сборы более чем утроились — в то время как подушные не увеличились даже в два раза. В 1767 г. окончательно введена откупная система продажи вина, и с этого года по 1796 г. питейный доход утроился номинально, а фактически, принимая во внимание падение цены ассигнационного рубля, увеличился более чем в два раза. К началу царствования Александра II (при котором отменены были откупы) в России не только абсолютно, но и относительно выпивалось все-меро более вина, чем на сто лет ранее: при Елизавете Петровне официально расход вина составлял 14 ведер на 100 жителей Российской империи, в 1858 г. этот расход составлял 87 ведер на 100 жителей. Как бы сильно ни было развито в предшествующем столетии «корчемство» (тайное винокурение и тайная продажа водки), одним этим объяснить разницы нельзя; тем более что корчемство имело место, конечно, и в XIX в., хотя бы и в меньших размерах. Суть дела, очевидно, в том, что уметь спаивать народ за время действия откупной системы сделало большие успехи.

И как ему было этих успехов не сделать, когда со введением откупов население было всецело отдано в руки торговцев водкой? Право курить вино и пользоваться им для собственного обихода было оставлено одним дворянам, но и они могли пользоваться этим правом только у себя в имениях. Въезжая в город, дворянин обязан был показать особым надсмотрщикам, которых содержал откуп, имевшиеся у него бутылки или бочонки с водкой. Эти последние запечатывали — и печати снимались лишь при выезде из города: в городе и дворянин должен был пить откупное вино. Но с помещиком обращались все-таки вежливо: откупщицкая таможня не имела права задерживать его при въезде в город и должна была дожидаться, пока он сам остановится; его нельзя было обыскивать — нужно было довольствоваться тем, что он сам покажет. С «подлыми людьми» церемоний было гораздо меньше. Крестьянские подводы останавливались на заставе и ощупывались особыми

щупами. На жалованьи у откупщика была специальная военно-полицейская команда, с отставными офицерами во главе. Эта своего рода внутренняя «пограничная стража» имела право пускать в ход и оружие при ловле внутренних контрабандистов, корчемников. Во всякое время дня она имела право производить обыск всюду, где подозревалось корчемное вино. Контора винного откупа была присутственным местом, где большую часть царствования Екатерины II стояло и зеркало, как в любом присутствии; только в конце XVIII в, зеркало сняли — но орел на питейном доме остался. Целовальник (так по старой памяти, от московских еще времен, назывался продавец вина, в московскую эпоху присягавший, целовавший крест, что он ничем не покорыствуется) был полицейской властью у себя в кабаке, тогда как общая полиция входила туда только по приглашению целовальника — разве что в стенах кабака начинала происходить явная уголовщина, кого-нибудь резали, грабили и т. п. Точно так же, как администрация и того, и позднейшего времени сама расправлялась со своим персоналом, откуп сам судил своих служащих — и даже посторонних за проступки, совершенные в стенах «питейного дома» — разве что опять-таки возникало уголовное дело. А жаловаться на откупщика можно было только высшей местной администрации — со времени учреждения губерний — губернатору. Если прибавить, что (тут уже мы выходим из области писаного права и входим в сферу обычая) этот последний получал от откупа более или менее правильное содержание, то нам станет ясно, до чего влиятелен был в русской дореформенной провинции торговый капитал, в лице «содержателя винного откупа», и как ошибочно представление об этой провинции как о сплошном дворянском царстве. Дворянин только пользовался в данном случае своего рода иммунитетом — не более, но и то лишь за себя лично — на его крестьян, долгое время даже на его имение этот иммунитет не распространялся; до 1771 г. откупщик мог занять под свою торговлю любую пустую, необрабатываемую и незастроенную землю, кому бы она ни принадлежала. Только с этого года это право было ограничено землями *казенными*. Создав откупщику привилегированное юридическое положение, правительство старалось всячески облагородить и его промысел, и его личность. Историческое название «кабака», доселе удержавшееся в разговорной речи, официально было заменено наименованием «питейного дома», «понеже от происшедших злоупотреблений название кабака сделалось весьма подло и бесчестно». Сам откупщик получил право носить шпагу — отличительный признак дворяни-

на в XVIII столетии. Всякое усовершенствование в винокурении признавалось общественной заслугой: «Уставом о винокурении», 1765 г., объявлено было, что всякий, устроивший по английскому образцу усовершенствованный куб для перегонки водки, будет признан «не о своей только пользе пекущимся, но о пользе государства ревнительным сыном отечества».

Было бы совершенной ошибкой думать, что все эти льготы и привилегии диктовались выгодами отвлеченного «государства», так часто фигурирующего под пером историков в подобных случаях. Не подлежит сомнению, что со введением откупов государство как таковое — проще говоря, казна — не выиграло, а проиграло. Достаточно сравнить две пары цифр. Накануне откупной системы, к 1766 г. (раньше она применялась, но спорадически — только с 1767 г., откупщик сделался монополистом по продаже водки), питейные сборы давали 4 339 000 руб., при издержках на их соби- рание почти ровно в миллион; через 30 лет существования откупа, в 1796 г., первая цифра поднялась до 15 млн, а вторая — до семи. Чистый доход увеличился менее чем вчетверо, а расход по сбору в семь раз! Прежде на каждый рубль, полученный казною, только около двугривенного попадало в чей-то другой карман; теперь в этот карман шло уже около полтинника на рубль казенного дохода. Само собою разумеется, что тут идет речь только об издержках казны (на покупку вина, которое казна поставляла откупщикам, и т. п.); издержки, как и барыши, самого откупщика в кругу его личных операций в учет не попадали. Но так как мы знаем, что не было лучшего средства сделаться миллионером в тогдашней России, как взять винный откуп — почему «миллионер» и «откупщик» были тогда синонимами — то мы, наверное, не погрешим против исторической истины, если примем, что торговый капитал получал в виде барыша никак не менее того, что платил в казну. Если в вопросе о подушных интерес отвлеченного «государства» сталкивался с интересом помещика и пасовал перед ним, то в деле винной монополии происходило такое же столкновение между казною и торговым капиталом, и результат не был иной. Попытка построить бюджет на водке давала такой же отрицательный результат, как и попытка построить его на подушной подати. Уже в 1784 г. на 40 млн руб. государственного дохода приходилось расходу 58 млн руб.; в 1788 г. для расхода в 63 1/2 млн нашлось средств только 42 3/4 млн руб. Дефицит составлял 20 млн; два года спустя, к 1790 г., он поднялся до 30 млн (73 1/2 млн руб. расхода на 44 % дохода). Чтобы заткнуть брешь, приходилось искать нового средства — оно было найдено в *ассигнациях*.

Средство было пушено в ход впервые одновременно с откупами: манифест о выпуске ассигнаций появился 29 декабря 1768 г. Для того чтобы понять условия, в которых появились в России бумажные деньги, надо иметь в виду, что ходящей монетой в то время была не серебряная, — тем более не золотая, — а *медная*. При сколько-нибудь крупных платежах это представляло огромное техническое неудобство: 1 000 руб. в медной монете весили 60 пудов — кладь основательного ломовика; но даже и 25 целковых были «тяжестью неудобноносимой» — полтора пуда никто с собою таскать не станет. В особенно затруднительном положении оказывались уездные казначейства, в пору сбора подушных, и те же откупные конторы. Целые обозы с медными пятаками, «алтынами» и копейками тянулись из деревень в города, — что, помимо всего прочего, было и небезопасно при изобилии лихих людей на тогдашних дорогах. Учрежденный Манифестом 29 декабря 1768 г. *ассигнационный банк* (из двух отделений — в Петербурге и Москве) и служил, по-видимому, совершенно невинной цели — облегчить положение как казны, так и крупных ее плательщиков, заменяя крупные количества *меди* легкой и занимающей минимальное место бумажкой. Причем бумажки были сначала не менее 25 руб. медью каждая — для более мелких платежей оставалась медь в натуре.

Мы прибавили выше слово «по-видимому», потому что с самого начала это была лишь гласная, официальная цель; фактически же предполагалось выпустить бумажек *более*, чем хранилось меди в ассигнационном банке, — для того чтобы добыть денег на решенную уже тогда турецкую войну. Совершенно естественно, что по мере того как продолжалась эта последняя, продолжались и выпуски ассигнаций, и ко времени окончания войны их было в обращении на 20 млн руб., тогда как вначале предполагалось выпустить не более 2 % млн. Тем не менее они разменивались на медь и даже на серебро, 100 за 100: обороты внутренней торговли так быстро росли во второй половине XVIII в., что излишества в денежных знаках не чувствовалось. До второй турецкой войны Екатерины II рост торгового оборота и увеличение количества ассигнаций шли более или менее в ногу: в 1786 г. ассигнаций было в обращении на 46 млн, а курс их на серебро был 98 за 100. В это время захват Россией северных берегов Черного моря (присоединение Крыма — 1783 г.) — шаг, экономически совершенно неизбежный, открывавший европейский хлебный рынок для наших черноземных губерний — поставил на очередь новую турецкую войну. Опыт с крупными ассигнациями был соблазнителен: что, если выпустить и мелкие? Под

предлогом недостатка в денежных знаках, «обновляющих торговлю, рукоделия, ремесла и земледелие», количество бумажных денег было сразу увеличено вдвое — до 100 млн руб., причем были выпущены бумажки пяти- и десятирублевые. Курс сразу упал до 92,5; к концу царствования Екатерины ассигнаций было в обращении на 157 млн, и стоили они уже только по 70  $\frac{1}{2}$  коп. за рубль. К концу царствования Павла курс упал до 65  $\frac{1}{3}$ ; характерно, что и при таком курсе московское купечество находило возможным жаловаться на недостаток в обращении денежных знаков и хлопотать о новых выпусках ассигнаций — верный знак, что от упадка цены последних страдал, во всяком случае, не торговый капитал.

К этому времени всякие «технические» иллюзии относительно неудобных медных денег и удобных бумажек были уже оставлены: в 1797 г. ассигнации были без околочностей признаны государственным долгом. С тем вместе правительство обязалось рано или поздно восстановить их курс, иначе оно уподоблялось должнику, рассчитывающемуся со своими кредиторами по полтиннику за рубль. Уже при Павле были сделаны некоторые шаги в этом направлении — фиксацией курса ассигнаций; Александр Павлович собирался идти по тому же пути: новые выпуски бумажных денег, уже решенные, были приостановлены. Но тут надвинулась серия «наполеоновских войн» — и не прошло десяти лет, как от добрых намерений осталось не больше, чем от дыма аустерлицких пушек. К 1810 г. в обращении было на полмиллиарда ассигнаций (533 млн руб.), и курс их составлял только 33  $\frac{1}{3}$  %. Чтобы нагляднее представить себе эту цифру, надо иметь в виду, что русский бюджет того времени был менее 300 млн руб., положение, значит, было такое же, как если бы в 1914 г. в России циркулировало на 5 миллиардов бумажных денег (в действительности их было перед империалистской войной с небольшим на миллиард).

После войны двенадцатого года количество ассигнации дошло до 25 млн, а курс — до 20 коп. за рубль. Уже тогда всякие надежды на то, что государство когда-нибудь сможет уплатить этот свой долг рубль за рубль, должны были быть оставлены; но прошла четверть столетия, прежде чем с этой мыслью примирились. На протяжении этой четверти столетия Россия еще воевала несколько раз (войны персидская и турецкая Николая I, начало бесконечного «покорения Кавказа» и борьба с восставшею Польшей в 1831 г.) — и цифра бумажных рублей с колебаниями оставалась прежняя (1832 г. — 823 млн). Так как, однако же, обороты внутренней торговли все



увеличивались и потребность в денежных знаках росла, то курс ассигнаций несколько улучшился и дошел к концу 30-х гг. до 27—28 коп. за рубль. Более благоприятных условий ждать не приходилось — и в 1839—43 гг. ассигнационный долг был ликвидирован по расчету 3 % рублей ассигнационных за 1 металлический. Но при помощи разных приемов, которые нет надобности здесь подробно описывать, устроили так, что настоящие золотые и серебряные деньги остались по большей части в казенном сундуке, а в руки публики попали деньги все же бумажные, даже юридически безусловно разменивавшиеся на золото и серебро только в Петербурге; уездные казначейства не имели права менять их на металл в количестве, большем 100 руб.

Как видим, этим *кредитным билетам* немногого не хватало до настоящих ассигнаций. Достаточно было большой войны, чтобы это маленькое расстояние было пройдено. В начале Крымской кампании, 1 января 1854 г., в обращении было 333 млн руб. кредитных билетов; к 1 января 1858 г., два года после нее, их было на 735 млн руб. Металлическое обеспечение в первом случае составляло 39,4 %, а во втором; — всего 16,2 %. В 1858 г. размен был прекращен, и если новые бумажные деньги не вполне постигла участь екатерининских, то лишь потому, что экономически более просвещенное правительство Александра II лучше умело поддерживать равновесие между количеством денежных знаков, необходимых стране, и печатаемых экспедицией заготовления государственных бумаг. В 1875 г. в обращении было кредитных билетов на 797 млн руб., а курс кредитного рубля был на серебро 92 %, на золото — 86 %, т. е. относительно весьма порядочный. В 1876 г. русско-турецкая война уже совершенно ясно обозначилась в перспективе: курс упал до 80 коп. на золото. В этом году было напечатано новых бумажных денег на 252 млн руб.; в 1877 г. на военные расходы понадобилось вновь напечатать на 453 млн, в 1878 г. для финансовой ликвидации войны — еще на 490. На 1 января 1879 г. курс был уже только 75 за сто. В последний год царствования Александра II курс был 65 коп. зол. за рубль, — а к 1886 г. кредитный рубль свалился до 58,9 коп. Причиной тут уже было не излишнее количество денежных знаков (количество кредитных билетов в обращении за 1880—86 гг. даже несколько уменьшилось), неблагоприятный платежный баланс — иными словами, *задолженность России перед заграницей*. Мы подходим к четвертому — и последнему — периоду в развитии финансовой системы царской России,

когда основой русского финансового благополучия становится *заграничный кредит*.

Но, прежде чем перейти к этому отделу, остановимся на минуту у предыдущего. Читателю не мог не броситься в глаза своего рода «эмпирический закон»: *ассигнация* в России, в ее ли откровенном и невинном первоначальном виде или замаскированная кредитным билетом, «обеспечивающимся всем достоянием государства», *всегда является у нас спутницей войны*. В весьма мирном, помещении экспедиции заготовления государственных бумаг работала грандиозная военная машина: все то блестящее развитие «силы и могущества России», которым позже так любовалась националистская историография, держалась на эфемерных продуктах этой скромной и безобидной фабрики. Вот почему крайне наивно смотреть на историю бумажных денег в России только как на образчик плохого, нерасчетливого управления государственным хозяйством. Ассигнации выполняли экономико-политическую функцию колоссальной важности: это был рычаг, которым орудовал примитивный русский *империализм* — орудовал русский капитал, сначала торговый, потом промышленный, в своих попытках захватить новые торговые дороги и новые рынки. Сравним только следующие цифры:

Таблица 6.1

Годы	Количество ассигнаций в обращении, млн	Размеры действующей («полевой») армии, тыс. чел.
1761	0	183
1796	157	368 ½
1825	более 800	822

Каждый миллион напечатанных бумажек давал лишнюю тысячу солдат. Мы нарочно взяли только *действующую армию*, т. е. только орудие *наступления*; цифра войск, предназначавшихся для поддержания внутреннего порядка или для обороны отдаленных границ, только сделала бы картину менее ясной. *Чем активнее была внешняя политика, тем энергичнее выпускались бумажные деньги*. Если бы русское казначейство было осуждено продовольствоваться металлической валютой, Россия никогда не сделалась бы «великой державой», несмотря на то что за одно царствование Николая Павловича добыча золота в России увеличилась в 40 раз (с 400 тыс. руб.

до 16 млн руб. ежегодно). Неудобства, связанные с бумажной валютой, были, таким образом, «жертвою на алтарь отечества» — почти буквально.

Только кто приносил эту жертву? Те ли, кто всего сытнее питался около этого алтаря? Мы видели, что купечество никогда не тяготилось изобилием денежных знаков — и всегда находило, что их слишком мало. На самом деле заработная плата росла вне всякой пропорции с курсом ассигнаций. С 50-х по 80-е гг. цена бумажного (кредитного) рубля сильно упала, как мы видели, а реальная заработная плата рабочих на шуйских хлопчатобумажных фабриках, например, *понизилась* за это время на 20–30 %. Вообще же, покупательная сила ассигнационного рубля внутри страны всегда была значительно выше его курса на границу. Это делало бумажную валюту прямо выгодной тем, чьи доходы строились на сбыте русского сырья, притом, чем ниже был курс, тем она была выгоднее. Когда в конце 1880-х гг. курс кредитного рубля неожиданно стал подниматься, это вызвало настоящую панику среди хлебных экспортеров и помещиков. Опасения последних разделялись и министерством финансов, которое официально писало, что дальнейшее повышение курса «отзовется весьма губительно на нашей отпускной торговле и причинит значительный ущерб нашим производителям. Цены могут дойти до такого уровня, что отпуск нашего хлеба сделается невозможным». Вот почему наша реакционная печать, с Катковым во главе, с такой яростью отстаивала в 80-х гг. бумажные деньги. Нужен был расцвет промышленного капитализма для того, чтобы сделать возможной реформу Витте — введение в 1897 г. металлического обращения.

Итак, те общественные классы, которым нужна была активная внешняя политика, основанная на ассигнациях, от неудобств бумажноденежной системы не страдали. Платили за нее массы населения, переплачивавшие на всех продуктах обрабатывающей промышленности, так как цены на эти последние при господстве протекционной системы обуславливались прежде всего ценами на них за границей — дешевле, чем стоил заграничный товар с провозом и таможенной пошлиной, подобного же русского товара никто, конечно, не продавал, а за границей русский рубль имел меньшую покупательную силу, чем внутри страны. Ассигнации, таким образом, были *особой формой эксплуатации*, формой, свойственной главным образом эпохе *торгового капитализма*. С переходом влияния от этого последнего к *капитализму промышленному* должна была

пасть и бумажноденежная система. И для промышленного капитала нужна была активная внешняя политика; и он не чуждался первоначально испытанного традиционного средства ее обеспечения. Но расцвет обрабатывающей промышленности в России оказался немыслимым без содействия европейского, международного капитала, а европейский капитал не шел в Россию, пока она была отделена от всего остального капиталистического мира бумажноденежной стеной. Ассигнации национализировали русский рынок, для того чтобы сделать его европейским, на нем должны были царствовать не бумажки, имеющие цену только в России, а имеющее цену всегда и всюду *золото*.

К заграничному кредиту Россия прибегала и в предшествующие эпохи, но более или менее случайно и не в очень значительных размерах. Первая попытка заключить заграничный заем была сделана при Петре I — она была неудачна. При Екатерине II одновременно с введением ассигнаций перед 1-й турецкой войной попытка была повторена — на этот раз успешно: в 1769 г. был заключен первый русский внешний заем в Голландии. Екатерина II и Александр I неоднократно прибегали к этому источнику, обыкновенно на очень тяжелых условиях — с платежом не менее 6 % годовых номинально, а фактически еще более; в это время внутри России правительство свободно доставало деньги из 4 %. Правда, что внутри страны оно получало ассигнации, а из-за границы золото. Стесняли русский заграничный кредит, как это ни странно, именно «сила и могущество России» в связи с существовавшей тогда в ней формой правления. При неограниченной юридически власти русского императора кто мог бы заставить этого государя выполнять свои долговые обязательства? К заграничной публике непосредственно тогда и не пробовали обращаться. Займы велись через посредство групп особенно привилегированных лиц, носивших название «придворных банкиров»; подписывались на русские бумаги не столько по доверию к русскому правительству, сколько доверяя тем банкирским домам, которые брали на себя заем. Только в министерство Канкрин, при Николае I, займы стали заключаться на более нормальных условиях. Но какую сравнительно ничтожную роль играл заграничный кредит и в его время, покажет пара цифр. Перед выходом Канкрин в отставку, в 1843 г., весь внешний долг России составлял 246 млн руб. на серебро, а бюджет тогдашней России не выходил из 240–250 млн; для сравнения надо припомнить, что русский бюджет 1909 г. сводился к 2 1/2 млрд руб.,

а долг — к 9 млрд, в круглых цифрах. При Николае I долг только равнялся бюджету, а при Николае II — в 3% раза превышал его.

Относительная европеизация русских порядков после 1861 г. (в чисто финансовой области сюда относятся: опубликование государственной росписи, ранее составлявшей тайну, учреждение государственного контроля, также с гласными, печатными отчетами, и разрешение газетам касаться, хотя и с оглядкой, вопросов государственного хозяйства) вызвала значительное расширение заграничного кредита; к 1880 г. заграничный долг несколько превысил миллиард рублей (при бюджете 700 млн), распределенных на 26 разновременных займов. Европейские деньги и теперь еще туго шли в русский казенный сундук: средний процент по займам был  $5\frac{3}{4}$ , — тогда как внутренние займы обходились не дороже  $5\frac{1}{2}$ . Причины довольно откровенно объяснил Ротшильд в разговоре с тогдашним русским министром финансов, Грейгом: «Если бы у вас была конституция, вам легче было бы доставать деньги». За не менее откровенную передачу этого разговора Грейг получил отставку. Но его собеседник был лишь отчасти прав: ближайшей причиной было то, что за границе деньги были «самой нужны» в связи с энергичными железнодорожными стройками (в 40–70-х гг. как раз создавалась европейская железнодорожная сеть), войнами 60–70-х гг. и т. д. Как только обстоятельства изменились (см. выше, с. 158), Европа, в частности Франция, предоставила свои сбережения к услугам России, и не требуя «конституции». В 1882 г. государственный долг России составлял 4 356 млн руб., причем в этом числе было почти на миллиард кредитных билетов. К 1902 т. эта последняя категория долгов совершенно исчезла благодаря восстановлению металлического обращения (точнее, введению золотой валюты) в 1897 г., и тем не менее общая цифра долга доходила уже до 6 431 млн. Европа снабдила нас за 20 лет тремя новыми миллиардами, т. е. за 20 лет дала в два раза больше, чем за предшествующие 120. При этом средний годовой процент был, фактически, не выше  $4\frac{1}{2}$  (номинально, после «конверсии» конца 80-х гг., — 4%).

Об экономических последствиях этого потопа иностранных капиталов мы уже говорили выше (с. 154 и след.). Теперь нас интересуют только политические. Еще войну 1877–1878 гг. пришлось вести при помощи поистине героических выпусков кредитных билетов. К 1904 г. Россия, восстановив металлическое обращение, имела возможность тратить на сухопутную армию почти *вдвое* более 1877 г. (бюджет военного министерства 190 млн руб. и 350 млн руб.), построив, кроме того, флот, которого почти не было в 1877 г. вовсе

(бюджет морского министерства — 28 млн и 113 млн руб.). Война 1904–1905 гг. не заставила расстаться с золотой валютой, только долг вырос до 7 481 млн. Кажется, ни одной неудачной войны в своей истории Россия не провела так благополучно в финансовом отношении, как маньчжурскую кампанию: даже наполеоновские войны, когда мы пользовались щедрыми английскими субсидиями, дали больше трещин в казенном сундуке. Но заграничный кредит дал возможность не только перенести войну, но и ликвидировать вызванные ею внутренние осложнения. К 1909 г., благодаря этому, долг возрос до 8 835 млн руб., и дело приняло столь благополучный вид, что нового займа не понадобилось до 1914 г.

Империалистская война сразу положила конец этому благополучию. Империализм в своих приемах действия был очень часто своеобразной реакцией торгового капитализма: умирающий капитализм впадал в детство — конец процесса оказывался похожим на начало. «Ассигнации», как из земли, выросли снова не только в России, где они были еще свежи в памяти, но и в странах, где о них звали уже только по историческим книжкам. С каждым миллионом призванных запасных вырастает миллиард бумажных рублей. Их рост во время войны иллюстрирует следующая таблица:

Таблица 6.2

Годы	Количество бумажн. денег (млн руб.)	Их действит. цена в золоте (млн руб.)
1/VII 1914	1630,4	1630,4
1/1 1915	2946	2946
1/1 1916	5617	2960
1/1 1917	9103	1801
1/1 1918	27 312	1275

Октябрьская революция нашла, таким образом, рубль равным пятаку или несколько менее (уже в августе 1917 г. пуд пшеничной муки стоил в Москве 60 руб.). О восстановлении кредита в атмосфере Гражданской войны не приходилось, конечно, и думать — и ничего сделать все равно было бы нельзя, если бы даже в наших руководящих финансовых кругах и не существовало тогда предрассудка, будто деньги вообще осуждены на скорую смерть. Обнищание основной налоговой базы, деревни (см. выше: «Экономический

строй», гл. 5) не давало других источников дохода, кроме дальнейшего печатания бумажных «пяточков», постепенно превратившихся в ничтожные доли копейки. На 1 января 1923 г. количество бумажных «рублей» в обращении достигло умопомрачительной цифры 199 450 000 000 0000 (почти два *квадриллиона*). Реальная ценность этой чудовищной массы едва превышала 100 млн зол. руб.

Только окончание Гражданской войны опять-таки позволило поставить вопрос о денежной реформе — о возвращении к нормальному, без кавычек, рублю, хотя бы и бумажному. Отчасти этому помогли сами чудовищные размеры военной (таковой была и советская эпоха Гражданской войны) эмиссии. Ни одному человеку в здравом уме не могло прийти в голову требовать уплаты этих квадриллионов рубль за рубль или хотя бы копейка за рубль. Выпущенные в ноябре 1922 г. *червонцы*, менявшиеся по курсу, в первые недели оказались выше золотого рубля, хотя и были сделаны из бумаги: так истосковался рынок по *твердым* деньгам. На первое января 1924 г. в обращении было бумажных денег на 298,8 млн зол. руб. — из них 259,6 млн руб. в червонцах и всего 39,2 млн в бумажных деньгах «военного» типа. Значение последних было, как видим, так ничтожно, что упразднить их и ввести червонное обращение стало уже не очень трудной задачей. С 15 февраля 1924 г. старые «дензнаки» прекратили свое бытие, червонное исчисление стало единственным существующим, и мы перестали считать на миллиарды — слово, которое за военное время с легкостью вошло в словоупотребление даже деревенских мальчиков.

Беглый обзор одного из последних бюджетов царской России покажет нам, как отражались до самой революции в русском государственном хозяйстве различные, подмеченные нами, финансовые наслоения. Мы помним, что Петр Великий мечтал построить весь русский бюджет на *прямых* налогах, даже на едином прямом налоге, подушной подати. В 1882 г., когда подушные доживали свои последние дни, прямые налоги заполняли еще 25 % бюджета; с исчезновением подушной подати, отмененной при Александре III, в 1892 г. на долю их приходилось уже только 16 %; в бюджете 1912 г. они представлены скромной цифрой 14,1 %<sup>5)</sup>. От петровского бюджета почти ничего не осталось — даже и название главной податной категории. Но мы видим, что поражение подушных началось на другой же день после смерти Петра и что уже XVIII в. нашел им суррогат в доходе от *продажи водки*. В бюджете 1882 г. этот доход

<sup>5)</sup> Вместе с пошлинами.

фигурирует цифрой 252 млн руб. — что составляет около 35 % всего «обыкновенного» дохода за этот год; «пореформенная» Россия перещеголяла екатерининскую, когда откупа покрывали не более 25 % бюджета. В 1912 г. процент, приходящийся на годичный доход (теперь уже не от налога на вино, а от монопольной продажи его), несколько скромнее: менее 30. Но абсолютная цифра выросла в три раза, сравнительно с 1882 г.: до 751 млн. Вообще же *косвенные налоги* (с винной монополией) покрывают в 1912 г. почти *половину бюджета* (48,6 %) — а в сущности, далеко большую его часть, ибо почти треть его (28,5 %) заполняется доходами от *казенных предприятий*, главным образом, *железных дорог* (по росписи этого года 634 млн): т. е. доходами от частного хозяйства государства, если так можно выразиться. Идея торговых капиталистов XVII в. — заменить все прямые налоги косвенными, дабы «никто в избытках не был», была близка к осуществлению в начале XX столетия. Только *соль* (соляной налог отменен в 1880 г.) заменили другие предметы массового потребления: табак, сахар, керосин, спички — и все вообще фабрикаты, произведения обрабатывающей промышленности. Мы уже упоминали об *экономическом* значении покровительственного таможенного тарифа. Теперь надо прибавить, что он имел и непосредственное финансовое значение: в 1912 г. он дал казне 328 млн, — больше, чем какой бы то ни было косвенный доход, кроме питейного. Заставлять массы оплачивать политику высших классов — эта задача в XX в. разрешалась так же успешно, как и в XVIII.

В *доходной* части бюджета мы не найдем, конечно, главного рычага военной машины нашего времени, — как не нашли бы в свое время и устаревшего теперь рычага прежних времен, ассигнаций. *Государственный кредит* нужно искать в графе *расходов*. Платежи по государственным займам в 1912 г. составляли 404,5 млн руб. По отношению к общей массе бюджета это составляет 13,5 %. Пятнадцать лет раньше Россия платила по займам 258 млн руб. ежегодно, а тридцать лет ранее, в 1877 г., — 149 млн; но этот расход в первом случае равнялся 20 %, а во втором 25 % всего бюджета. Если относительное уменьшение платежей на расстоянии от 1877 до 1897 г. объясняется тем удешевлением кредита, о котором говорилось выше, то к периоду 1897–1912 гг. это объяснение неприложимо: за последние годы перед империалистской войной деньги



не только не подешевели на рынке, но, наоборот, подорожали<sup>6)</sup>. Суть дела в том росте внутреннего накопления, о котором говорилось в конце экономической главы: *ресурсы страны начинают расти быстрее задолженности*. Но употреблялись эти новые ресурсы на старое назначение. Чтобы получить военные расходы 1912 г., надо сложить, во-первых, бюджеты военного министерства (обыкновенный — 494,3 млн руб., и чрезвычайный, на «хозяйственно-операционные расходы» — 70 млн руб.), морского (164,2 млн руб.) и государственного коннозаводства, которое если имело какое-нибудь «государственное» значение, то только в связи с кавалерийским ремонтом (2,2 млн руб.). Но это не все: нет сомнений, что чисто военные расходы мы найдем, например, в бюджете Министерства путей сообщения (обыкновенно 567,2 млн руб. и на сооружение новых железных дорог 116,7 тыс. руб.), ибо часть русских железных дорог была *стратегической*, построенной исключительно в том предвидении, что по ним придется возить войска в случае войны; в коммерческом отношении они представляли собою предприятие чисто убыточное. С другой стороны, подавляющее большинство государственных займов заключено было тоже на военные цели, как мы видели. Если мы, игнорируя железнодорожные расходы, будем считать «военными» расходами все платежи по займам, то нет сомнения — если мы и ошибемся, то в сторону преуменьшения военного бюджета, а никак не в сторону его преувеличения. Складывая соответствующие цифры, мы получим 1 135 млн руб., ко всему бюджету это составляет 38 %.

В расцвете военной силы империи Николая Павловича, в 1847 г., эти расходы давали 50 % всего бюджета: Россия 1912 г. может показаться несколько менее военной страной, чем николаевская Россия. Но это иллюзия, объясняемая тем, что *современная армия, относительно, обходится гораздо дешевле, чем армия Николая*. Начиная с середины XVII и до второй половины XIX в. русское войско наполнялось при помощи *рекрутских наборов* — или, как в московскую эпоху это называли, «даточными людьми». Это очень характерное название: армия комплектовалась людьми, которых «давали» государству помещики. Рекрутчине подлежали не одни крепостные, но последние составляли большинство, и оно окрашивало целое. Из этого вытекало, что к рекрутчине правительство должно было

<sup>6)</sup> Последний довоенный заем царского правительства — парижский «железнодорожный», 1914 г., заключен, фактически, из 50 %. Почти вернулись к нормам начала 1880-х гг.!

относиться так же бережливо, как и к подушной подати: как эта последняя вынимала рубли, в сущности, из кармана помещика, так первая отнимала работников у помещичьего хозяйства. Рекрутчина была, как иногда ее и сравнивали, «военной барщиной» — но нужно было, чтобы она не мешала настоящей барщине. Какой ужас представляла собой рекрутчина с точки зрения интересов семьи рекрута, фактически терявшей своего сына или брата навсегда, — это *все* знают. Как варварски обращались с личностью солдата и каковы были гигиенические условия тогдашней казармы, это тоже более или менее известно<sup>7)</sup>. Но эти ужасы отчасти выкупались тем, что жертвою их становилась далеко меньшая часть населения, сравнительно с той, которая попадала в ряды армии при Николае II. Мы с трудом представляем себе, что в момент наивысшего военного напряжения крепостной России, в эпоху наполеоновских войн, под ружьем был всего 1 человек из 22 душ мужского пола, тогда как во время маньчжурской кампании, далеко не «отечественной» по значению и размерам, не редкость было видеть целые деревни, где из мужчин остались только старики да мальчишки, — все взрослое мужское население было взято на войну.

Тем менее возможно было то, что случилось в империалистскую войну — когда в течение 3 лет (1914–1917) последовательно было призвано под ружье 18 млн человек, ровно 10 % всего (не только взрослого мужского!) населения «империи».

Если бы что-нибудь подобное случилось в двенадцатом году, помещики подняли бы такой крик, что мир был бы заключен задолго до прихода Наполеона в Москву. Именно этой скупостью на рекрутов и объясняется невероятно продолжительные сроки тогдашней службы (20 лет в гвардии и 25 лет в армии). Почти все наличные солдаты все время оставались в казармах; запаса почти не было — и мобилизованная армия менее чем на 20 % отличалась от немобилизованной; тогда как в XX в. количество обученных солдат, которых можно было призвать под ружье в случае мобилизации, *в четыре раза* превышало число солдат, состоящих на действительной службе. Но зато большая часть мужчин рабочего возраста в любой момент могла быть облечена в военный мундир. Если бы армию Николая II (1 800 тыс. чел. по штатам военного времени, не считая ополчения и местных войск) содержать на тех же началах, как ар-

<sup>7)</sup> За 25 лет царствования Николая I (1826–1851), по официальным данным было убито в боях 30 233 чел. нижн. чинов, умерло от болезней 1 062 839 чел. и дезертировало 155 857 чел.

мию Николая I, она стоила бы не полмиллиарда, а добрых полтора. Это удешевление армии было главным эффектом *всеобщей воинской повинности* (1874 г.), которую в публике очень часто смешивали в одно целое со всеми «великими реформами» Александра II, но которая в глазах самого военного начальства имела вполне определенную *техническую* цель — увеличить по возможности количество обученных солдат при возможном уменьшении числа солдат, постоянно находящихся на казенном содержании в казармах. Связь этой реформы с 19 февраля, тем не менее, совершенно определенная: только «освобождение» крестьян, отняв у помещика интерес к личности его бывших крепостных, позволило ввести всеобщую воинскую повинность. Что она распространилась и на дворянских детей, это всего менее ломало традицию: гвардейский «сержант» или «капрал» времен Екатерины II, «юнкер» николаевской эпохи и «вольноопределяющийся» новейшего времени — это лишь различные инсценировки одного и того же явления. Дворянская (молодежь привыкла — не только в России — начинать свою карьеру с военной службы. И нельзя себе представить командующего класса, который бы не стремился занять командующего положения в армии, в XX в., как и в X, являвшейся наиболее конкретным выражением «государственное». Экономически это и находит себе выражение в том факте, что наш бюджет на всем протяжении его истории являлся прежде всего военным бюджетом. В XX в., как в X, «данью» ограничивалось содержание «дружины».

Совершенно понятно, что разрыв с империализмом, низвержение буржуазии, переход власти в руки пролетариата должны были перевернуть и соотношение бюджетных статей империалистской России. Мы не будем анализировать бюджет СССР, как не анализировали мы и хозяйство переходного к социализму типа: место тому и другому не в очерке истории культуры, а в том «практическом общественном», издание которого является насущной задачей текущего момента. Но две цифры для сравнения нельзя не привести. Военные расходы в последнем предвоенном бюджете давали, мы помним, 38 %; в советском бюджете за 1923–24 гг. они составляют всего 14 %. Зато в этом последнем бюджете «военное» место занимает статья, незнакомая довоенным бюджетам, но самым чувствительным образом напоминающая о войне: это расходы на народное хозяйство — на ту поправку искаленного войной народного хозяйства, которую мы выше видели в цифрах повышения производительности нашей индустрии. Эти расходы в советском бюджете берут почти половину — 48 %.

## Библиография

В противоположность экономической истории России ее финансовая история изучена сравнительно очень хорошо. Для древнерусской дани см. соответствен. стр. называвшейся выше книги *акад. Дьяконова* («Очерки обществ. и госуд. строя Древней Руси») и, кроме того, статью *А. Я. Ефименко* «Литовско-русские данники и их дани» (Журн. Мин. нар. просв. Январь, 1903 г.). Для московской и петровской эпох до сих пор сохранили всю цену классические работы *П. Н. Милюкова* «Спорные вопросы финансовой истории Московского государства» (СПб., 1892) и, в особенности, «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформа Петра В.» (СПб., 1892; есть новое издание). Обе написаны очень специально, популярным изложением является очерк III *первого* выпуска «Очерков по истории русской культуры» *того же* автора. Дальнейшим шагом вперед является работа *В. Веселовского* «Сошное письмо» (Т. I и II, 1917). В связи с ней см. ст. *акад. Дьяконова* «Посильность обложения» (Русск. истор. журнал. 1917. Кн. 1) и его же статьи «Живущая четь в исторической литературе» (Там же. 1918. Кн. 5.). Продолжением работ Милюкова служат статьи проф. *Чечулина* «Очерки по истории русск. финансов при Екатерине II» (Журн. Мин. нар. просв. Январь, 1904; январь, 1905 – март, 1906), менее основательные, как исследование, но зато доступнее написанные. Для XIX в. общим пособием является книга *И. Блиоха* «Финансы России в XIX столетии», сильно уже постаревшая; свежее работы проф. *Мигулина* «Русский государственный кредит» (Харьков, 1899) и др. — с массою данных об ассигнациях, займах и т. п.

## Суд

Финансовая организация, как мы видели, теснее всего связана с задачами *внешней политики*. В область политики исключительно «внутренней» мы попадаем с организацией *судебной*. Как подати и налоги, так и суд касаются каждого: это наиболее массовое явление общественной жизни. Рассматривая эту последнюю снизу, со стороны народной массы, суд, поэтому, приходится поставить на первое место — раньше организации центральной власти, например.

В классовом обществе суд является наиболее непосредственным орудием классового угнетения — а в революционные эпохи, когда низ становится верхом, он же служит наиболее непосредственным орудием классовой самозащиты от попыток восстановить угнетение. Именно эта роль суда и помешала в первом (1914 г.) издании настоящей книги подвергнуть надлежащему анализу *современные* нам формы суда. Тут старый строй был особенно щекотлив и неумолим — притом не только старый строй в образе самодержавия, но и «буржуазный порядок». Вот почему заговорить об этом откровенно в 1914 г. — значило бы навлечь на книгу (и на издателя) не только перуны царской цензуры, но и скорпионы либеральной критики. «Как! — раздались бы сейчас же вопли, — суд присяжных — орудие классового угнетения?! Гласный суд — орудие классового угнетения?! А революционные трибуналы и прочие „ужасы террора“ — это орудия самообороны? Да кто печатает этого сумасшедшего анархиста? Да как это можно позволить?!»

Историку пришлось скромно подождать, пока история, которая делается, не превратила мечтания сумасбродного анархиста в самую обычную, повседневную банальность. Теперь, после опыта империалистской войны, после опыта мировой реакции и Октябрьской революции, классового характера суда не пробуют отрицать даже буржуазные писатели, особенно если они не юристы по профессии. Американские буржуазные публицисты откровенно при-

знают по поводу отдельных конкретных случаев, что американский суд всецело к услугам трестов. И если они при этом сохраняют надежду на какой-то идеальный суд, конкретных образчиков которого они указать не могут, — то это уже обычная непоследовательность буржуазных мыслителей, никогда не решающихся договаривать до конца.

Не-буржуазные мыслители, правящие в СССР, не думают скрывать, что одной из главных задач организованного ими суда является помешать буржуазии, используя экономически неизбежные непоследовательности переходного режима, накинуть вновь на трудящихся то ярмо, которое они сбросили с себя в 1917 г. Наш суд есть откровенно классовый суд; и характерно, что этот суд, устроенный людьми, открыто стоящими на классовой точке зрения, есть наименее классовый суд из всех существующих — ибо он ограждает интересы 99 % населения от злоупотреблений одного процента, тогда как задача всех буржуазных судов состоит в том, чтобы защищать злоупотребления одного процента против интересов 99. Наш суд ближе к тому демократическому идеалу, который написан в буржуазных книжках, хотя для нас буржуазная демократия идеалом и не является.

Классовый суд — это есть тот стержень, который проходит через все последующее изложение, не высываясь слишком наружу по условиям тогдашнего цензурного времени. Теперь мы нашли удобнее для читателя начать с этой предварительной расшифровки.

В древнейшее, доступное нашему наблюдению, время общественная дисциплина держалась исключительно на обычае. Хозяйственный строй непосредственно отражался в общественном строе — то, что экономически было необходимо, являлось правилом, нарушать которое внутри данной хозяйственной организации едва ли кому приходило даже в голову. Вот почему о разрешении столкновений внутри хозяйственной единицы, семьи, мы ничего не узнаем из наших сборников права: они заняты исключительно возможными столкновениями между *различными* семьями. Только сохранившийся по случайному поводу в документах XVI в. намек на «суд старых родителей» дает понять, как решались внутрисемейные дела, когда они возникали: художественным воспроизведением этого суда является известная сцена Тараса Бульбы с его изменником-сыном: «Я тебя породил, я тебя и убью». О какой-либо судебной процедуре тут и речи, разумеется, не было — не было поэтому нужды и записывать подобных судебных обычаев, не говоря уже о том,

что по абсолютной безграмотности древнейшей эпохи записать невозможно было физически. Но в связи с хозяйственной эволюцией семьи, как мы знаем, складывались в племена. *Племенной обычай* уже далеко не столь элементарен, как семейный; недоразумений на его почве может возникнуть гораздо более; в то же время, когда восточные славяне переходили к племенному быту, к ним уже успело проникнуть искусство письма. А еще раньше к ним проникли иноплеменники, норманны, и, кажется, это-то и дало ближайший толчок к записи племенного обычая самого культурного из восточно-славянских племен, киевских полян. Эта запись сохранилась в одной новгородской летописи и составляет так называемую *древнейшую редакцию «Русской Правды»*: «Русская Правда» — это общее название для всех сборников древнерусского права, сборников, как сейчас увидим, весьма различного происхождения. Древнейшую запись относят теперь, с большими основаниями, к первой половине X столетия. Она, значит, современница русско-греческих договоров, о которых говорилось выше (см. с. 60). Она дает очень живую картину *княжеского* обычая русских славян. Общественная дисциплина обеспечивалась всецело *самообороной*. Человек, которого ударили, гнался за тем, кто ударил, а, догнав, расправлялся, как хотел и мог. Если он сам не в силах был это сделать, расправлялись его «чада», его семейные. Месть за своего была не только правом — она, как и у теперешних примитивных народов, была обязанностью: в этом смысле и приходится понимать первую статью «Русской Правды», перечисляющую кровомстителей. Долгое время, не будучи в состоянии отрешиться от современной, «государственной» точки зрения, видели в этом перечне попытку ограничить, якобы, кровную месть определенными степенями родства. Но, как сейчас увидим, ограничивать было некому, ибо никакой общественной власти, которая по обязанности вмешивалась бы в столкновения между членами племени (точнее говоря, между семьями, составлявшими племя), не знает древнейший текст «Русской Правды». Единственный трибунал, ему знакомый, это третейский суд, импровизируемый в каждом отдельном случае самими тяжущимися. «Если один человек обвиняет другого, — говорит „Правда“, — что тот взял какую-нибудь вещь, а тот начнет заператься, то идти им на „свод“ (или „извод“) перед 12 человеками». Как видим, сакраментальное число 12 присяжных идет из чрезвычайно глубокой старины — но не видно, чтобы эти древнейшие присяжные получали свои полномочия от кого бы то ни было, кроме самих спорящих. Смягчение обычая «кровной мести» есть в нашем памятнике, но оно выражается со-

всем в другом»: в ответ на убийство разрешается уже не убивать, а взять с убийцы деньги. Тут отразилась та экономическая перемена, которая раньше всего покачнула семейно-племенной быт: появление торговли, познакомившей восточного славянина с силою денег. Все можно было обратить в деньги, включая и труп убитого родственника. И очень характерно, что если в списке мстителей мы встречаем перечень родни, чрезвычайно архаический, с отзвуками материнского права, то в списке тех, за кого можно получить деньги, мы встречаем пришлых, безродных людей — наемного солдата («гридень» «мечник»), купца и просто «изгоя» (получившего свободу холопа). У них не было мстителей по обязанности, а мстители по праву, их товарищи, были люди коммерческие, предпочитавшие деньги крови.

В явную насмешку над рассказом летописи о том, будто первые князья были «призваны» из-за моря, чтобы «судить по праву», древнейший памятник русского права ни одним звуком не упоминает о судебной роли князя. Читая его, можно подумать, что находишься в настоящей республике. Проходит сто лет слишком — и от второй половины XI столетия мы имеем новый сборник обычаев (его нельзя назвать «новой редакцией», хотя обыкновенно его так и титулуют, ибо содержание его совсем другое), напоминающий нам, что если князь пришел и не за тем, чтобы судить, то во всяком случае, придя и посидев достаточно долго, он забрал в руки и судебную власть. Слова «князь», «княжий» на каждом шагу мелькают перед нами в этой «второй редакции». Первое же постановление наталкивает нас на княжеского «огнищанина» (дворянина, по-теперешнему — члена княжеского двора, «огнища» — ср. «печище»). За убийство своего придворного князь желал получить очень круглую сумму — 80 гривен (до 2 000 руб. на теперешние деньги)<sup>1)</sup>, за своего приказчика он требовал только 600 руб. (12 гривен), а за своего работника или за крестьянина, смерда — и всего 125 (5 гривен); из этого постановления мы узнаем, что княжеский холоп и «свободный» крестьянин стояли перед князем на одной доске. Во всех этих делах князь, очевидно, судит — это он назначает 80 или 5 гривен штрафа. Но ниоткуда не видно, чтобы он судил как представитель общественной власти. Его приговору подчиняются, потому что он самый сильный человек в стране — против

<sup>1)</sup> Если считать здесь, как обыкновенно делают, гривны *кун* (около  $\frac{1}{7}$ – $\frac{1}{8}$  фунта серебра); если же считать серебряные гривны, расчеты придется увеличить в 4 раза.



его решения не возразишь — по крайней мере в одиночку. Но едва ли кто-нибудь уполномочивал его произносить приговор, как тех 12 присяжных, с которыми мы встречались выше. Напротив, есть много оснований думать, что сама запись «второй редакции» была результатом известного ограничения княжеского самоуправления. Эта редакция относится ко времени сыновей Ярослава Владимировича (умершего в 1054 г.) — Изяслава, Всеволода и Святослава — и представляет собою результат их взаимного соглашения. Времена тогда были очень смутные — Изяслава, старшего из братьев, дважды выгоняли из Киева: первый раз киевляне, второй раз его же братья. Этим последним летопись определенно усваивает демократические, так сказать, тенденции. Они заступались за Киев перед старшим братом, отличавшимся, судя по летописи, качествами настоящего тирана. Можно предположить, что съезд Ярославичей был предпринят с целью обуздать лютого Изяслава — и при известном давлении снизу эта попытка удалась. Первые же три статьи «второй редакции» носят явный характер *уступки*: князь обязуется не взыскивать за убийство огнищанина по круговой поруке, если убийство совершено «в обиду», т. е. в ссоре; тогда отвечает только сам убийца. Круговая порука применяется лишь, если огнищанина убьют разбойники или убийц не найдут. Еще выразительнее третье постановление, вовсе освобождающее от штрафа за убийство огнищанина, если того захватили на краже лошадей, или вообще скота («у клетки»). Это проливает как нельзя более яркий свет на отношения между княжеской дружиной и населением — и показывает, что и в XI в. князь во всяком случае не был воплощением порядка. Никак нельзя предположить поэтому, что право князя брать в свою пользу штраф за *всякое* убийство, не только своего слуги, право, встречающееся в самой распространенной 3-й редакции «Правды», возникшей в XII в., — чтобы это право было предоставлено князю населением. Как князь его захватил, ни «Правда», ни летопись не дают ясного ответа. Видно только, что вопрос был возбужден еще при Владимире Св. по почину византийского духовенства, которое требовало, собственно, введения в России смертной казни по византийскому образцу. Это гуманное домогательство не прошло, но, кажется, именно опираясь на духовенство, всячески старавшееся из варяжского «конунга» сделать государя по образу и подобию греческого императора, князь и дал своеобразное толкование своей «государственной» прерогативе, начав извлекать пользу для своей казны из всякого убийства. Рядом с «головничеством» — выкупом от кровной мести — начинает взыскиваться княжеская «вира»:

едва ли в качестве выкупа от смертной казни, как думают некоторые ученые. Смертная казнь — явление гораздо более поздней эпохи, и она заменила именно частную месть. В то время, когда вырабатывалась «Русская Правда», князь, пользуясь своей силой, мог, конечно, безнаказанно убить всякого «смерда», а при случае (с большим риском) и горожанина. Но он это делал, когда ему было нужно (после восстания, например) — к уголовному праву это не имеет никакого отношения.

Итак, наряду с данью, в число княжеских доходов попали и судебные штрафы — *виры*, если дело шло об убийстве, *пропажи*, если речь была о воровстве либо другом мелком преступлении. Так как последние случались, конечно, чаще, чем убийства, то «продажа» была, в бытовом отношении, популярнее виры: стереотипной жалобой летописца является «оскудение земли от ратей и продаж». Мы видим, что судебная власть князя в глазах населения была таким же бедствием, как война, и что гораздо правильнее было бы отнести эту судебную власть к финансовому ведомству, чем к юстиции. Тут опять характерен *язык*: «суд» в наших старинных документах значит, во-первых, «судебное решение», а во-вторых, «судебный доход». Эта двусмысленность приводит сплошь и рядом к сочетаниям, прямо пикантным с нашей современной точки зрения. «Пожаловали есмя, — читаем мы в какой-нибудь грамоте, — слугу своего (такого-то) селом (таким-то) со всем тем, что к тому селу потягло, и с хлебом земляным, *опроче* (кроме) *душегубства и разбоя с поличным*». В первую минуту может даже показаться, что душегубство имеет какое-то отношение к «земляному хлебу» — т. е. посеянной уже озимой ржи. Но нет — это душегубство не имеет в себе ничего аграрного. Это самое обыкновенное уголовное преступление — только оно рассматривается с той же точки зрения, как и озимая рожь: и то и другое — «доходные статьи». То же и со словом «самосуд»: это значит не столько «самоуправство» на древнерусском языке, сколько лишение князя или его слуг следующего им дохода. Кто-нибудь поймал вора с поличным и по доброте душевной, поколотив его, отпустил на все четыре стороны — это «самосуд»; не то, что вора поколотили — это, вероятно, даже и сам избитый считал в порядке вещей — а то, что его не «явили» волостелю или иному княжескому чиновнику, и те не получили причитающихся с дела пошлин.

Мы видели, что поддержанию общественной дисциплины судебные полномочия князя служили всего менее — сейчас мы увидим, что иногда ничто не мешало так этой дисциплине, как налич-

ность княжего «суда» в старом смысле слова. Но однако же, скажет читатель, «порядок» как-нибудь поддерживался? Теми же средствами, как и во времена древнейшей редакции «Русской Правды» — самоуправством, самосудом не в древнерусском, а в нашем смысле этого слова. «Кровная месть» в принципе продолжала жить до XVI столетия: эволюционировала, менялась вне всякого влияния княжеской власти, по-видимому, ее форма. В позднейшее время мы не встречаем уже междусемейной войны, какая была возможна в X в. Беспорядочная драка — «кто *кого* смог, тот того и с ног» — сменилась дракой в известных, определенных обычаях, условиях: «месть» перешла в «судебный поединок». Спорящие надевали броню и шелом, вооружались палицами или дубинами (в более древнее время, как мы знаем из показаний иностранцев, мечами — замена острого оружия тупым была дальнейшим смягчением обычая) и отправлялись в таком виде на «извод» решать свой спор. Кто оставался на месте, тот вместе с жизнью проигрывал и свое дело. Первоначально бой был публичным: встречающееся нам в «Судебнике» Ивана III (1497 г.) ограничение публичности, разрешение присутствовать при драке только «стряпчим и поручникам» (секундантам) отмечает собою уже вымирание судебного поединка. Таким же симптомом вымирания является и право сторон нанимать за себя бойцов: право, которым прежде всего воспользовалось, кажется, духовенство — монах не обязан был сам идти «на поле», а мог поставить «наймита». В этом смягчении сурового обычая для себя, по-видимому, и выразилось, главным образом, влияние на поединки духовной власти. Характерно, что последние по времени упоминания о судебных поединках относятся именно к *монастырским* имениям: по отношению к своим «подданным» церковь обнаружила в данном случае большой консерватизм. И если Стоглавый собор (1551 г.) восстает против «поля», то, кажется, главным образом потому, что польщики прибегали к гаданьям, колдовству и тому подобным «языческим» средствам склонить судьбу на свою сторону. Из всех сторон судебного поединка кровопролитие могло смутить всего менее тех, кто первый заговорил о необходимости смертной казни в России <sup>2)</sup>.

<sup>2)</sup> Основываясь на благих пожеланиях отдельных церковных писателей — которые, случалось, осуждали и рабство, и взимание процентов, словом, многое из того, чем церковь, как учреждение, пользовалась прежде всех других и лучше, чем другие, — наша историческая литература создала грандиозную картину борьбы церкви против судебного поединка; причем оказалось, например, что «Русская правда»

Настоящие причины исчезновения саморасправы даже в смягченном ее виде хорошо рисует нам один эпизод, случившийся в княжение отца Грозного, вел. князя Василия Ивановича. «Боярским детям», т. е., по-теперешнему, дворянам, помещикам, пришлось «лезть на поле» против крестьян, и они отказались, заявив, что дворянин может драться только с дворянином. Тогдашнее общественное мнение еще высказалось против них, как оно всегда высказывается против всякого новшества. Но упрямые боярские дети открыли своим отказом новую эру. Дворянин с дворянином продолжали драться и в XIX столетии: об этом хорошо знает история русской литературы, которой «поле» стоило Пушкина и Лермонтова. Но это не имело уже никакого отношения к праву — юридически это даже было не средство восстановления права, а прямое правонарушение. Восстанавливать же свое право старыми «племенными» средствами было анахронизмом уже в XVI в., потому что единого, цельного племени более не было — было *общество, разделенное на классы*, и уголовное право, как вся система права вообще, служило поддержанию господства высшего класса над низшим. Эта *классовая юстиция* звучит уже весьма явственно в том же судебнике Ивана III рядом с вымирающими остатками племенного обычая. Наряду с «полем» мы встречаем в этом памятнике и *смертную казнь*, и перечень случаев, где она применялась, в высокой степени поучителен. Смертью казнили, во первых, крестьянина или холопа, убившего своего барина, во вторых, мятежника («кормольника»); в третьих, человека, укравшего что-либо церковное; в четвертых, поджигателя — в эпоху закрепощения крестьян «красный петух» в деревне имел, очевидно, то же аграрное значение, что и позднее; наконец, профессионального вара и разбойника — «ведомого лихого человека», широкое и неопределенное понятие, под которое можно было подвести всякого «злоумышленника» против интересов господствующего класса: и человека, действительно, жившего грабежом чужой собственности, и примитивного революционера, протестовавшего против угнетения.

Лишь один только тип преступника, по «Судебнику», достойного виселицы, не уложится в эти рамки — но любопытен этот тип не менее. «Судебник» предписывает «живота не дати», между прочим, и *подметчику*. Что это такое? В своем переводе «Судеб-

---

не упоминает о «поле» из этических соображений, под влиянием духовенства! На самом деле это свидетельствует лишь, что «поле» сложилось и существовало, помимо княжеской власти; «Правда» широкой редакции — памятник *княжеского суда*.

ника» Ивана III один современный иностранный путешественник подробно растолковал это истинно-русское понятие, а памфлетная литература XVI в. дала нам к нему яркие бытовые иллюстрации. Подметчиком называют, говорит этот путешественник, человека, который подбрасывает тайком краденые вещи в чей-либо дом, чтобы «сделать процесс», поднять кляузу против хозяина этого дома. Из памфлетов мы узнаем, что подбрасывали не только вещи, но и мертвые тела — дело об убийстве было, конечно, еще доходнее, чем о воровстве, — и что занимались этим те самые люди, которые жили «судом» наравне со всякими другими «данями и пошлинами», чины «княжеской администрации», по-теперешнему говоря, — знакомые нам *кормленщики* (см. с. 173). Вы удивлены: ведь это же и есть «орган порядка». Но удивляться рано: вспомните княжеского слугу, «огнищанина» «Русской Правды», которого можно было поймать с поличным «у клети» и убить «во пса место», как собаку. Сама государственная власть XVI в. нисколько не смущалась признаваться, что кормленщик был именно «органом беспорядка». «Что нам били челом, а сказывали, — говорит буквально царская грамота на Вагу (1552 г.), — что де у них в Шенкурье и в Вельску на посадах многие дворы, а в станех и во волостех многие деревни *запустили* от прежних наших Важеских наместников, и от их тиунов, и от доводчиков, и от обыскных грамот, и *от лихих людей, от татей, и от разбойников*, и от костарей, а Важеского де им наместника и пошлинных людей впредь прокормить немочно, от того де у них в станех и в волостях *многие деревни запустили, и крестьяне де у них от того насильства, и продаж, и татей* с посадов *разошлись* по иным городам...» Наместник и разбойник, «продажи» и татьба (воровство) — все это рядом, и результаты от всего этого получаются одинаковые; и царская власть нисколько не скандализирована этим странным совмещением. Она, эта власть, вполне признает справедливость жалоб и дает им удовлетворение. Факт был слишком обычен — и вольно же было видеть позднейшим ученым в княжеской администрации племенного периода представителей «государства». Когда пришлось заводить настоящую судебную-полицейскую администрацию, за это принялись с того, что старых княжеских слуг отвели от дела вовсе.

Уже «Судебник» Ивана III ставил новый способ расправы, смертную казнь, в зависимость не от усмотрения кормленщиков. Последние были в этом случае, скорее, исполнительным органом местного населения, представленного «детьми боярскими пятью или шестью человеками» или «добрыми христианами целовальниками» в таком же числе. Дворянин как видим, и здесь имел первое

место и перевес: его слушали и без присяги, а крестьянин должен был присягать, чтобы его голос имел значение. Притом и к присяге допускался только крестьянин «добрый», т. е. зажиточный: где не было помещиков, как это имело место на всем Севере России, их заменяла сельская буржуазия. Раз в пользу обвинения было нужное число помещиков или богатых крестьян и было «поличное» (мы только что видели, как его при случае подбрасывали), обвиняемого казнили без дальнейшего разбирательства; не было «поличного», т. е. был только голый оговор, без доказательств — обвиняемый отвечал *своим* имуществом, опять-таки без суда. Сущность «губного» сыска последующего времени, расправа с подозрительными людьми без суда — уже налицо в конце XV в. И классовый характер этой расправы, и направление сверху вниз также уже достаточно наметилось. Оставалось дать местным «добрым» людям соответствующий исполнительный орган; как мало годился для этой роли кормленщик, мы уже видели. Этот орган и появляется перед нами, по документам, в 1539 г. в лице «губных голов», непременно из боярских детей — других древнейшие губные грамоты не знают. «Лучшие люди крестьяне» являются и помощниками. Чтобы сделать доступнее нашему пониманию губной сыск, нужно представить себе соединение чрезвычайной охраны или военного положения с круговой порукой. Подобно военному положению, губное устройство (от слова «губа» — судебно-полицейский округ) не знало никаких гарантий: «да которых разбойников поймаете с поличным *или без поличного...* и вы б тех разбойников казнили смертью», — говорит древнейшая грамота. Раз человек «ведомый лихой», т. е. «добрым» местным людям ненавистный, его всегда можно поставить на пытку и, вымучив признание, отправить на виселицу. Только, если «признания» даже пыткой нельзя было добиться, ограничивались сажанием в тюрьму «на смерть», т. е. вечным заключением. Сами грамоты предвидят возможность всяких деликатных осложнений: влияние споров из-за земли или другой какой-нибудь ссоры, — но ограничиваются на этот счет моральными увещаниями, советом «обыскивать вправду, без хитрости». Что делать, если увещания не помогут, и казнить людей будут не за настоящую вину, а для сведения местных счетов, грамоты умалчивают. Зато они очень красноречиво говорят, что случится, если не все разбойники будут пойманы: население тогда отвечало за *все* причиненные разбойниками убытки по круговой поруке *вдвое*, опять-таки без суда; а сверх того, двух или трех из числа «лучших» людей били кнутом. Последнее касалось, конечно, только крестьян, дворяне отвечали лишь

имущественно. Характерно, что в числе возможных обвиняемых губные заказы тоже не знают дворян, — а знают «боярских людей», т. е. крестьян и холопов. Против кого направлены были губные учреждения, таким образом, достаточно ясно. Но их социальная характеристика не ограничивается тем, что это был дворянский суд для крестьян, — этой своей стороной они отражают один экономический процесс XVI в., образование крепостного хозяйства, основанного на беспрекословном повиновении крестьян барину. Но мы знаем, что этим экономическая характеристика Московской Руси не исчерпывается; эта Русь была страной не только крепостного права, но и *городского хозяйства*, мелких замкнутых хозяйственных округов, лишь очень непрочно, немногими нитями, связанных друг с другом. Если бы мы не имели чисто экономических доказательств существования у нас городского хозяйства, мы косвенно могли бы вывести его наличность из губных грамот. Самая организация сыска, по губам, по отдельным округам, сносившимся непосредственно с Москвою, но обслуживавшимся всецело местными силами, — эта юридическая самостоятельность округа предполагает, как необходимую экономическую основу, его хозяйственную самостоятельность. А затем сыск направлен не только сверху вниз, но и от «своих» к «чужим». И граница хозяйственного округа была настолько высока, что за этой границей даже дворянское звание действовало плохо. «И как к вам ся наша грамота придет, — говорит один такой документ, — и вы бы, приказчики Троицкие (речь идет о селах Троицкого монастыря) и крестьяне, часа того, в тех селах и деревнях учинили меж себя у десяти дворов десятского, у пятидесяти дворов пятидесятского, у ста дворов сотского. Которые люди торговые или *дети боярские проезжие* учнут у нас ставится ночевати, или в которых селах торговати, и вы бы меж себя тех людей являли десятским, а десятские являли пятидесятским, а пятидесятские являли сотским; а сотские с пятидесятскими и с десятскими осматривали и записывали, какие люди в котором дворе ставятся. А которые *люди проезжие, необычные и незнамые*, в которых дворах в тех селах и в деревнях станут сказыватися неимянно и непутно, и вы б тех имали да про них обыскивали накрепко правду, бесхитростно, по нашему крестному целованью, какие они люди.»

По мере развития крепостного хозяйства «сыск», как называлась новая форма судебной расправы, в отличие от старого «суда», все больше и больше брал верх над последним, пока при Петре *всякое различие между гражданским и уголовным процессом совершенно стусевалось*. В эпоху «Уложения» царя Алексея Михайловича

(1649 г.) от суда — в смысле «Русской Правды» и судебных книг — оставалось еще довольно много. Гражданская тяжба еще очень напоминала собою борьбу. Стороны «слались» на определенное количество людей (10) определенного качества: для крупной тяжбы требовалась ссылка не меньше, чем на подъячего мелкого чиновника или сотника стрелецкого (пехотного офицера); для мелкой можно было сослаться и на крестьян. Но это не были свидетели в нашем смысле этого слова. Это были «послухи», остаток учреждения, так хорошо знакомого «Русской Правде», где в свою очередь они были остатком еще более седой старины. В древнейшее время каждый являлся на суд или на драку с толпой свои родственников и соседей, которые и помогали ему «отстаивать свое право» в самом буквальном смысле слова кулаками и дубинами. Еще в XV в. приходилось запрещать подобные процессуальные приемы — так были они живучи. Но обычай уже в XII в. знал только смягченную форму такого пособничества: приходившие на суд помогать должны были делать это не кулаком, а языком и губами. Они должны были слово в слово подтвердить то, что утверждает их сторона и подкрепить это целованием креста. Достаточно было одному из «послухов» сбиться хотя бы в одно слово — и его сторона считалась проигравшей. «А будет кто в тех исках на таких людей, которые писаны выше сего пошлетя из *виноватых* (sic), — говорит „Уложение“, — и те люди по допросу *скажут* не против его ссылки или и против его ссылки, *да не все в одну речь, хотя один не по нем скажет*, и его тем обвинить». Но «Уложение» предусматривает случай и настоящей драки на суде, и подробно занимается вопросом, что делать, если одна сторона другую «обесчестит непригожим словом», «рукою зашибет, а не ранит», «замахнется оружием или ножом, а не ранит», наконец, «ранит» или «убьет до смерти», причем считается возможным, что в драке попадет и судьям. Гипотеза совсем не праздная — из документов XV в. мы знаем о случаях, когда судьям приходилось отсиживаться, запершись в избе, от недовольной их решением стороны. В эпоху «Уложения» это все уже преступления, за которые бьют кнутом или «казнят смертью без всякой пощады». Но и легальная, узаконенная «Уложением», борьба далеко не ограничивалась словесным препирательством. Во времена племенного суда стороны и их «послухи» дрались не только крестным целованием; в более серьезных случаях племенной обычай требовал «дати им правду железо». Спорящие схватывались за раскаленный кусок железа, и кто дольше выдерживал — был прав. Из этих «ордалий» и на Западе, и у нас, как правильно догадываются исследователи,



развилась *пытка*. Характерно, что в эпоху «Уложения» пытки *требовали* стороны, не каждая для себя, а друг для друга, разумеется. Ответчик, по живописному выражению одного документа, «на кожу свою не слался, а слался на его, истцову, кожу». Кто выдерживал пытку, тот и выигрывал дело, — смысл был тот же, что и при испытании железом.

Читатель заметил, что «Уложение», говоря о гражданском споре, употребляет выражения «виноватый»; и для эпохи царя Алексея различие между уголовным и гражданским процессами уже стиралось. Нужно, впрочем, оговориться: древность вообще этого различия не знала, но не знала его в том смысле, что для племенной обычая всякое дело, даже и убийство, например, было делом «гражданским» — спором сторон. Уголовный процесс у нас явился вместе с губным «сыском»; дальнейшая эволюция и состояла в том, что эта новая форма заполнила весь процесс. «Сыск» стал таким же универсальным приемом, каким раньше был «суд». Уже в XVII в. и там и тут применялся «повальный обыск»: поголовный опрос местного населения о доброкачественности тяжущихся или обвиняемых. Что представляли из себя повальные обыски на практике, это очень хорошо нарисовал Татищев — историк начала XVIII в., помнивший эпоху «Уложения» по собственным юношеским впечатлениям. Обыскных людей собирали часто из дальних мест — ничего они по данному делу не знали, но потребовавшая повально-го обыска сторона поила их допьяна, и, когда они уже совершенно не понимали, что делают, им подсовывали для рукоприкладства «обыски». Противная сторона, однако, тоже не дремала: бывали случаи, что на пьяных обыскных людей внезапно налетала ватага ответчика и била их смертным боем.

Эти картинки нравов, с образными выражениями вроде «слать-ся на кожу истца» и т. п., лучше многого другого даст нам понять, как могла появиться та, невероятная на наш взгляд, процедура, которая явилась при Петре I под именем «Воинского процесса». Между ответчиком в гражданском процессе и обвиняемым в уголовном преступлении тут уже нет никакой разницы. И тот и другой одинаково арестовывались — исключение делалось для чинов не ниже генеральского. Пытка является универсальным средством открытия истины — притом пытаются не только истца или ответчика, но и свидетелей: «когда свидетель в больших и важных гражданских делах обробеет, или смутится, или в лице изменится, то питан бывает», — говорит «Воинский процесс». Само собою разумеется, что в более

важных случаях свидетелей арестовывали, как и ответчика, и держали в тюрьме до конца дела. Читатель видит, что боязнь русского простонародья «попасть в свидетели» вовсе не глупый предрассудок, а имела под собою солидные исторические основания.

Вопреки распространенному мнению, что прогресс смягчает нравы, мы видим, таким образом, что переход к эпохе торгового капитализма — с экономической точки зрения несомненный прогресс — отмечен у нас все возрастающей жестокостью судебной расправы. Эпоха «Русской Правды» знала, по-видимому, только один вид лишения жизни — да и то не в качестве обычного уголовного наказания: повешение. Время Петра Великого знало целый ряд способов, несравненно более утонченных: закапывание живым в землю (жены за убийство мужа — и вообще за убийство родственников: закапывали лишь по грудь, так что казненные мучились иногда по нескольку суток, прежде чем умирали), посадение на кол (с теми же последствиями: смерть наступала иногда только через 50 часов!), «колесование» — казненному раздробляли суставы рук и ног, при чем он опять-таки умирал лишь много времени спустя, «копчение» — поджаривание на медленном огне. Четвертование — отрубание рук и ног, а затем головы — могло считаться еще очень гуманным способом лишения жизни — тут все кончалось в несколько минут. Самое наказание кнутом, столь же обычное, как арестантские роты в последние дни царизма, представляло собою, в сущности, варварскую пытку. Кнут, как орудие расправы, только по имени похож на невинный инструмент, которым в недавнее еще время русский извозчик стегал свою лошадь (в деревне стегает и до сих пор, надо думать). «Судебный» кнут — это тяжелая ременная плеть, с жестким, как дерево куском кожи на конце, загнутым в виде когтя. Плеть была так тяжела, что с одного удара могла перебить позвоночник казнимого — а коготь рвал его мясо кусками. Практически, наказание кнутом очень часто равнялось смертной казни: «бить кнутом нещадно», в сущности, и значило «забить до смерти». Но палач был виртуозом своего дела, и он мог, при желании, обставить наказание так, что высеченный отделялся несколькими лоскутками кожи. Для этого нужно было или чтобы палач получил хорошую мзду, или чтобы от начальства был приказ — не усердствовать. В действительности, людей высших классов забивали на смерть кнутом только в делах, имевших политический характер, — или таких, которым этот характер хотели придать. Вот почему избавление дворянства от телесных наказаний (по Жалованной грамоте 1785 г.) носило определенно выраженный

характер *политической* льготы, — а восстановление кнута для дворян при Павле было органически связано с политической реакцией. В обычном, уголовном порядке все эти ужасы обрушивались на тот общественный класс, который именно в это время был уподоблен «военным людям, за отечество предающимся во все опасности и жертвующим самой жизнью». *Судопроизводство XVIII в. было конкретной формой того внеэкономического принуждения, на котором держалось крепостное хозяйство.* А так как это последнее служило торговому капиталу, как мы видели, то свирепая уголовная юстиция вовсе не была национальным, русским явлением — результатом влияния татарщины, например, как часто писали. Напротив, мы видим, что, чем больше европеизируется Россия, тем жестче становится ее уголовное право, ибо и Западная Европа в аналогичную экономическую эпоху знала те же формы уголовной репрессии. Колесование было знакомо и Франции XVII—XVIII вв.; кнут имелся и в австрийском уголовном Уложении. «Внеэкономическое принуждение» нужно было всюду, пока крестьянин не был в достаточной степени откреплен от земли, а рабочий — от орудий производства. Отнять продукт у самостоятельного еще производителя можно было только путем террора — и уголовное право крепостной России было заключительным звеном целой системы.

Эта система давала себя чувствовать уже задолго до того, как выступил на сцену судебно-полицейский аппарат государства. До сих пор мы намеренно отвлекались от того факта, что *государственный суд* в России XVIII в. был, так сказать, «праздничной», исключительно торжественной формой юстиции — ее «будничная» форма, применявшаяся в тысячу раз чаще, — это был *суд помещичий*. Помещик судил своих крепостных, вероятно, в  $\frac{9}{10}$  случаев всех правонарушений. Собственно, только *убийство и разбой* начисто были исключены законодательством XVII—XVIII вв. из помещичьей юстиции; но и тут барину принадлежало право произвести предварительное следствие, — а оно тогда было неразрывно связано с пыткой. Пытка в помещичьем суд была, пожалуй, более распространена и держалась дольше, чем в государственном. В этом последнем начал ее ограничивать уже Петр, в 1722 г. предлагавший Сенату «рассмотреть о пытках, понеже и в малых делах пытки чинят, чтобы оное унять». В середине века пытки применяются только в политических и крупнейших уголовных делах, — а при Екатерине II они юридически исчезают вовсе, оставаясь, конечно, на правах «бытового явления». Помещик, преимущественно сталкивавшийся с «малыми делами», имел иногда у себя застенки лет

через сорок после смерти Петра — и такой застенок, что он мог бы потягаться с петровским «Преображенским приказом»; у орловского помещика Шеншина, например, «работало» сразу до 30 палачей с помощниками. «Русская Правда» знала «поток и разграбление», конфискацию всего имущества и продажу в рабство самого виновника только как возмездие за *разбой*: по «Судебнику» гр. Румянцева, составленному им в 1751 г. для своих вотчин, такая судьба постигла виновного в простом *воровстве*, хотя бы на самую малую сумму. У вора отбирали все имение, самого его секли плетьюми и отдавали «в первую работу, куда потребно будет», или в рекруты. Ссылать своих крепостных на каторгу помещики получили право только в 1765 г. — так что Румянцев еще не мог использовать этой дворянской привилегии. Когда она была дана, помещики пользовались ею с энергией, приводившей в ужас екатерининских администраторов. Деяния помещиков на этой почве новгородский губернатор Сивере не мог назвать иначе, как «самыми возмутительными», а сибирский губернатор Чичерин доносил Сенату, что из присылаемых «в работу» за «продерзости» многие оказываются безрукими и безногими и что среди них не без дряхлых стариков, которых в Сибири ни на какую работу использовать нельзя. Цель тут была, правда, очень часто не юридическая, — т. е. косвенно-экономическая, а экономическая непосредственно: стремление избавиться крепостную «армию» от бесполезных ртов. Но свирепости помещичьей расправы и в этом случае отрицать не приходится: базисом утонченно-жестокому «правосудию» XVIII в. служило именно крепостное хозяйство, со сложившимися в нем нравами и обычаями.

Возвращаясь к государственному суду, надо отметить еще одну его черту, дорисовывающую его террористический облик: *тайну*, тяготевшую надо всем судопроизводством. Еще «Уложение» грозило кнутом подъячому, который «судное дело истцу или ответчику кажет», приравнивая такое ознакомление сторон с судебными документами «пonorовке» Тайна достигала своего апогея в больших уголовных или политических процессах. Суда — в собственном смысле слова, древнейшем или теперешнем, судовогодения — не было вовсе. Изолированные друг от друга и от всего мира подсудимые видели только своих следователей — они же были судьи. Цель последних была весьма проста: всеми возможными способами заставить обвиняемого наговорить на себя и товарищей как можно больше. В XVIII в. эта говорливость подсудимого подстрекалась ударами кнута на дыбе: «кнут развяжет язык», гласила тогдашняя судебная поговорка. В XIX в. прибегали к менее грубым средствам.

Продолжительное одиночное заключение, эффект которого усиливался ловко пропускаемыми за стены тюрьмы «слухами», «вестями от родных» — иногда, в более важных случаях и с более крепкими людьми, прямыми обещаниями, которых потом, разумеется, и не думали исполнять, — все это доводило заключенного до такого нервного возбуждения, что он начинал чувствовать неудержимую потребность высказаться перед кем бы то ни было и чего бы ему это ни стоило. Невероятная, на каш взгляд, откровенность декабристов и петрашевцев больше чем наполовину объясняется этой веками выработанной и испытанной практикой старого суда. Затем, когда слов — иногда прямо истерической болтовни — в руках следователей было достаточно, оставалось из этого лепкого материала надеть формальных улики, а это мало-мальски опытному судье было уже легче легкого. Если и в позднейшее время, при гласном судопроизводстве, иногда не стеснялись приписывать подсудимому то, чего он никогда и не думал, основываясь на нескольких вырванных наудачу и вкривь и вкось перетолкованных фразах, то какие же препятствия могли существовать для этого в то время, когда заключения суда становились известны подсудимому одновременно с приговором? Ибо ответы следователям и выслушивание приговора — это были единственные моменты, когда обвиняемый соприкасался с судом. Все остальное творилось в четырех стенах канцелярии, под непроницаемым покровом судебной тайны.

Канцелярское судопроизводство должно было отличаться крайней сложностью и медленностью. Так оно и было: еще в 40-х гг. XIX в. требовалось иногда двенадцать лет, чтобы только «дать делу ход»; был случай, что понадобились 46 понуждений, чтобы получить простую справку. Притом суд этот, как установилось с XVI в., был сословный *дворянский*. Уже в XVII в. дворянский губной староста не только преследовал разбойников, но мог и вообще судить, а где его не было — судил воевода, опять-таки всегда дворянин, только не выбранный местными помещиками, а назначенный сверху. В 1702 г. губные старосты были уничтожены, но дворянские заседатели, под разными именами и различным образом назначавшиеся, сохранились и при творивших суд в XVIII в. губернаторах и воеводах (которые были теперь помощниками губернаторов — управляли частями губернии, «провинциями»). Центральное судебное учреждение, юстиц-коллегия, созданная Петром (ранее каждый «приказ» московского государства судил самостоятельно тех, кем он заведывал — и только крупнейшие уголовные дела были сосредоточены в особом учреждении, «Разбойном приказе»), была избрана

при участии всех дворян, находившихся тогда в Петербурге. При Екатерине II сложилась окончательно система дореформенных судебных учреждений: две низшие инстанции, уездный суд и верхний земский суд, были выборные от дворянства; палаты гражданского и уголовного суда были, сначала, назначенные, но тоже из дворян, разумеется; при Александре I и палаты стали выборными от дворянства (причем исчез верхний земский суд). В низших инстанциях появились выборные и от крестьян (некрепостных), но они имели чисто декоративное значение.

Сложный, медленный и помещичий по своему составу суд — как мог он удовлетворять потребностям того класса, который на Руси народился, рос и развивался как раз в эту эпоху — *буржуазии*? Кажется, на пути развития капитализма в России судебная ее организация стояла непреодолимым препятствием. Но это иллюзия. Государственная власть умела обойти препятствие: буржуазия уже с XVII в. и до реформы 60-х гг. в своих, буржуазных, делах была неподсудна общим судам. Губной староста или воевода еще мог судить уездных лавочников (в 1699 г. он потерял и это право), но *гостя*, крупного капиталиста, он судить не мог, *гостя* судили только в Москве — органы центрального правительства. Начиная с Петра, купечество вообще, не только крупное, имеет у нас свои особые судебные учреждения, в образе «магистратов». Но, что гораздо важнее, буржуазия выработала у нас свою *форму* суда, специально для коммерческих дел: это был так называемый *таможенный* суд. Его отличительными чертами были *устность* и *скорость*. Дело разбиралось примерно так же, как теперь в народном суде; решали спор документы и свидетельские показания, и решение немедленно приводилось в исполнение. Та тяжелая форма гражданского процесса, с повальным обыском, пыткой, бесконечным бумагописанием и бесчисленными взятками во всевозможных инстанциях (при Екатерине II число их доходило до *шести*, не считая прошения на высочайшее имя), которая нам знакома по «Уложению» царя Алексея и документам XVIII столетия, касалась только *земельных тяжб* и отношений *между дворянами*, ибо купцы владеть землею не могли. Это было естественное дополнение системы крепостного хозяйства — буржуазное хозяйство, поскольку оно существовало, не было стеснено этими устаревшими приемами. Когда в середине XIX в. элементарной формы «таможенного» суда оказалось уже мало и началось заимствование европейских буржуазных учреждений, как раз для русской буржуазии они не представляли собою абсолютной новости. Здесь был не крутой разрыв с прошлым, а ряд

постепенных переходов: недаром и первые проекты судебной реформы 60-х гг. относились *не к уголовному*, а к гражданскому судопроизводству (самым первым было «Положение о присяжных поверенных»).

Дворянский суд держался ровно столько времени, сколько крепостное хозяйство: на другой же день после 19 февраля он оказался ненужен и вреден. Идея судебной реформы была у нас всегда параллельна идее крестьянской реформы. Первые, неясные проблески «нового суда» современны тем годам царствования Екатерины II, когда она смутно мечтала еще об освобождении крестьян. Последовавший затем расцвет барщинного хозяйства погасил самую мысль о возможности судебных преобразований — и даже отмена пытки была встречена дворянством с ропотом. Вновь обе реформы сразу ставятся на очередь проектами Сперанского — и вместе с этими проектами рушатся. В проектах декабристов упразднение крепостного права и суд присяжных опять встречаются рядом. Николай I почти все свое царствование собирался приступить к освобождению крестьян — и хотя так и не осуществил этого своего намерения, но кнут отменил именно он (в 1845 г.), и к его же царствованию относятся первые проекты общей судебной реформы. Наконец, при Александре II обе реформы трогаются в путь вместе (1857–1858 гг.). Как известно, их внутренняя связь подчеркнута, хотя и неудачно, и государственным советом в его мотивировке судебных преобразований; государственный совет находил, что 19 февраля, упразднив помещичьи суды, поставило на очередь вопрос о новых судебных *учреждениях*; на самом деле, исчезновение крепостного хозяйства сделало неизбежными новые *формы* суда. Старое орудие крепостной дисциплины становилось более не нужно, и его с тем большей радостью спешили сбросить, что и дворянской руке нелегко было им владеть: Крепостное хозяйство и здесь, как интенсификация барщины, оказывалось *общей тюрьмой* — и для мужика, и для барина. Никто, при Екатерине II, не отстаивал с большею убедительностью целесообразности крепостного права, чем кн. Щербатов. Но посмотрите как он тоскует по буржуазным формам суда: «Говоря о безопасности личной, не могу я не помянуть и того, чего бы ради каждому по уголовному делу обвиняемому человеку не дать стряпчего или советника, который бы мог спомоществовать ему оправдаться? В малой или великой вещи имения нашего имеем мы прибежище к совету стряпчих; но как скоро касается до нашей жизни и чести, тут в робости, смущении и в трепете духа, лишённые совета и *помощи*, сами должны отвечать и искать себе оправданий...

Говоря о содержании под стражей, не могу я умолчать об аглинском установлении, *габеас корпус* называемом, по коему каждый, в каком бы уголовном деле ни был обвиняем, имеет право, сыскав по себе поручителей, от содержания под стражей избежать и пользоваться свободой. Чего же бы ради сего у нас не учредить? Ибо пример аглинский нам доказует, что от сего никакого зла не происходит». Дворянству *судебные* гарантии нужны были как *политические* гарантии, — и тут была антиномия (внутреннее противоречие) крепостного строя: он мог держаться лишь безграничным гнетом сверху, и, если под пресс попадал дворянин, ему уже не приходилось жаловаться.

Для буржуазии созданный «великими реформами 60-х гг.» суд был судом вообще, как и «свобода», дарованная в 1861 г. Александром I крестьянам, была свободой вообще. Для нас эта «свобода» является лишь новой, более совершенной формой эксплуатации крестьянина помещиком. И «новый» суд был необходимым дополнением к этой новой эксплуатации. Из рук «дворян» и «купцов» он перешел в руки земельной и промышленной буржуазии и слоев населения, непосредственно от нее зависевших. И для мировых судей (теперешние народные суды), и для присяжных, участвовавших в решении уголовных дел в судах высшего порядка (*окружных*, — наши губсуды) был установлен имущественный *ценз*. Мировой судья в городе был почти всегда домовладелец, в деревне — всегда помещик, и замена его дворянским земским начальником в 1880-х гг. изменила лишь юридическую форму, но не сущность дела. Это был знак недоверия свыше не к крестьянству — оно никаким доверием и раньше не пользовалось, — а к либеральничавшему среднему землевладению. Все эти суды судили по законам, сочиненным до 1906 г. бюрократическими органами торгово-капиталистического государства, а после этого года ими же, но с участием «народных представителей» в лице Государственной Думы: главное новшество этого учреждения, как увидим дальше, состояло в привлечении к законодательной работе и *промышленной* буржуазии.

Наиболее характерным признаком нового суда в такой обстановке должна была явиться смена внеэкономического принуждения экономическим. Старый суд бил по спине, — новый — главным образом, по карману. Эту линию он выдерживал как в гражданских делах, где без дорого стоящего адвоката малограмотному бедняку шагу было ступить нельзя и где в споре с фабрикантом рабочий был всегда виноват, а фабрикант прав (факт, засвидетельствованный для Москвы 80-х гг. столь мало революционными свидетелями,



как фабричные инспектора), так и в уголовном, с его прежде всего длиннейшим «предварительным заключением», которое легко и с комфортом отбывал проворовавшийся банкир, но которое бедняка губило даже физически, не дожидаясь приговора суда, не говоря уже о том, что богатый мог просто откупиться от заключения, внеся «залог». Затем адвокат и в уголовном процессе играл не меньшую роль, — а решение произносилось в самом лучшем случае 12 зажиточными интеллигентами (ценз требовал от присяжного заседателя дохода не менее 1,000 руб. зол. в год — для 60-х гг. это равнялось теперешним 3 тысячам) или крестьянами кулацкого типа: но могли быть и настоящие буржуа или чиновники, и ни в каком случае не могли быть рабочие. Чисто чиновничьим был суд по политическим делам (с участием «сословных представителей» старого типа — предводителей дворянства и т. п.).

Буржуазная публицистика особенно рьяно старалась доказать, что «новый» суд был абсолютно честным — тогда как «старый» был подкупным. По отношению к уголовному суду это было более или менее правильно; но надо иметь в виду, что буржуазия всех стран (не только русская) выдает «своих» на уголовный суд, только если они оскандалились публично и скрыть дела нельзя. При помощи уголовного суда буржуазия расправляется со своими «изгоями», с людьми, которые из-за своей личной корысти или из-за сдержанности своего темперамента мешают правильному ходу буржуазной эксплуатации. Только в Америке по мере роста финансовой олигархии для наиболее крупных капиталистов, «миллиардеров», вырабатывается своего рода *иммунитет*, на манер феодального. В Нью-Йорке что бы миллиардер ни совершил, его может ожидать, самое худшее, пожизненное заключение в комфортабельной психиатрической лечебнице. У нас иммунитетом этого рода пользовались в царское время члены дома Романовых. Но вообще в буржуазных странах своих «изгоев» буржуазия не щадит. К их услугам есть продажная печать, есть знаменитые адвокаты, есть, наконец, возможность смягчить строгость тюремного режима — чего же больше? Не будь изгоем!

Но в гражданском суде, где выступал не «изгой», а «нормальный» буржуа, честность «нового» суда остается под большим сомнением. Судебные канцелярии были на форменном жалованьи у крупных адвокатов. По поводу любого гражданского процесса можно было услышать рассказы о внезапном появлении документа, которого никто никогда раньше и в глаза не видал, — а в нужную минуту он тут как тут, со всеми подписями, печатями и т. д. И так же

благополучно мог исчезнуть документ, который все великолепно знали и сотни раз видели, — а вот, поди ты, пропал! По понятным причинам, до суда доходил лишь ничтожный процент подобных казусов, но внимательный анализ архивов наших дореволюционных гражданских судов (к сожалению, иногда чересчур поспешно уничтожавшихся) дал бы материал для любопытнейшей картины нравов, ныне известных лишь по «изустному преданию».

И, во всяком случае, уже сама бесконечная волокита старых гражданских судов с откладыванием дела снова и снова по самым невероятным поводам, вроде случайной описки в том или другой документе, великолепно воспроизводила основную черту суда «старого» — ее длительность. А именно на этой черте и обосновалось то положение вещей, которое резюмировала поговорка «с сильным не борись, с богатым не судись». В гражданском процессе экономически более сильной стороне и в «старом», и в «новом» суде одинаково была обеспечена победа. И только создание суда, сознательно ставящего себе целью защиту *беднейшей* стороны, могло изменить дело — как ни воевали против этого классового суда рыцари обиженной «демократии».

### Библиография

*Внешняя* история суда в России изучена еще лучше, нежели история финансов; тут, помимо всего прочего, помогало еще практическое условие — наличность в университетах специальной кафедры «истории русского права», а, стало быть, необходимость выработать и соответствующие курсы. Из этих последних лучшие — *Владимирского-Буданова* «Обзор истории русского права» (несколько изданий, начиная с 1880-х гг.) и *Сергеевича* «Лекции и исследования по истории русского права» (также несколько изданий, самое полное — *первое*, 1883 г.). Само собою разумеется, что это работы чисто юридические — и что авторы их скорее готовы допустить влияние права на хозяйство, чем наоборот. Ближе к правильной точке зрения стоят работы историков, пока касавшиеся только древнейшего периода. Для этого последнего см. очень хороший, по обыкновению, краткий очерк в уже названном сочинении проф. *Грушевского* («История України-Русі». Т. III) и особенно — более крупную работу *Н. А. Рожкова* «Очерки юридического быта по Русской Правде» (Журн. Мин. нар. просв. 1897. №№ 11–12). Последней досталась совершенно исключительная в русской литературе честь — не остаться без влияния на западноевропейскую науку, новейшая работа о «Русской Правде» проф. *Геца* (*Goetz L. K. Das Russische Recht. 1910–1913* — 4 тома) испещрена ссылками на Рожкова. Для более новых периодов приходится пользоваться или вышеназванными «курсами», или старыми работами описательного типа. Наибольшее

значение сохранила из них до сих пор «История судебных инстанций» *Ф. М. Дмитриева*, охватывающая период с XV по XVIII вв. (вышла первоначально в 1859 г., переиздана, как I том «Сочинений» Д-ва, в 1899 г.). Для истории возникновения «нового суда» см. *Б. Гессена* «Судебная реформа» (в серии «Великие реформы 60-х гг.», вып. II.) — живо написанный, но чисто внешний очерк. О «демократии» в обстановке финансового капитала отличное представление дает первая книга известной американской работы *Уолшера Уэля* «Новая демократия» (Walter Weil The new democracy. New York, 1916).

## Глава 8

### Центральная власть

Познакомившись с военно-финансовой и с судебной организацией, мы узнали главные *функции* государственной власти: остается узнать теперь, как была организована сама эта власть на протяжении русской истории. Иными словами, *какова была политическая организация господствующих классов в России* от древнейших времен до наших дней. Читатель, конечно, не ожидает от нас рассказа о постепенном возникновении русского *государства*, независимо от русского *общества*. Это разделение «общества» и «государства», очень характерное для той поры, когда буржуазия была уже социальной силой, но не владела еще политической властью, теперь утратило всякое значение, даже публицистическое. Для историка же, в особенности для историка-материалиста, такое разделение и никогда не имело бы смысла.

Но, возразит нам читатель, общественные классы появляются ведь в истории довольно поздно, вы сами относите появление их в России примерно к XVI столетию. А была какая-нибудь государственная власть и раньше? Если бы мы захотели придирааться к словам, мы могли бы просто ответить: нет, не было. Потому что те, сначала племенные, потом военно-торговые, позже феодально-землевладельческие ассоциации, какие мы встречаем в России до образования московского государства Ивана IV, весьма мало были похожи на то, что мы называем «государством». Отличительным признаком последнего являются *единство территории и единство верховной власти*. Мы не можем себе представить, чтобы в Москве был один закон, а в Клину другой, или чтобы у нас были одновременно два правительства, издающие законы независимо друг от друга.

Но в Средние века — не только в России, а и всюду — не было ни того, ни другого условия: территория была раздроблена самым причудливым образом и — «что ни колокольня, то особый закон». А власть на отдельных кусках территории была раздроблена еще

более: еще в XVIII в. в России трудно было размежевать в имении власть государя-императора и местного государя-помещика; и первый молчаливо признавал, что население крепостного имения не непосредственно зависит от него, представителя центральной власти, — при переменах на русском престоле в XVIII в. крепостные к присяге на верность новому государю не приводились; за них присягали их помещики. А это было уже в эпоху вымирания русского феодализма; можно себе представить, какая чересполосица в этом отношении господствовала в период его расцвета. *Единство территории и единство власти становятся возможны только с появлением классового общества*, и проходит довольно много времени, прежде чем эта возможность превращается в действительность. Тем не менее «догосударственные», как сказали бы в старое время, формы политической ассоциации представляют исторически большой интерес и стоят того, чтобы мы ими несколько занялись.

Первичное «государство» вполне совпадало с первичным хозяйством: *большая семья* была и основной экономической и основной политической единицей первобытной — для России доисторической — эпохи. Выразительный след этого остался до XV–XVI в. в политической зависимости холопа от своего барина и за пределами данного хозяйства. В Новгороде судья не судил холопа иначе, как в присутствии его «государя»; в Московском великом княжестве начала XVI в. дело шло еще дальше — должник, отработывавший долг во дворе у своего кредитора, подлежал суду этого последнего: «а кто человека держит в деньгах, и он того человека судит сам, а окольные (княжеские чиновники) в то у него не вступаются», — говорит московский вел. князь в одной своей грамоте. Так как речь идет о грамоте *смоленской*, то возможно, что это был местный, западно-русский, обычай: как бы то ни было, для нас он характерен как *переживание* той далекой поры, когда «семья» и «государство» совпадали. Это стадия, соответствующая древнейшему *земледельческому* хозяйству. Характерно, что летопись в тех своих записях, которые восходят еще ко второй половине XI в., помнит об этой стадии<sup>1)</sup>. «Род» нашей летописи — это и есть большая семья первобытных земледельцев. Если верить ей, то «родовой быт» удержался у нас до появления норманнов в IX столетии. Но верить тогдашнему писателю буквально относительно того, что было на 200 лет раньше, было бы, конечно, неосторожно. В круг торговых интересов

<sup>1)</sup> «Живяху кождо с родом своим на своих мѣстах, володеюще кождо *родом* своим», — говорит она о полянах (обитателях Киевской земли).

Восточной Европы русские славяне втянулись, вероятно, до прихода варягов — во всяком случае, до их окончательного утверждения.

Летопись и об этом сохранила смутное воспоминание. Мифическому Кию, основателю города Киева, и его братьям она присваивает, как профессиональное занятие, *охоту*: «бяху ловяще зверие». Но охота как профессия относится, мы знаем, к довольно позднему времени — она приняла характер постоянного промысла, по всей вероятности, вместе с *торговлей мехами* — что очень хорошо вяжется с другой легендой той же летописи, о путешествиях охотника-Кия в Царьград. В предании, приуроченном к определенному лицу, отразилась целая эпоха народной жизни. Под влиянием охоты и охотничьих интересов семьи сомкнулись в племена: что норманны, придя на восточноевропейскую равнину, застали там уже племенную организацию славян, в этом та же летопись не оставляет никакого сомнения. Варяжские конунги имеют дело не с «родами» Кия или кого-нибудь другого, а с полянами, кривичами, древлянами и т. д. Летописец утверждает даже, что у каждого из этих племен было «свое княжение», и эту неловкую обмолвкой он, конечно, уничтожает свой же позднейший рассказ о том, как норманнов призвали, чтобы иметь князей, которые бы «судили по праву». Мы уже знаем, что исторические варяжские князья именно никого и не судили. Что делали их славянские предшественники, это опять просвечивает в одном рассказе летописи, где древляне, жалуюсь Ольге на убитого ими ее мужа, Игоря, сравнивая его с «волком, который расхищал и грабил», противопоставляют ему своих «добрых» князей, которые «пасут» землю, как пастух овец. Это кроткое сравнение показывает, что древнейший князь рисовался современникам и ближайшему потомству не военачальником и не собирателем дани. Сопоставляя этот отзыв с профессией мифического Кия, его можно представлять себе как организатора племенного промысла, охоты — функция, весьма обычная для вождя теперешних охотничьих племен. У негров Центральной Африки племенной вождь если не идет на охоту сам, то назначает распорядителей охоты — и ему же принадлежит, по обычаю, лучшая добыча — шкура льва или леопарда, например.

Перед такими «добрыми» князьями норманнский вождь со своею «дружиной» должен был играть такую же роль, как вооруженные шайки арабских работорговцев в Центральной Африке наших дней. История тех же древлян показывает, что получалось из столкновения глиняного горшка с железным. Племенные князья, видимо, ничего не сумели организовать, когда из охотников они со своими

подданными превратились в объект охоты. В летописи племенное славянское княжество очень быстро закрывается от нас *варяжским княжеством*. Но, прежде чем оставить племенной быт, необходимо отметить, что князь вовсе не единственный представитель племенной организации, о каком упоминает летопись. Она знает и *племенное вече*. Передавая народную сказку о том, как поляне испугали своих победителей, хозар, предложив им в виде дани меч, летопись говорит, что поляне сделали это — «сдумавше». «Думать» на летописном языке — значит совещаться: сказка изображает полян собравшимися на сходку и рассуждающими, что им предложить хозарам? Сказка очень старая — в Киеве XI в. едва ли не книжники помнили хозарское нашествие. Полянская «дума» едва ли отражает собою позднейшее, городское вече — верней, мы имеем тут опять подлинный отзвук старинных, донорманнских, порядков.

Мы отделяем это древнейшее, племенное вече (было бы совершенно напрасным трудом пускаться в домыслы о том, каков был его состав, права и полномочия) от позднейшего, городского, потому что связывать эти два явления, как последовательные звенья одной цепи развития, столь же мало оснований, как и устанавливать преемственную связь между земскими соборами XVII в. и Государственной Думой начала XX в. Киевское городское вече возникает, можно сказать, на наших глазах, в совершенно определенной социально-экономической обстановке: нет ни малейшего смысла искать ему отдаленных предков. Какой пережиток племенного вече дожил до исторической поры, мы сейчас увидим. На первых порах варяжский князь является, по отношению к покоренным славянам, со всеми чертами «самодержавного монарха» — если позволить себе такую модернизацию относительно «государя», который только и делал, что собирал дань и «воевал всюду» — к этому сводилась вся его «политическая деятельность». Это не значит, чтобы его *личная* воля не знала никаких границ: индивидуальный деспотизм противоречил бы всем отношениям и понятиям этой эпохи. Норманнский конунг очень и очень должен был считаться с мнением своих боевых товарищей, а когда главнейшие норманнские отряды слились в одну общую организацию, главный конунг должен был считаться с мнениями второстепенных вождей. В договорах с греками все варяжское начальство выступает перед нами, как мы видели (см. выше, с. 60), общей массой — и «великий князь» в этой массе, скорее, «первый между равными», исполнительный орган общих решений, а позади «всего княжья» основным фоном картины рисуется «вся Русь», все члены военно-торгового товари-

щества, известного нам под красивым именем «дружины». Но чего мы не видим в договорах — это племенных вождей покоренного славянства и вообще каких бы то ни было представителей последнего. Они выступили на сцену поколение—два спустя.

Расцвет норманнского княжества падает на времена, для летописи уже полуполюгендарные. Конец X в., эпоха Владимира Святого, — это не весна и даже не лето, а яркая осень варяжского господства, — а немедленно после смерти его сына, Ярослава, власть конунга падает до такого уровня, что под пером новейших историков появляется для него совсем непочтительное название: «наемный сторож». Такими не были еще, конечно, даже Владимир и Ярослав, а по отношению к Святославу Игоревичу, самому блестящему представителю варяжского княжья, слово «сторож» даже грамматически не применимо, ибо он как раз ничего не «сторож», все свое внимание отдавая захватам чужого. «Блеск» этой эпохи имел вполне определенную историческую основу под собой: «держава» Олега и Святослава обязана своим возникновением ряду удачных войн с Византией. Народная фантазия очень украсила потом эти войны: для византийских историков «руссы» вовсе не являются самыми страшными из врагов империи. Но, даже и по их показаниям, был все же момент, когда среди этих врагов русский князь стоял на первом плане: это было в дни борьбы именно Святослава с Цимисхием (967–971 гг.). Крах экспедиции Святослава в Болгарию, его смерть от руки состоявших на византийской службе печенегов были тяжелыми ударами для основанной Олегом «державы». Преемнику Святослава пришлось уже довольствоваться положением вассала восточного императора — как бы мы ни рассматривали принятие христианства Владимиром с точки зрения религиозной эволюции (об этом будет речь ниже), политическая сторона этого события совершенно ясна: по тогдашним понятиям всякий православный христианин был подданным императора — и для варварского вождя креститься по греческому обряду — значило вступить в ряды византийского вассалитета. Греки сейчас же и учли это обстоятельство, отведя русскому князю определенное место в рядах своей придворной иерархии — и «нет никаких оснований думать, что Владимир своего положения не понимал. Он только старался сделать его возможно более почетным, получив в жены византийскую принцессу; но и это удалось ему не сразу — и, кажется, даже не совсем: есть основания думать, что принцессу за него выдали не настоящую, не сестру императора, а одну из отдаленных его кузин, так сказать, только „княжну крови императорской“. Ярослав Владимиро-



вич сделал последнюю попытку возобновить походы на Византию, но она кончилась такою катастрофою, что более об „активной политике“ в этом направлении мы ничего уже не слышим».

«Разбойничья торговля» нашла барьер, через который она не в силах была перешагнуть. Славяне, казавшиеся сначала, вероятно, только первой ступенью (Святослав гордо называл «срединой земли своей» только что захваченную им Болгарию, игнорируя Поднепровье, — а когда к нему пришли за князем из далекого Новгорода, он презрительно спрашивал: «да кто же к вам пойдет?»), оставались теперь единственным объектом эксплуатации. Приходилось устраиваться среди них — и как-нибудь ладить с ними. Ибо та истина, что «на штыках сидеть нельзя» (для этой эпохи следовало бы сказать «на копьях»), хорошо сознавалась умными норманнскими разбойниками: это они показали всюду, не только в России, но и в Англии, Нормандии, Южной Италии. В совете Олега и Игоря мы не встречаем никаких «представителей местного населения»; в совете Владимира Св., рядом с епископами, представителями византийского сюзерена Руси, мы находим и *старцев или старейшин по всем городам*. Это была славянская племенная старшина, сидевшая в Думе Владимира бок о бок с епископами и варяжскими дружинниками — боярами и гридями. Но уступка была уже запоздалой, и племенная старшина не представляла более населения. Княжеская власть еще держалась, пока шла удачно ее ближайшая «внешняя политика» — борьба со скотоводами соседних степей. При Ярославе (если еще не при Владимире), потомок норманнских конунгов даже сделал удачную попытку расширить свою компетенцию, захватив в свои руки суд: как первый князь-судья Ярослав и остался в заголовке «Русской Правды», хотя она, как мы видели, и древнее его в своей первоначальной редакции. Но когда в южно-русских степях разбитые Ярославом печенеги сменились свежими и энергичными половцами и дружины сыновей Ярослава побежали перед ними с поля битвы на р. Альте, давно клонившийся книзу престиж варяжских завоевателей рухнул окончательно. «Люди киевские» поднялись и выгнали Ярославичей, взяв себе князя из чужой, полоцкой династии. Характерно, что из всех сыновей Ярослава на своем, черниговском столе усидел Святослав, — которому посчастливилось разбить направившийся в его сторону отряд половцев. Старшему Ярославичу удалось потом вернуться в Киев, но только с помощью из-за границы, от поляков, — и он мог держаться, только пока поляки не отказали ему в помощи. Его сыну, Святополку, удалось умереть киевским князем, но на другой же

день после его смерти новая революция окончательно сбросила с киевского стола старшую линию Ярославова потомства (об этой революции, с ее экономической стороны, см. на с. 60). Владимир Мономах (1113–1125) был, фактически, уже *выборным* князем — и эпитет «наемного сторожа» подходил к нему в достаточной степени: его популярность, главным образом, держалась на удачных войнах с половцами.

Чьих же рук дело была киевская революция? Конечно, не старых племенных вождей, которые еще сидели в совете Владимира. Оба раза, и в 1068, и в 1113 г., мы видим на сцене *городскую толпу*. Мы видели, что Киевская Русь уже знала крупные зачатки городского хозяйства к торгового капитала. Движение, свергнувшее варяжский абсолютизм, шло от нового общества, созданного этими новыми экономическими силами. Это хорошо отразилось в законодательстве, вызванном к жизни второй киевской революцией (1113 г.). Центр тяжести тех статей «Русской Правды», которые соединяются общим именем «Устава» Владимира Мономаха, — в *борьбе с ростовщицеством*: даются льготные условия для старых долгов и запрещается впредь брать более 20 % годовых. Отчасти эти меры шли на пользу задолжавшему крестьянству, «закупаю» (см. с. 55), но непосредственно «Устав» Мономаха имел в виду не их, а *купцов*, для которых он ввел чрезвычайно важную льготу — отмену рабства за долг в случае банкротства «несчастливого», от пожара, кораблекрушения или войны. Как прогрессивно было для своей эпохи это нововведение, показывает тот факт, что должник отвечал у нас за долг своею личностью еще в XVI столетии, в эпоху Грозного. С классовой стороны это нововведение шло на пользу именно *мелкому купечеству* — т. е. тем ремесленникам-торговцам, о которых говорилось выше (см. с. 83). Кредитуясь у крупных капиталистов, они всего больше страдали от ростовщицества — и, несомненно, это они и шли во главе «людей киевских» в восстании 1113 г. Что городское ополчение этой эпохи также состоит, главным образом, из купцов (см. с. 168) — это как нельзя лучше вяжется с общей картиной. Мелкий люд города, ремесленники и чернорабочие шли за купечеством, с которым они были материально связаны.

Мы не будем рассматривать аналогичного *новгородского* движения — почти ровно на сто лет моложе киевского (новгородская революция, двойник киевского — 1113 г. — приходится на 1209 г.). Как более поздняя, она осложнилась еще некоторыми новыми чертами, — но нас сейчас интересует не эволюция демократического

движения в Древней Руси, а его политические результаты. И в Киеве, и в Новгороде они были совершенно одинаковы, — выделение Новгорода со Псковом в какие-то «вечевые общины», где будто бы порядки были *иные*, чем в остальной Руси, основано на предрассудке еще карамзинских времен — на представлении о России, как искони монархической стране. А так как относительно Новгорода не может быть сомнения, что он был городской республикой, то пришлось его «вывести за скобку» и рассматривать его, как исключение. На самом деле такой же городской республикой был и Киев XII в. И в Новгороде, и в Киеве, князь мог сесть на стол, только «утвердившись с людьми», т. е. заключив договор с *вечем*. Договор скреплялся *обоюдным* крестоцелованием — это не была присяга на верность государю со стороны горожан, а торжественное обязательство соблюдать контракт. Так же целовали крест друг перед другом и сами князья, заключая между собою договоры. Князь и обращался к вечу, как к равному: «Братья киевляне», — говорил он, и те отвечали ему: «Брат наш».

В чем заключалась главная функция этого брата киевлян, совершенно ясно тому, кто станет читать летопись, отрешившись от представления современного нам права о «государе». Потеряв неограниченную власть над городом, князь со своей дружиной сохранил и для города свое *военное* значение. Город тоже был вооружен, но лишь очень поздно, в конце новгородской истории, и под влиянием условий, совершенно исключительных, — огромной колониальной области, принадлежавшей Новгороду, — торговый капитал стал выдвигать способных военных вождей. У Киева не успело образоваться такой военно-купеческой аристократии; и ему, и в течение долгих веков самому Новгороду немислимо было вести войну без профессионалистов военного дела. А между тем на войнах держалась вся тогдашняя крупная торговля. Без войн не было ни «челяди», ни «дани»: главные статьи тогдашнего экспорта — рабы, меха, воск — отпадали, раз не было войны; продолжительный мир был равносильен неурожаю — притом его даже и сохранить нельзя было, ибо города грабили друг друга, ослабевший в военном отношении город становился добычей конкурентов, как это и случилось с Киевом в конце XII в. Вопрос о способном военном вожде иногда мог стать вопросом жизни и смерти — и какого-нибудь «удалого» князя нарасхват брали по всей Руси, как теперь нарасхват берут модного доктора или актера. А неспособного в военном деле князя гнали просто потому, что он был неспособен: «ехал с рати впереди всех», убежал с поля сражения — какой же это князь? Это обвине-

день после его смерти новая революция окончательно сбросила с киевского стола старшую линию Ярославова потомства (об этой революции, с ее экономической стороны, см. на с. 60). Владимир Мономах (1113–1125) был, фактически, уже *выборным* князем — и эпитет «наемного сторожа» подходил к нему в достаточной степени: его популярность, главным образом, держалась на удачных войнах с половцами.

Чьих же рук дело была киевская революция? Конечно, не старых племенных вождей, которые еще сидели в совете Владимира. Оба раза, и в 1068, и в 1113 г., мы видим на сцене *городскую толпу*. Мы видели, что Киевская Русь уже знала крупные зачатки городского хозяйства к торгового капитала. Движение, свергнувшее варяжский абсолютизм, шло от нового общества, созданного этими новыми экономическими силами. Это хорошо отразилось в законодательстве, вызванном к жизни второй киевской революцией (1113 г.). Центр тяжести тех статей «Русской Правды», которые соединяются общим именем «Устава» Владимира Мономаха, — в *борьбе с ростовщицеством*: даются льготные условия для старых долгов и запрещается впредь брать более 20 % годовых. Отчасти эти меры шли на пользу задолжавшему крестьянству, «закупаю» (см. с. 55), но непосредственно «Устав» Мономаха имел в виду не их, а *купцов*, для которых он ввел чрезвычайно важную льготу — отмену рабства за долг в случае банкротства «несчастливого», от пожара, кораблекрушения или войны. Как прогрессивно было для своей эпохи это нововведение, показывает тот факт, что должник отвечал у нас за долг своею личностью еще в XVI столетии, в эпоху Грозного. С классовой стороны это нововведение шло на пользу именно *мелкому купечеству* — т. е. тем ремесленникам-торговцам, о которых говорилось выше (см. с. 83). Кредитуясь у крупных капиталистов, они всего больше страдали от ростовщицества — и, несомненно, это они и шли во главе «людей киевских» в восстании 1113 г. Что городское ополчение этой эпохи также состоит, главным образом, из купцов (см. с. 168) — это как нельзя лучше вяжется с общей картиной. Мелкий люд города, ремесленники и чернорабочие шли за купечеством, с которым они были материально связаны.

Мы не будем рассматривать аналогичного *новгородского* движения — почти ровно на сто лет моложе киевского (новгородская революция, двойник киевского — 1113 г. — приходится на 1209 г.). Как более поздняя, она осложнилась еще некоторыми новыми чертами, — но нас сейчас интересует не эволюция демократического

движения в Древней Руси, а его политические результаты. И в Киеве, и в Новгороде они были совершенно одинаковы, — выделение Новгорода со Псковом в какие-то «вечевые общины», где будто бы порядки были *иные*, чем в остальной Руси, основано на предрассудке еще карамзинских времен — на представлении о России, как искони монархической стране. А так как относительно Новгорода не может быть сомнения, что он был городской республикой, то пришлось его «вывести за скобку» и рассматривать его, как исключение. На самом деле такой же городской республикой был и Киев XII в. И в Новгороде, и в Киеве, князь мог сесть на стол, только «утвердившись с людьми», т. е. заключив договор с *вечем*. Договор скреплялся *обоюдным* крестоцелованием — это не была присяга на верность государю со стороны горожан, а торжественное обязательство соблюдать контракт. Так же целовали крест друг перед другом и сами князья, заключая между собою договоры. Князь и обращался к вечу, как к равному: «Братья киевляне», — говорил он, и те отвечали ему: «Брат наш».

В чем заключалась главная функция этого брата киевлян, совершенно ясно тому, кто станет читать летопись, отрешившись от представления современного нам права о «государе». Потеряв неограниченную власть над городом, князь со своей дружиной сохранил и для города свое *военное* значение. Город тоже был вооружен, но лишь очень поздно, в конце новгородской истории, и под влиянием условий, совершенно исключительных, — огромной колониальной области, принадлежавшей Новгороду, — торговый капитал стал выдвигать способных военных вождей. У Киева не успело образоваться такой военно-купеческой аристократии; и ему, и в течение долгих веков самому Новгороду немислимо было вести войну без профессионалистов военного дела. А между тем на войнах держалась вся тогдашняя крупная торговля. Без войн не было ни «челяди», ни «дани»: главные статьи тогдашнего экспорта — рабы, меха, воск — отпадали, раз не было войны; продолжительный мир был равносильен неурожаю — притом его даже и сохранить нельзя было, ибо города грабили друг друга, ослабевший в военном отношении город становился добычей конкурентов, как это и случилось с Киевом в конце XII в. Вопрос о способном военном вожде иногда мог стать вопросом жизни и смерти — и какого-нибудь «удалого» князя нарасхват брали по всей Руси, как теперь нарасхват берут модного доктора или актера. А неспособного в военном деле князя гнали просто потому, что он был неспособен: «ехал с рати впереди всех», убежал с поля сражения — какой же это князь? Это обвине-

ние являлось в Новгороде совершенно достаточной мотивировкой, чтоб лишить князя стола. Но потомки норманнских конунгов нечасто давали повод к подобному обвинению; в общем, варяжская династия являлась готовым рассадником способных генералов, военачальство было для нее наследственной профессией — и в этом секрет «господства» этой династии над Россией еще долго после того, как она утратила реальное господство над городами, и гораздо раньше, чем князь стал во главе местного общества в качестве крупнейшего землевладельца.

Но если князь был только главнокомандующим, — его отношение к суду выражалось, как мы видели, лишь в том, что «судом» он кормился (см. с. 207), — то кто же отправлял в городе другие «государственные» функции? Эту эволюцию древнерусского города-государства мы можем проследить только на северном образчике типа. В Новгороде постепенно сложился ряд настоящих республиканских магистратур, — выборный *посадник*, выборный *тысяцкий*, наконец, *верховный совет*, где бывшие посадники и тысяцкие были на первом плане, как в Древнем Риме консулы и преторы, но куда в важных случаях собиралось все, что было крупного и влиятельного в городе. Задача этого выборного начальства, между прочим, заключалась в том, чтобы держать в границах наследственного главнокомандующего<sup>2)</sup>; и в этом на все время новгородской самостоятельности сохранилось воспоминание о том, что городская свобода добыта была когда-то за счет княжеской власти. В Киеве городская республика не успела отлиться в такую определенную форму, не нужно забывать, что он завоевал себе свободу окончательно лишь во втором десятилетии XII в., — а к началу следующего столетия он потерял уже всякое значение. Между 1113 и 1169 г. — когда Киев был взят и дотла разграблен суздальцами — прошло немного более 50 лет. Остатки старого не успели еще вымереть, когда пришло уже новое рабство. Можно только догадываться, что выборные должности начинали складываться и в Киеве: летопись упоминает о княжеском *тиуне*, нечто вроде наместника в данном случае, который был посажен «по воле» киевлян, т. е. надо думать, *выбран* ими, хотя, быть может, из числа княжеских дружинников. Но дальше зачатков дело не пошло.

Князь был нужен городу не только потому, что он был военным организатором. Это лишь *внешняя* сторона их взаимной связи: в ней

<sup>2)</sup> Хотя в Новгороде княжеская власть и не передавалась, как правило, от отца к сыну, но фактически князей брали всегда из одной и той же династии.

была известная *внутренняя* необходимость, которую мы, в сущности, уже видели мимоходом, но на которой нужно настаивать, чтобы стала понятна судьба древнерусской городской республики. Город — это *купцы*; но откуда городской купец Древней Руси брал свой товар? Читатель уже давно догадался, что этим товаром были *дань и добыча*, «заработанные» дружиной. Только приняв за исходную точку эту сторону дела, можно оценить всю глубокую экономическую необходимость той своеобразной ассоциации, которая характеризуется терминами «князь и вече», т. е. дружина и купечество, ибо князя, конечно, всего менее приходится представлять себе как самостоятельную личность, независимую от той группы, которая вела всю военно-финансовую «работу». Князь «рядился» к тому или другому столу (в то время так и говорили: «урядиться с людьми», «положить ряд») — не один, конечно, кому он один был бы нужен? И вот, из этой функции дружины как аппарата, поставляющего древнерусскому городу товар, вытекало своеобразное политическое противоречие: ревностно охраняя свободу в городских стенах, вече не только не заботилось об этой свободе за стенами города, но, кажется, даже склонно было всячески содействовать князю в его безграничном властвовании над древнерусской деревней. Одного из новгородских князей прогнали именно потому, что он «не смотрел за смердами». «Смерд», крестьянин, был почти холоп князя, князь брал с него дани, сколько хотел (чем больше товару, тем лучше!), наследовал его имущество, мог его «мучить» — подвергать телесному наказанию. Городу до этого не было дела — в деле эксплуатации деревни «дружина» и «купцы» были связаны круговой порукой. Вот отчего древнерусскую военно-финансовую организацию и можно было рассматривать независимо от вечевых порядков: исключив себя из объектов княжеского хозяйствования, город был прямо заинтересован в том, чтобы это хозяйничанье беспрепятственно продолжалось в деревне. Когда это хозяйничанье в областях старой славянской колонизации, на Днепре и его притоках, пришло к своему логическому концу — деревня была здесь в лоск разорена — князь ушел дальше на северо-восток, в области колонизации новой. Но городу некуда было уйти: он просто потерял значение. Остался Новгород, колониальная область которого, охватывавшая весь Север России, до Урала и даже далее, до реки Оби, практически была неистощима. Но Новгороду пришлось в конце концов иметь дело не с отдельными князьями, а с скромной ассоциацией землевладельцев, называвшейся «великим княжеством»

московским»; и она даже этому крупному вечевому центру была уже не по плечу.

Почему на новых местах не повторилось буквально старой истории — образования новых городских центров, которые вступили бы снова в борьбу с княжеской властью, и т. д. до бесконечности, это уже видели (см. с. 64): по географическим условиям, здесь отпадала крупнейшая торговля Киевской Руси — *торговля рабами*. Невозможность продавать живой товар помешала северо-восточным городам стать такими же очагами республиканской свободы, каким стал Киев. Таким парадоксом разрешилась история наших городских республик XI—XIII вв. Ибо торговый капитал того времени только на невольничьем торге и держался, оптовый торг мехами был, опять-таки по географическим условиям, сосредоточен в Новгороде, а все остальное было слишком мизерно. Город из господина деревни стал дополнением к деревне: стало медленно развиваться настоящее, типичное «городское хозяйство», не чужеродное и потому несравненно более прочное. Но основой того разделения труда, на котором это хозяйство держалось, была *крупная вотчина*, где впервые произошло выделение ремесленника из крестьянской массы. Пока не сложились к XVI в. живые городские центры, крупная вотчина и стала основной экономической, а стало быть, и основной политической организацией. На этой почве развился в России феодализм.

Основным *политическим* признаком феодализма является соединение землевладения со властью над людьми, которые живут на земле данного землевладельца. Представим себе, что домохозяин мог бы своих жильцов арестовывать, казнить, собирать с них налоги в свою пользу — требовать, чтобы с каждого фунта говядины, принесенного в его дом, ему платили одну копейку, например, — и мы получим очень наглядное изображение феодальных порядков. Русское крепостное имение первой половины XIX в. было несомненным *остатком* феодального строя: а так как остаток от чего-нибудь да остается, то одного этого было бы достаточно, чтобы утверждать существование на Руси феодализма в древнейшую эпоху. Для историка-материалиста, характеризующего тот или другой общественный строй по господствующей в этой системе хозяйства и по методологическим соображениям, не могло бы возникнуть никакого сомнения в том, что Россия имела свой «феодальный период». Хозяйство русской боярской вотчины XV—XVI вв. ничем не отличается от хозяйства большого имения Западной Европы



X—XII вв.: та же система повинностей, то же распределение земли и т. д. Стало быть, и политической разницы быть не должно бы. Но историю наших государственных учреждений начали разрабатывать не экономисты, а юристы. Для них в феодализме оказался главным второстепенный юридический признак: наличие *договорных* отношений между землевладельцами различных категорий. В Западной Европе этот «феодальный контракт» был разработан до больших тонкостей. У нас этих тонкостей мы не находим; значит, заключали историки-юристы, в России феодализма вовсе не было или он погиб, не успев развиться, в самых зачатках. Взгляд этот, особенно в его последней вариации о ранней гибели зачатков феодализма, приобрел в русской исторической литературе прочность предрассудка — его повторяют иногда даже историки-материалисты. Вот отчего очень важно было, что одному историку, умершему в 1908 г., — Павлову-Сильванскому, удалось установить наличие в России не только самого контракта, но даже тех формальностей и обрядностей, которыми этот контракт сопровождался на Западе. Так как и на Западе, и у нас контракт этот очень плохо соблюдали, то, собственно, для понимания сущности феодальных отношений он совсем не важен; но в исторической литературе сложившиеся предрассудки иногда больше затемняют действительное положение вещей, нежели недостаток фактических сведений. Установленные Павловым-Сильванским факты не имеют первостепенного исторического значения, но он разрушил первостепенное историческое предубеждение — в этом очень большая заслуга.

Корни феодальных порядков Древней Руси мы уже видели: «суд старых родителей», власть барина над его холопом, не только у себя дома, но и перед лицом общественной власти, которая не смела наложить руки на холопа без согласия барина — все это и есть пережитки того строя, из которого развился феодализм, — *семейного* строя. Надо представить себе, как развивалась в древнейшее время «большая семья». По мере увеличения количества ее членов, младшие поколения выселялись на отдельные дворы — вокруг первоначальной «деревни» росли «починки», по условиям подсечного земледелия разбросанные в лесу довольно далеко друг от друга и от деревни. Но связь сохранялась — прежде всего экономическая: в известных случаях (первым же была расчистка леса под пашню) «колонисты» не могли обойтись без содействия «метрополии» — помогать им (слово «помочь», «помочи» и до сих пор, как известно, сохранилось в крестьянском быту) сходилось все население деревни. На экономической связи держалась и юридическая:

деревенские «старики» оставались властью и для молодежи, выслывшейся на «починок». Позже мы увидим, что оставалась и религиозная связь, в виде «культы предков». Сеть починков росла, починки сами превращались в деревни и начинали разбрасывать вокруг себя новую сеть починков, а связь со старым гнездом сохранялась. Древнерусские документы сохранили нам и эпитет, прилагавшийся к такой родовой деревне: она называлась «великою» — в одной Смоленской грамоте XII в. мы встречаем «Вержавлян Великих»; к этим Вержавлянам Великим тянуло 9 «погостов», т. е. уже больших поселков, не считая мелких.

Когда появилось у нас, на основе холопского труда первоначально, крупное землевладение и начало кабалить окрестное крестьянство (процесс этого описан выше, на с. 60 и след.), «боярин», барин, унаследовал все права деревенских «стариков». Он часто и не упразднял их вовсе — и в XVI в., и в позднейших крепостных имениях мы на каждом шагу встречаем местные крестьянские власти, через посредство которых помещик распоряжается сельским «миром». Место «великой» деревни заняло теперь «село», где стояла барская усадьба, была церковь, и центр культа оставался прежний, только культ был другой, новый. Но все, экономически тяготевшее к этому селу, продолжало и юридически от него зависеть. Для населения тут не было никакого разрыва с прошлым — оно даже и называть продолжало новое начальство, барина, «батюшкой», как звало оно своих стариков когда-то, «батюшкой» же был и христианский священник, сменивший тех же стариков в роли ходатая перед «силами нездешними». И как у отца-батюшки нельзя было спрашивать отчета, почему он поступает со своими детьми-подданными так, а не иначе, безотчетно распоряжался и барин-батюшка. Вопрос о каком-нибудь новом праве мог возникнуть лишь в том случае, если бы в имении завелось хозяйство по-новому — помещикам XVIII в. пришлось прибегнуть к специальным «судебникам» для крестьян. Но в дни расцвета русского феодализма и хозяйство было таким же обычным, как право. И формулировать власть землевладельца приходилось не по отношению к рабочему, сельскому населению, сидевшему на «его» землях, а по отношению к тем свободным, т. е. чужим, посторонним людям, которые на эти земли попадали или на них оказывались.

Свободные люди не были случайностью в крепостном феодальном имении. Была одна повинность, которая, фактически, могла выполняться только свободными людьми — и по тем временам эта повинность была одной из самых важных. Уже Древняя Русь знала,

что холоп не может быть хорошим солдатом: если врага, на которого шли, хотели унижить, а себя подбодрить — его называли «холопом». Военная повинность требовала свободных людей. Древнерусский холоп сопровождал своего барина и на войну — но обыкновенно в той роли, какую играли позднейшие денщики или обозные солдаты. Если ему удавалось совершить ратный подвиг, барин его освобождал или по крайней мере оставлял *ту свободу* по духовному завещанию. Так или иначе, отличившийся холоп становился свободным «послужильцем»: на языке Западной Европы, более привычном в данном случае для нас — *вассалом*. Но свободный человек феодальной эпохи, если это не был городской ремесленник (а эта профессия была мало совместима с военной службой, хотя изредка относительно военного человека Древней Руси мы и встречаем отметку в служилых списках: «шортной мастеришка»), должен был сам иметь холопов и крестьян, которые бы на него работали и его кормили, — «послужилец» неизбежно становился *помещиком*. Самый термин: «помещик», «поместье», — и сложился у нас именно в связи с военным вассалитетом — так назывались первоначально участки, дававшиеся «за службу» мелким служилым людям. Причем это вовсе не были обязательно люди, служившие государству: из 574 землевладельцев, перечисленных в одной писцовой книге первой половины XVI в., только 230 — менее половины — служили великому князю; 60 служили владыке тверскому, а 30 — князю Микулинскому, богатому боярину, но князю лишь по титулу — он нигде не княжил, а сам служил великому князю московскому. Мы видим, что в Московской Руси, как и в средневековых Франции и Германии, не только владетельные князья, но и архиереи, и все вообще крупные землевладельцы имели своих вассалов. А большая часть мелких землевладельцев состояли чьими-нибудь вассалами: из 574, перечисленных в упоминавшейся выше писцовой книге, не служили никому только 150 человек. Кто не мог держать своей дружины (о «боярских дружинах» прямо говорит «Русская Правда»), поступал в чужую: если военный человек непременно был свободным человеком, то и для свободного человека не было другой карьеры, кроме военной. Вот почему не следует думать, что древнерусский вассалитет складывался исключительно из бывших холопов (такое мнение высказывалось иногда даже и в литературе). Свободных мелких землевладельцев среди него было гораздо больше. А в дружины самых крупных владетелей, — в дружину московского великого князя, например — поступали и не только мелкие землевладельцы: мы сейчас там видели князя — и этот князь

был не единственным; верхние ряды великокняжеской дружины этого времени сплошь состояли из людей, украшенных княжеским титулом, и некоторые из них еще сидели наместниками в тех самых областях, которыми их отцы и деды правили, как государи. Ибо великокняжеская дружина этого времени была уже целой армией, в ней были не только офицеры, но и генералы: карьера, завидная даже для человека, который сам вел свой род от того же мифического Рюрика, что начинал собою родословную и московского государя.

Если с крестьянами никто и не думал церемониться, то они сами не заикались о своих правах, — если мелкий «послужилец» так еще невысоко стоял над крестьянином, что ему приходилось запрещать продаваться в холопы (такое специальное запрещение содержится в царском «Судебнике» 1550 г.), то к боярину, который пришел на службу со своею собственной дружиной, тем более к бывшему удельному князю отношение должно было быть иное. «Феодальный контракт» вырабатывался именно в этой среде. Бояре «приказывались» в службу — или «отказывались» от нее, «отъезжали», юридически, до XV в., вполне свободно; «а боярам, и детям боярским, и слугам между нами вольным воля», — говорили междукняжеские договоры. На практике от слабого «сюзерена» (употребляя более популярное западноевропейское выражение) к сильному всегда можно была отъехать, а за переход в противоположном направлении всегда можно была поплатиться вотчиной, а иногда и головой. Нет ничего более легковесного, нежели так тщательно вырабатывавшиеся и обставленные такими торжественными обрядами договоры между феодальными землевладельцами. Но если по отношению к отдельному «вольному слуге» у сюзерена были достаточно развязаны руки, то этого никак нельзя сказать про всю совокупность служилых землевладельцев. На то они были и свободные люди, чтобы их барин считался с их голосом. Ставшее шаблоном в западноевропейской истории противоположение феодального *сюзерена* — государю в настоящем смысле этого слова, *суверену*, вполне приложило и к древнерусским феодальным «государствам», до московского великого княжества включительно. История Грозного и Годунова будет для нас закрытой книгой, если мы забудем, что в XVI в. в России происходило то самое крушение феодальных порядков, какое имело место во Франции, например, двумя столетиями раньше. Отец и дед Ивана Грозного, и сам он до 1565 г. — до учреждения опричнины — были именно сюзеренами, договорными хозяевами десятков крупных, сотен средних и тысяч мелких вассалов. Что нужды, что и те, и другие, и третьи одинаково рабо-

лепно били челом в землю перед своим сюзереном: эта феодальная формальность имела значения не более, чем всякие иные формальности. На деле, не столкнувшись с генеральным штабом феодального войска, нельзя было предпринять ни одного решительного шага, а перед шагами наиболее решительными советовались и со всем войском, как это делал Иван III перед походом на Новгород и его внук в критическую минуту Ливонской войны, в 1566 г. Московского великого князя, — даже той поры, когда к нему перешло идейное наследство византийских императоров и титул верховных государей Руси с XIII по XV вв., татарских ханов, «царей» по древнерусской терминологии, — нельзя себе представить ни в одном деле текущего управления без *Боярской думы*, и ни в одном торжественном случае его политической жизни — без *Земского собора*.

На Боярскую думу Древней Руси долгое время готовы были смотреть сквозь то полукомическое изображение, какое оставил нам дьяк XVII столетия Котошихин. «Неученые» и «нестудированные» люди, сидящие «устава брады» в царском совете только ради своей «великой породы», не раскрывая рта или поддакивая тому, что говорят настоящие, не показные царские советники, — это картина так же хорошо знакома всем из учебников, как и портрет «величайшего самодержца во всем свете», царя Московского, перед которым все подданные — холопы, и последний холоп завтра же может сделаться первым министром. Обе картины одинаково далеки от исторической истины. Основывать на них свое представление о московском государстве было бы так же наивно, как принимать серьезно формулы, употреблявшиеся еще недавно в письмах, начинавшихся «милостивым государем» и кончавшихся «ваш покорнейший слуга». Никому не пришло бы в голову, читая такое письмо, счесть себя в самом деле «государем», а своего корреспондента своим «слугою». Государь холопов-бояр XVI в. прежде всего не властен был в их личном составе. С кем он должен был советоваться, определялось известными обычаями, получившими в литературе название «местничества», от того конкретного случая, в котором проявлялся обычай, — спора из-за *мест* на царской службе. Каждая боярская семья занимала определенное место среди других семей — это место называлось «отечеством» — и его царь изменить не мог: «за службу царь жалует деньгами и поместьем, *но не отечеством*», так формулировали этот обычай еще бояре первых Романовых. Эти последние, по свидетельству того же Котошихина, не были в силах сломить обычая даже в пользу своих родственников — посадив их (царских зятьев, например) выше, чем

следовало по «разрядам» и «родословцу». Только к концу XVII в. торговый капитал выдвинул наверх такую массу «случайных» людей, что старая знать потонула в ней со всеми своими местническими традициями. Но в XVII в., после Смуты, феодальный строй вообще держался на правах «переживания». Реально его *политическое* существование закончилось XVI столетием — когда попытки закрепить феодальные обычаи искусственно показывали уже, что собственными силами они держались плохо. Из одной такой попытки (приписки к упоминавшемуся недавно царскому судебнику) мы и узнаем, что *законодательство* Московской Руси того времени происходило при неременном участии «всех бояр», т. е. всех, кто по местническим счетам имел право входа в царскую Думу. Из других документов мы узнаем, что и окончательной судебной инстанцией была та же Боярская дума — и что только суд царя «с бояры своими» феодальное общественное мнение соглашалось рассматривать «судом истинным». Наконец, из одного документа времен Смуты мы узнаем, что, «не поговоря с бояры», не в обычае было «доходы государские прибавливати»: неременным участником в составлении бюджета была та же *Боярская дума*, — хорошо знакомая и западноевропейскому строю, где она носила латинское название *куруи*.

То «объединение Руси около Москвы», о котором так много говорится в учебниках, гораздо больше обеспечивалось в XVI в. этим всероссийским советом крупных землевладельцев, нежели управлением самого московского великого князя и его чиновников. Для страны, разбитой на сеть мелких городских округов, экономически самостоятельных, централизованное управление не было необходимостью. Старые «удельные княжества», которые сменили «городовые волости» после упадка городов, вполне удовлетворяли политическим потребностям «городского хозяйства»; давно уже подмечено, что княжество обыкновенно точно соответствовало речному бассейну (отсюда и старинные княжеские фамилии: Ухтомские от р. Ухтомы, Сицкие от Сити, и т. п.). Стольный город такого княжества был местным узловым торговым пунктом — крупнейшим местным рынком. Что сеть таких пунктов к началу XVI в. подпала власти Москвы, это был одним из характернейших признаков надвигающегося *торгового капитализма*. Административно-судебная централизация и нашла у нас себе место сначала именно в этой области: *гости*, крупнейшие капиталисты, судились только в Москве центральной властью. Но суд вообще в Московской Руси далеко не был централизован; мы помним, как были организованы

важнейшие судебно-полицейские учреждения, губные (см. с. 208 и след.); существование в Москве как бы «центральных» административно-финансовых учреждений, *приказов*, может подать повод думать, что, хотя финансовое управление было объединено, ближайшее знакомство с приказами показало, что и этого не было. В приказах были механически собраны доходы и дела различных городов, причем не только в одном и том же приказе (наркомате), но даже в одном и том же «повытье» (отделе) ведались города, не имевшие между собой ничего общего ни в каком отношении — Галич и Коломна, Тотьма и Клин. «Систематические» приказы, ведавшие дела известного рода на всем протяжении государства, складываются только в XVII в., — подготавливая этим действительную административную централизацию петровского времени. Ранее этого, крупнейшей попыткой объединения была опричнина Грозного, когда около половины государства было стянуто к государеву «двору»; но опричнина была временной диктатурой, а не постоянным учреждением. До опричнины, т. е. до 60-х гг. XVI в., если можно говорить о московском царстве, как о едином целом, то только благодаря Боярской думе.

Опричнина положила конец «удельному периоду»; потомки удельных князей, в качестве вассалов великого князя московского или его наместников еще сидевшие на своих уделах в первой половине XVI в., были сдвинуты со своих мест и должны были уступить свои земли людям новым, дворянам и детям боярским государева двора. Читатель уже заметил хронологическое совпадение этого переворота с упразднением кормлений и заменой великокняжеских наместников и волостелей тоже средневельюжскими губными старостами. Это все, действительно, только различные стороны одной и той же перемены: поражения старинного крупного землевладения и выступления на его место землевладения среднего, смены «бояр» «дворянами». Экономической основой переворота был переход к более интенсивным формам хозяйства (см. с. 67 и след.). Здесь нас интересуют его политические результаты. Курия крупных вассалов не могла, разумеется, играть прежней роли после разгрома крупного землевладения. Новый общественный класс нуждался в новом объединяющем центре — и не случайно на другой же день, можно сказать, после появления опричнины на первом плане сцены оказывается *Земский собор*. Новейшие исследователи совершенно справедливо указывают, что этот, с нашей точки зрения, капитальный факт — появление «народного представительства» — современниками вовсе не был отмечен, как что-то новое и необычное. Лето-

пись говорит о Соборе 1566 г., как о заурядном деле. В самом деле, *формально* тут не было никакого новшества: совещаться со всеми своими вассалами, а не только крупнейшими, московский государь мог и раньше и делал это, может быть, гораздо чаще, чем мы можем судить по сохранившимся до нас сведениям. Но раньше это был *придаток* к Боярской думе, теперь это была попытка ее *заменить*. «Представительства» же никакого тут не было ни раньше, ни после; теперь можно считать вполне установленным, что на первые земские соборы, до Смуты, приглашали просто все наиболее *видное* среди московского и провинциального дворянства и столичного купечества, совершенно не интересуясь тем, как относятся к «избранным» их рядовые товарищи. Сказать, что земские соборы «не имели никакого политического значения» — значило бы обнаружить полное непонимание феодального общества, его политических привычек и задач; но сказать, что земские соборы отнюдь не представляли собою *политической гарантии* подданных от произвола сверху, как позднейшие парламенты монархических государств, будет совершенно правильно. Гарантия могла понадобиться после того, как сложилась сильная центральная власть современного типа. Ничего подобного в XVI в. не было — говорить тогда можно было не о произволе со стороны «власти», а о произволе со стороны крупнейшего землевладения, «боярства»: но, когда выдвинулся на авансцену Земский собор, боярство только что было повержено в прах (государственный переворот 1564 г., вызвавший к жизни опричнину), и с ним расправлялись не при помощи гарантии, а посредством кола и виселицы. Собор, как и Дума, не был ни политической гарантией, ни, тем менее, органом власти, еще не существовавшей; как и Дума, он был *сам властью*, политической организацией того класса, который свергнул боярство при Грозном. Вернее было бы сказать: «тех классов», потому что переворот был проведен средним землевладением при участии и поддержке *торгового капитала*, который и был представлен в Соборе 1566 г. всем наличным комплектом «гостей» и верхушками второстепенного купечества.

Консерватизм формы нового учреждения шел так далеко, что на его собраниях присутствовала и старая Боярская дума в полном составе — очищенная предварительно, само собою разумеется, от «неблагонадежных» элементов. Вообще, очень характерно, что без бояр победившие боярство дворяне обойтись, видимо, совершенно не умели. Только когда торговый капитал постепенно выработал себе свой бюрократический аппарат в лице *дьяков*, отчасти и вышедших прямо из рядов торгового класса, отчасти слившихся



с ним, сделавшись уже на службе крупными капиталистами, бояр оказалось возможно вовсе убрать со сцены. Раньше этого их политические навыки и таланты оказывались совершенно необходимыми для новых людей: провинциального «сына боярского» хватало на то, чтобы в качестве губного старосты ловить разбойников в своем уезде, но вести переговоры с Польшей или Швецией, командовать армией или даже удовлетворять потребностям придворного обихода — все это было ему совершенно не по плечу. То, что и после боярской катастрофы XVI в. списки московских дипломатов и генералов, не говоря уже о придворных, испещрены именами тех самых княжеских фамилий, которых Грозный губил «всеродно», должно удивлять нисколько не больше того, что третья французская республика держала на своей дипломатической и военной службе людей, которые самое слово «республика» не могли слышать без негодования. А теперешняя французская буржуазия по своим культурным средствам куда богаче, казалось бы, московского дворянства! Не нужно забывать, что дворянство вышло из круга того же «городского» хозяйства и отличалось всей той узостью политических горизонтов, какую только и могло породить это хозяйство.

Задачи же московского государства по мере экономического его прогресса становились все шире и шире.

Вот почему Земскому собору не помогло и появление в нем со времени Смуты настоящего представительства — выборных от местного населения, преимущественно от тех же помещиков: эти уже совсем серые, провинциальные люди еще меньше могли стать конкурентами представителей аристократических фамилий или торгового капитала. На соборах они только кланялись перед блестящей аристократией и говорили, что «бояре — вечные наши господа промышленники». Делать из этого вывод, что земские соборы были подавлены боярством (как поступил один исследователь), было бы, конечно, неосторожно. «Вечные господа» сами в это время немного значили, как ни казались они великолепны в глазах наивных провинциалов. *И Боярская дума, и Земский собор одинаково становятся в течение XVII в. торжественной формальностью.* Их появление еще необходимо, например, в такой момент, как вступление на престол нового государя: юридически (вернее было бы сказать «номинально») все московские цари этого столетия были «обираны на царство» Земским собором с Думою во главе. Но это была лишь торжественная церемония — на деле выбирать приходилось только Михаила Федоровича, да и его, как находят новейшие ученые,

и бояре, и дворяне послушно приняли из рук казачества, стоявшего за Михаила Романова, как за сына Тушинского патриарха — первосвященника всего казачьего стана. У его сына, тем более у его внуков, никаких конкурентов не было, и «обращение на царство» было простым обрядом. Формальность характерна — она показывает, как живучи были традиции феодализма в России даже накануне петровской реформы; сюзерен не был настоящим сюзереном, пока не признал его весь вассалитет. Но реальная власть не была в это время ни в руках Думы, ни в руках Собора: она была в руках тех, кто представлял собою новую экономическую силу, торговый капитализм, а это были царь с его семьей и кружком крупных магнатов, его торговые агенты — и в то же время крупнейшие капиталисты своего времени — «гости» и — орудие всех этих сил — техники военной, финансовой и дипломатической службы, *чиновничество*. Если Боярская дума и Земский собор были двумя подготовительными ступенями в деле объединения России в одно государство, централизованная бюрократическая администрация завершила эту работу.

Так как о царских капиталах и монополиях, о роли гостей и торгового капитала вообще достаточно говорилось выше, то нам остается сказать несколько слов о силе, выступающей перед нами впервые, — о чиновничестве, бюрократии. Последняя была излюбленным орудием торгового капитализма не только в России, а и всюду — и нетрудно понять, почему так было. В противоположность промышленности, результаты которой у всех на виду (их никуда не спрячешь), торговля любит тайну. Во Франции, где преобладал до начала XX в. торговый капитал, промышленный после 1870 г. развевался туго — долго невозможно было ввести подоходный налог, ибо французскому «народному духу» в высшей степени было противно всякое откровенное объяснение насчет доходов; и во главе противников подоходного налога, под руководством крупной буржуазии, шли лавочники, трактирщики и т. п. В промышленных же странах, как Англия или Германия, подоходный налог существует издавна, и тамошний «народный дух» несколько не чувствует себя им задетым. Продолжая сравнение, можно еще отметить, что из этих трех стран нигде так не сильны бюрократические порядки, как во Франции. Канцелярская тайна старой России и старой Европы вообще была естественным продолжением «коммерческой тайны». Государственные дела велись так же, как ведутся дела торговой фирмы — в стороне от нескромных глаз. И недаром в числе московских приказов первых Романовых мы встречаем такой, какого не бывало на Москве раньше, и который

так и назывался *Приказом тайных дел*; причем тайной его дела были и для членов Боярской думы, которые «в тот приказ не ходили и дел там не ведали». А ведал все дела государевы *дьяк* с несколькими *подьячими*. И учреждения с эпитетом «тайный» (тайная канцелярия, тайная экспедиция) провозажают нас через весь XVIII в., причем одно время этот эпитет приклеивался даже к высшему в империи месту, воплощавшему саму центральную власть — это было, когда Россией правил с 1725 по 1730 г. Верховный тайный совет. Наоборот, открытые учреждения конституционного типа были в высшей степени противны «духу» торгового капитала — конституционные попытки XVIII в. все идут, как мы увидим в своем месте, не из буржуазной, а из *дворянской* среды<sup>3)</sup>. Но, помимо этого социологического родства бюрократизма с торговым капиталом, последний имел и *политические* основания предпочитать замкнутые кабинеты открытым собраниям всякого рода. Мы видели, что капиталистический характер прежде всего приобретает *внешняя* торговля, тесно связанная с дипломатией и войной; но ни та ни другая уже технически не допускают откровенности. Если даже в современных государствах с демократическими конституциями не разрешают оглашать каких бы то ни было известий о ходе военных действий, кроме официальных, разрешенных военной цензурой, а о дипломатических соглашениях первостепенной важности парламенты узнают задним числом, — то можно себе представить, что было двести лет назад. Для военно-дипломатических операций торговому капиталу опять-таки был нужен не говорливый «народный представитель», а скромный и умеющий молчать чиновник.

Чиновника знала уже удельная, домосковская Русь. В духовных грамотах тогдашних князей мы встречаем *дьяков* и *казначеев* — в числе холопов, отпускаемых на волю. Так скромно начинали будущие правители Российской империи! Немудрено, что дьяки тогдашними феодалами рассматривались, как «чин худой», и родство с дьяком в местнических счетах губило человека безвозвратно. Но уже тогда это была необходимая шестерня правительственного механизма: «судити суд бояром и окольничим, а на суде быти у бояр и у окольничих дьяком», — говорит «Судебник» Ивана III (1497 г.). При его внуке, Иване IV, бежавшие от опричнины за литовский рубеж московские эмигранты уверяли уже, что на Москве дьяки «всем правят». В это время мы встречаем дьяков в числе крупных

<sup>3)</sup> Историю этих попыток, как и всякого рода «проектов» см. в части IV «Политические идеологии»: здесь мы имеем дело только с *объективной* действительностью.

землевладельцев. Поколением позже, в конце XVI в., дьяки Щелкаловы уже действительно управляли — если не всем московским государством, то по крайней мере внешнею его политикой. Имя одного из них иностранцы поминают наряду с именем первого боярина своего времени, Никиты Романова (деда царя Михаила) — оба им казались «царями», до того были они влиятельны. С влиянием Щежаловых приходилось считаться Годунову, подготавливая свою кандидатуру на престол, — и один из них умер членом Боярской думы. Это было во время Смуты — когда не только дьяки попадали в дворяне, но дворяне подчас просились в дьяки. Если в XVI в. мы находим дьяков в числе крупных землевладельцев, то в XVII в. целый ряд их найдется среди крупнейших собственников государства. Их богатство кололо глаза провинциальному дворянству — что и вызвало известную жалобу дворян и детей боярских во время Собора 1642 г. на дьяков, покупавших многие вотчины и построивших себе «палаты каменные такие, что неудобь-сказаемые: блаженные памяти при прежних государях и у великородных людей таких домов не бывало». В конце царствования Алексея Михайловича сын дьяка, Артамон Матвеев, был боярином и фактически первым министром московского государства; а немного позже дьяческая фамилия Лопухиных дала московскому царству его последнюю царицу, первую жену императора Петра I.

Тесные связи русского чиновничества с капиталистическими кругами тянутся через всю нашу новую историю — от вице-канцлера Петра, Шафирова, одного из совладельцев крупнейшей фабрики своего времени, до министра финансов Александра III, Вышнеградского, который был крупным биржевым дельцом раньше, чем сделался министром финансов. Наиболее типичным — и наиболее известным, в то же время — образчиком перехода из коммерции в бюрократию служит знаменитый Канкрин, министр финансов Николая I, начавший свою карьеру бухгалтером у откупщика. Случаи обратного перехода гораздо чаще. В дни «великих реформ» 60-х гг. редкий видный чиновник не заседал в полудюжине советов различных акционерных обществ и железнодорожных компаний. В 1868 г. это было запрещено, — а при Александре III правительственная служба вообще была объявлена несовместимой с частной. Но было бы наивностью думать, что явление исчезло вследствие этого формального запрещения. Во главе банков и промышленных предприятий и позже сплошь и рядом стояли крупные чиновники — только временно числившиеся в отставке, что не мешало им, конечно, возвращаться на службу вновь, когда «по ходу дела» это

потребуется. Будучи *органом* буржуазии, бюрократия не представляет собою, разумеется, какого-либо *особенного класса*. Наивное представление о бюрократии, как о какой-то грозной, самодовлеющей силе, властвующей над страной, унаследовано современным русским либерализмом от его социальных предков — оппозиционных помещиков первой половины XIX в. Не умея разобраться в подкладке происходящего перед ним, не умея разглядеть из-за чиновничьего виц-мундира купеческого кафтана, помещик с естественной для него простоватостью вопил, что от виц-мундирных людей жить нельзя, что «чиновник-бюрократ» все задушил. Так, мелкая мещанка совершенно искренно убеждена, что высокие цены на масло или мясо — результат плутовства лавочников и что, если «уметь торговаться», всегда можно купить дешево. На самом деле цены строит не лавочник, но рынок, — а помещика душил не бюрократ, но торговый капитал. И не «душил», в собственном смысле, — а только уменьшал несколько ту долю «прибавочного продукта», которая шла в карман помещика. Казалось бы, как мало должны быть солидарны с помещиком теперешние буржуазные публицисты; а между тем фразы о «бюрократии» повторяют и они. Закон исторической косности, скажет читатель. Не совсем он один; современная буржуазная публицистика гораздо больше отражает интересы промышленного капитализма, чем старого, торгового; а капиталист новейшего типа надеется *сам* справиться с государственной машиной, не прибегая к услугам виц-мундирных людей. И если рассматривать вопли о засильи бюрократии, как *агитационный прием*, нельзя не признать этот прием рациональным и естественным.

Первая попытка буржуазии обойтись без бюрократа, впрочем, почти современна появлению самой бюрократии: реформа 1699 г., первая из «петровских реформ» хронологически, передала все управление городами — и, кстати, «черными землям» Русского Севера, где не было помещиков и крепостного права — выборным властям, бурмистрам, под верховным надзором московского купечества («Ратуша»). Только помещичья Россия осталась вне ведения этой буржуазной администрации. *Ратуша* была первым опытом финансовой централизации России, но опыт сразу же не был доведен до конца, как мы сейчас видели, и очень скоро обнаружил на практике свою преждевременность. Военные потребности, в конечном счете созданные тою же торговой политикой меркантилизма, повели к разделению России около 1708 г. на *губернии*, и поставленные во главе новых областных делений губернаторы из крупных земле-

владельцев быстро «растаскивали» Ратушу по клочкам. Заменявший ее в 1711 г. *Сенат* не покончил с «растаскиванием». Сенат, учрежденный Петром со скромной целью вести текущие дела в его отсутствие (он отправлялся воевать с турками), часто сравнивали с Боярской думой. Сравнение не вполне точное, даже если брать только организационную сторону дела: Дума, хотя и весьма несовершенно, объединяла все московское царство — Сенат пользовался неограниченными полномочиями только на пространстве одной московской губернии, прочие губернаторы сносились с ним на равной ноге и даже писали ему иногда «указом». Но сравнение становится совершенно неправильным, если брать оба учреждения со стороны *политической*: Дума была сама *властью*, законы выходили «по великого государя указу и всех бояр приговору», Сенат же был лишь *органом* власти, которая разговаривала с ним — подчас весьма суровым тоном. Требуя, чтобы к определенному сроку были доставлены войска на Украину, Петр писал Сенату: «сие все, что надлежит к войне, как наискорее управить Сенату, *под жестоким истязанием за неисpravление*». Немного раньше он требовал к себе сенаторов «с полными ведомостями, что по данным вам указам сделано и чего недоделано, и зачем». Состоя из второстепенных, по рангу, чиновников, Сенат и не мог прекратить «растаскивания», оно прекратилось само собой, когда стала подходить к концу война и «верховные господа» из губерний пособрались в Петербург. Они сами засели тогда в Сенат, а бюрократическая организация получила законченную форму в виде *коллегии* (1718 г.). Чрезвычайно характерной чертой этих первых правильно-бюрократических учреждений в России является бросающееся в глаза преобладание в них *экономико-финансового* интереса. Из 9 коллегий 2 посвящены промышленности и торговле (берг-, мануфактур- и коммерц-коллегии) и 3 государственному хозяйству (каммер-штатс- и ревизион-коллегио). В то же время мы не найдем специального учреждения не только для народного образования, но даже и для *полиции*: нет коллегии, которая бы соответствовала позднему министерству внутренних дел. На бюрократическую систему Петра торговый капитализм поставил такой отчетливый штамп, что только упорные идеалистические предрассудки прежних русских историков могли скрыть от них действительную связь явлений — и обратить все их внимание на совершенно второстепенный признак «коллегиальности». В каждой коллегии юридически вершило дела не одно лицо, а несколько, «президент» с «советниками» и «ассессорами», — долгое время это и казалось главным новшеством Петра.

Напротив, если в его административной системе было что новое, то это как раз был ее *индивидуализм*, объясняющийся из тех же условий, как и индивидуалистические черты русского права в XVII в. вообще (см. с. 79). Раньше всего, в период учреждения Сената, этот индивидуализм нашел себе выражение в *системе надзора*. Прежде надзор осуществлялся путем круговой поруки: члены каждой общественной группы — крестьяне одной деревни, помещики одного уезда и т. д. друг за друга отвечали и, естественно, должны были друг за другом следить. В начале XVIII в. этого было уже мало — и при сенатском управлении мы видим фискалов, специальных чиновников для надзора. Но гораздо крупнее были последствия индивидуализации в *политической* области. То, чего напрасно было бы искать в московском царстве времени Ивана Грозного, индивидуальный деспотизм, было осуществимо и отчасти осуществлено при Петре. Органом этого индивидуального деспотизма при Сенате явился *генерал-прокурор*, «око государево», который должен был следить, чтобы Сенат «в своей должности праведно и нелицемерно поступал» и чтобы сенаторы занимались своим делом «истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени». Ни одно дело не могло войти в Сенат, помимо «генерал-прокурора», — и ни одно не могло, помимо него, выйти; причем сам он от Сената совершенно не зависел, его можно было только в случае явной измены, в отсутствии государя, арестовать, — но судить его Сенат и тут не смел без разрешения императора. Генерал-прокуратура была естественным, логическим завершением петровской системы надзора, — но «верховным господам», засевающим в Сенате с 1718 г., это не могло нравиться, и тотчас после смерти Петра они поспешили избавить себя от надзирателей, устроив (в 1726 г.) над Сенатом Верховный тайный совет, куда они сами и вошли, и переведя сенаторов опять на положение чиновников второго ранга. Верховный тайный совет не ограничился этой отрицательной задачей — он взял на себя и положительную, попытавшись воскресить Боярскую думу, в качестве носительницы центральной власти, но тут потерпел неудачу<sup>4)</sup>. Центральное же бюрократическое учреждение сохранилось над коллегиями и Сенатом в течение всего XVIII в. под различными именами: кабинета министров, конференции, совета при высочайшем дворе и проч. Каков был *социальный* состав этого учреждения, хорошо иллюстрируется тем маленьким фактом, что, когда была в Совете прочитана

<sup>4)</sup> См. о проектах «верховников» часть IV.

Жалованная грамота дворянству (1785 г.), Совет «изъявил ее императорскому величеству глубочайшую благодарность, *как от себя, так и от лица всего вообще дворянства*». Это были все те же «верховные господа» — крупнейшие землевладельцы империи. Без их согласия не могло решиться ни одно важное дело — но *управляли непосредственно не они*. Управлял генерал-прокурор, фактически первый министр, сначала с коллегиями, а с Екатерины II собственно даже и не с коллегиями, а со своею канцелярией: настоящее деловое чиновничество имело свой центр именно здесь. Крупная знать непосредственно заинтересовалась делами лишь в то время, когда с развитием заграничной торговли крупное землевладение оказалось в ней близко заинтересованным. Тогда «верховные господа» из неопределенного по своим полномочиям Совета переселились в весьма определенные по своим функциям *министерства* (1802). Не видно, чтобы дело пошло у них очень удачно: весьма скоро во главе всего появляется снова профессиональный чиновник Сперанский<sup>5)</sup>, «знать» же находит себе окончательное прибежище — уже на целое столетие — в *Государственном совете* (1810 г.).

В настоящее время, когда исчезли всякие практические побуждения затушевывать истину, не приходится сомневаться, что *первоначальный*, 1810 г., Государственный совет был *пробной конституцией*. Это ясно для всякого, кто внимательно прочтет его «образование»: «Все законы, уставы и учреждения в первообразных их начертаниях предлагаются и рассматриваются в Государственном совете, — говорится там, — и потом действием державной власти поступают к предназначенному им совершению. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из Совета и не может иметь своего совершения без утверждения державной власти». Последняя фраза была бы лишена всякого смысла, если бы Совет с самого начала был тем, чем он на практике сделался — *законосовещательным* собранием, подающим государю советы, которых тот не обязан слушать. Каким образом простой Совет мог получить силу закона? Если пришлось оговаривать, что без подписи императора решения Государственного совета силы закона не имеют, значит, эта учреждение *вместе с императором* действительно законодательствовало, выполняло ту именно функцию, какую выполняют представительные собрания конституционно-монархических государств. Такое понимание «образования» совершенно подтверждается и *формулой*, в какой отныне должны были обнародоваться новые законы:

<sup>5)</sup> О его проектах см. опять часть IV.



«вняв мнению Государственного совета, постановляем или учреждаем». Но, если бы мы не имели всех этих текстов, мы могли бы догадаться об истинном значении шага, предпринятого в 1810 г., послушав, что говорило об этом шаге главное заинтересованное лицо — император Александр I. Когда Совет утвердил на 80 млн руб. новых налогов, Александр в разговоре с французским послом Колленкуром так пояснял роль нового учреждения: «Все умы во всей империи отнесутся к этой мере с большим доверием, *когда увидят вместе с указом мнение Совета*, скрепленное подписями его членов, принадлежащих всей империи, из которых некоторые даже прямо происходят от старинных московских бояр». Итак, Александр видел в Государственном совете не собрание чиновников, обязанных только служить государю своею деловой опытностью, а *выражение общественного мнения*, притом мнения именно *знати*.

Из пробной конституции ничего не вышло — попробовав, кушать не стали. Из Государственного совета XIX в. на практике получилось именно собрание старых чиновников, обсуждавших — и то больше формальности ради — проекты новых законов, но ничего не решавших; было принято за правило, что император может согласиться с мнением большинства, и меньшинства, и даже отдельного члена совета — и даже совсем с ним не согласиться, а обнародовать новый закон в форме «именного указа». Причем собственно *деловое* обсуждение новых законов и происходило-то не в самом Совете, а в более интимных и тесных собраниях: Николай Павлович особенно любил *секретные комитеты*. Не попадавшие туда менее влиятельные члены совета отлично знали, что даже в их мнении по-настоящему никто не нуждается — и очень редко затрудняли своих деловых собратий даже прениями. А текущую работу деловое чиновничество вело по-прежнему в *Комитете министров*. Фактически, Комитет был при Александре I высшей законодательной, судебной и административной инстанцией по всем делам, не исключая военных действий и дипломатических переговоров; только в первые годы по учреждении Государственного совета Комитет изредка вспоминал, что то или иное попавшее к нему дело «принадлежит до рассмотрения Государственного совета», и направлял его туда. Впоследствии Комитет министров сосредоточил в своих руках два рода дел: во-первых, высшую чрезвычайную *полицию* («дела, относящиеся до общего спокойствия и безопасности, до продовольствия народного и по всякому чрезвычайному происшествию; дела о воспрещении сообществ») и, во-вторых, наиболее важные вопросы, затрагивающие *интересы капиталистического ми-*

ра (уставы акционерных компаний, постройка железных дорог, распоряжения относительно пароходства, вообще концессии всякого рода). «Учреждение комитета министров», таким образом, еще раз, уже в юридической форме, подтверждает два положения, установленные нами выше историческим путем: высшая власть в царской России носила *бюрократический* характер — и бюрократический режим в России чрезвычайно тесно связан с развитием *капиталистического* хозяйства.

В дальнейшем развитии бюрократия должна была оказаться для капитализма кремневым ружьем. Предприниматель, чем дальше, тем больше желал *непосредственно* участвовать в законодательстве и управлении. Если он мирился с бюрократическим режимом, то только в силу его военно-дипломатической выгоды: чтобы доказать свою пригодность капиталисту, бюрократическое правительство должно было *побеждать*, захватывать новые торговые пути, гнать с рынка конкурентов, наконец, завоевывать и новые рынки. Каждая неудача на этом пути — был это невыгодный торговый договор, вынудивший понизить таможенные пошлины, или проигранная война, заставившая проститься с мечтами о новых рынках, вызывала в буржуазии резкий подъем оппозиционного настроения. До последних лет XIX в. слабый рост туземного накопления, не отвечавший росту промышленности, давал лишнюю опору бюрократическому режиму: чиновник умел доставать деньги из-за границы, — а без них было не обойтись. Но вот за граница заявила категорически, что именно чиновнику она не верит — в то же время с подъемом хлебных цен туземное накопление пошло ускоренным темпом: бюрократический режим оказался отжившим в России.

## Добавление к четвертому изданию

Цензурные условия помешали в 1914 г. дать достаточно объективный анализ того режима, который явился в России на смену «бюрократическому» — т. е. на смену самодержавию торгового капитала. Говорить же эзоповским языком не хотелось. Прошло десять лет — и говорить подробно о режиме 1914 г. не стоит, ибо нигде, за исключением особенно заскоружлых учебников русского государственного права, его найти нельзя. Цензовая монархия в России мелькнула, как метеор, — и теория постепенной эволюции была еще раз посрамлена, так как на смену цензовой монархии явилась не буржуазная демократия, как полагалось по эволюционной теории, а совершенно оригинальная, не предусмотренная никакими юридическими теориями государственная форма.

В историю культуры стоит вводить лишь то, что является прочным объективным результатом исторического процесса; и таким результатом является *крушение буржуазной демократии*. Восьмимесячный период, когда эта демократия пыталась у нас возникнуть (март—сентябрь 1917 г.), так и не успев откристаллизоваться в прочные юридические формы, по существу дела важнее двенадцатилетнего периода существования у нас цензовой монархии (1905—1917 гг.). Последняя была компромиссом между двумя формами капиталистического режима, которые обе уже отмирали, когда компромисс состоялся: между торговым и промышленным капитализмом. Политическое противоречие русского режима конца XIX — начала XX в., когда национальное богатство все больше и больше переходило в руки «купца», а главную роль на политической сцене продолжает играть помещик, это политическое противоречие было лишь отражением противоречивого экономического положения: русское туземное накопление держалось на хлебном вывозе (см. выше, с. 154), а уходило целиком в промышленность. Аграрный капитализм рос неизмеримо медленнее индустриального: производительность промышленности за двадцатилетие 1892—1912 гг. выросла в 4 % раза, а производительность сельского хозяйства — только в 2 раза, несмотря на резкий подъем

сальный процесс *национализации*. Без анализа современных форм национализированной промышленности изложение юридических форм национализации был бы для читателя изображением крыльца к невидимому им зданию: с этим анализом «Очерк» вторгся бы в область «практического обществоведения» — задача, которой он на себя сознательно не берет. Он кончает ответом на вопрос: какими общественными формами закончилась старая, дооктябрьская Россия? История после-октябрьской русской культуры — большая книга интереснее первой, но счастье написать ее достанется уже следующему поколению русских историков.

### Библиография

Для так называемого «вечевого» периода русской истории исчерпывающим, в смысле полноты фактического материала, пособием является появившаяся первоначально еще в 60-х гг. работа *В. И. Сергеевича* «Вече и князь», перепечатанная, как 1-й выпуск II тома «Русских юридических древностей» (СПб., 1893). Новейшее исследование о княжеской власти этого периода: *Пресняков А. Е.* Княжое право в Древней Руси. СПб., 1909, — интересно кое-какими — не очень систематическими — параллелями с западноевропейскими учреждениями аналогичной стадии развития. Для государственного строя Древней Руси вообще и специально для *Боярской думы* см. известную книгу *Ключевского* «Боярская Дума Древней Руси» (Изд. 3, доп. 1902 г. — перепечатано без изменений в 1919 г.). Для вопроса о древнерусском *феодализме* см.: *Лавлов-Сильванский Ж.* Феодализм в Древней Руси. СПб., 1907 (в последние годы перепечатывался несколько раз, Государственным Издательством в 1923 г. и «Прибоем») и главу III первого тома «Русской истории» пишущего эти строки изд. тов. «Мир». По вопросу о *происхождении земских соборов* главной по-прежнему является работа *Ключевского* «Состав представительства на земских соборах XVI в.» (первоначально в «Русской Мысли» — 1890–92 гг., перепечатано в «Опытах» и исследованиях — М., 1922). Из новейших наиболее ценна ст. проф. *Заозерского* о земских соборах (Журн. Мин. народн. просв. Июнь 1909), развивающего дальше точку зрения *Ключевского*. Остальную литературу и очерк истории З. С. см. в называвшейся неоднократно кн. *акад. Дьяконова* «Очерк обществ. и госуд. строя древн. Руси». Для *петровских учреждений* пособием является прежде всего уже названная книга *Миллюкова* о государственном хозяйстве России при Петре Вел. Специально для *Сената* I–II тт. юбилейного издания «История правительствующего Сената» (Т. 6. СПб., 1911). Для учреждений XIX в. основное пособие — «Начала русского государственного права» *А. Д. Градовского* (к нашей теме ближайшее отношение имеет книга 2-я II тома). См. также юбилейное издание «Исторический обзор деятельности комитета министров» (СПб.,

1902–1903). Для «думского» периода см.: *Слепков А.* К эволюции положения о I Госуд. Думе / Работы семинариев Института Красн. Проф-ры. Т. I. Гос. Изд., 1923) и его же «Классовые противоречия в I Гос. Думе» (Изд. Комм. ун-та им. Зиновьева, 1923).

## Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.



URSS

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

*Покровский М. Н.* Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв.  
*Степанецев А. Т.* История России IX—XVII веков: От Российской государственности до Российской империи.

*Ильичев А. Т.* Справочник по русской истории. Киевская Русь.

*Ильичев А. Т., Ляшенко А. Г.* Справочник по русской истории: Южнорусские княжества; Владимирская Русь.

*Кульпин Э. С.* Путь России: Генезис кризисов природы и общества в России.

*Кульпин Э. С.* Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства.

*Егоров В. Л.* Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв.

*Ельянов Е. М.* Иван Грозный — создатель или разрушитель?

*Хорошкевич А. Л.* Русь и Крым: От союза к противостоянию.

*Карнович Е. П.* Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими.

*Жизнь в свете, дома и при дворе.* Правила этикета для России конца XIX века.

*Никаноров Г. Л.* Надрыз: Правда и ложь отечественной истории XX века.

*Липперт Ю.* История культуры.

Серия «Академия фундаментальных исследований»

*Погодин А. Л.* Краткий очерк истории славян.

*Минаев И. П.* Старая Индия. Заметки на «Хождение за три моря» Афанасия Пикитина.

*Хвостов М. М.* История Греции. Курс лекций.

*Аландский П. И.* История Греции.

*Лурье С. Я.* Геродот.

*Бузескул В. П.* Перикл: Личность, деятельность, значение.

*Кончаловский Д. П.* Аннибал.

*Миронов А. М.* История античного искусства.

*Тураев Б. А.* Древний Египет.

*Делич Ф.* Библия и Вавилон.

*Шрадер О.* Индоевропейцы.

*Петрушевский Д. М.* (ред.) Памятники истории Англии XI—XIII вв.

*Кудряцев А. Е.* Испания в Средние века.

*Добиаш-Рождественская О. А.* Эпоха крестовых походов. Общий очерк.

*Ле Шателье А.* Ислам в XIX веке.

*Остроумов Н. П.* Исламоведение: Аравия, колыбель ислама.

*Серебряников В.* Загадочный эпизод Французской революции.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:

тел./факс (499) 135-42-16, 135-42-46  
 или электронной почтой URSS@URSS.ru

Полный каталог изданий представлен  
 в интернет-магазине: <http://URSS.ru>

Научная и учебная  
 литература